

Джек Керуак

На дороге

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я впервые встретил Дина вскоре после того, как мы с женой расстались. Я тогда едва выкарабкался из серьезной болезни, о которой сейчас говорить неохота, достаточно лишь сказать, что этот наш жалкий и утомительный раскол сыграл не последнюю роль, и я чувствовал, что все сдохло. С появлением Дина Мориарти началась та часть моей жизни, которую можно назвать «жизнью на дороге». Я и прежде часто мечтал отправиться на Запад посмотреть страну, но планы всегда оставались смутными, и с места я не трогался. Дин же – как раз тот парень, который идеально соответствует дороге, поскольку даже родился на ней: в 1926 году его родители ехали на своей колыме в Лос-Анжелес и застряли в Солт-Лейк-Сити, чтобы произвести его на свет. Первые рассказы о нем я услышал от Чада Кинга; Чад и показал мне несколько его писем из исправительной колонии в Нью-Мексико. Меня эти письма невероятно заинтересовали, поскольку в них Дин так наивно и так мило просил Чада научить его всему, что тот сам знал про Ницше и про все остальные дивные интеллектуальные штуки. Как-то раз мы с Карло говорили об этих письмах в том смысле, что познакомимся ли мы когда-нибудь с этим странным Дином Мориарти. Все это было еще тогда, давно, когда Дин не был таким, как сегодня, когда он был еще сплошь окруженным тайной пацаном только что из тюрьмы. Потом стало известно, что его выпустили из колонии, и что он впервые в жизни едет в Нью-Йорк. Еще ходили разговоры, что он только что женился на девчонке по имени Мэрилу.

Однажды, когда я шлялся по студенческому городку, Чад и Тим Грэй сказали мне, что Дин остановился на какой-то квартире безо всяких удобств в Восточном Гарлеме – то есть, в испанском квартале. Он приехал прошлой ночью, в Нью-Йорке первый раз, с ним – его остренькая и симпатичная подружка Мэрилу. Они слезли с междугородного «грейхаунда» на 50-й Улице, свернули за угол, чтобы найти чего-нибудь поесть, и сразу зашли к Гектору, и с тех самых пор кафетерий Гектора всегда оставался для Дина главным символом Нью-Йорка. Они тогда истратили все деньги на здоровенные чудесные пирожные с глазурью и взбитыми сливками.

Все это время Дин вешал Мэрилу на уши примерно следующее:

– Ну, милая, вот мы и в Нью-Йорке, и хоть я не совсем еще рассказал тебе, о чем думал, когда мы ехали через Миссури, а особенно – в том месте, где мы проезжали Бунвильскую Колонию, которая напомнила мне собственные тюремные дела, теперь совершенно необходимо отбросить все, что осталось от наших личных привязанностей, и немедленно прикинуть конкретные планы трудовой жизни... – И так далее, как он обычно разговаривал в те, самые первые дни.

[1]

– Другими словами, давай шевелиться, милая, слышишь, что я говорю, иначе будет один сплошной разброд, а истинного знания или кристаллизации своих планов мы не добьемся. Тут я ушел.

На следующей неделе он признался Чаду Кингу, что ему абсолютно необходимо научиться у того писать. Чад ему ответил, что писатель тут – я, и что за советом обращаться надо ко мне. Тем временем, Дин устроился работать на автостоянку, поссорился с Мэрилу у них на новой квартире в Хобокене – одному Богу известно, чего их туда занесло, – и она так

рассвирепела, что замыслила месть и позвонила в полицию с каким-то вздорным, истеричным, идиотским поклепом, и Дину пришлось из Хобокена свалить. Жить ему было негде. Он поехал напрямиком в Патерсон, Нью-Джерси, где я жил со своей теткой, и как-то вечером, когда я занимался, в дверь постучали, и вот уже Дин кланялся и подобострастно расшаркивался в полумраке прихожей, говоря при этом:

– При-вет, ты меня помнишь – я Дин Мориарти? Я приехал попросить тебя показать мне, как надо писать.

– А где Мэрилу? – спросил я, и Дин ответил, что она, видимо, выхарила у кого-нибудь несколько долларов и поехала обратно в Денвер, «шлюха!». А раз так, то мы пошли с ним выпить пива, потому что разговаривать так, как нам хотелось, мы не могли в присутствии моей тетки, которая сидела в гостиной и читала свою газету. Она бросила на Дина единственный взгляд и решила, что он – шалый.

В баре я ему сказал:

– Слушай, чувак, я очень хорошо знаю, что ты ко мне приехал не только затем, чтобы стать писателем, да и, в конце концов, что я сам об этом знаю, кроме того, что на этом надо заклеиться с такой же страшной силой, как на амфетаминах.

А он ответил:

– Да, конечно, я точно знаю, что ты имеешь в виду, и все эти проблемы, на самом деле, мне тоже приходили в голову, но то, чего я хочу, – это реализация таких факторов, что в случае, если придется зависеть от шопенгауэровской дихотомии для любого внутренне реализуемого... – И дальше по тексту – штуки, которых я ни на йоту не понимал, да и он сам – тоже. В те дни он действительно не соображал, о чем говорил; то есть это был просто только что откинувшийся юный зэк, зацикленный на дивных возможностях стать настоящим интеллектуалом, и ему нравилось разговаривать тем тоном и пользоваться теми словами, которые слышал от «настоящих интеллектуалов», но как-то совершенно замороченно – хотя учтите, он не был так уж наивен во всем остальном, и ему потребовалось лишь несколько месяцев провести с Карло Марксом, чтобы полностью освоиться во всяких специальных словечках и жаргоне. Однако, мы прекрасно поняли друг друга на иных уровнях безумия, и я согласился на то, чтобы он остался у меня дома, пока не найдет работу, а дальше мы уговорились как-нибудь отправиться на Запад. Это было зимой 1947-го.

Однажды вечером, когда Дин ужинал у меня – а он уже работал на стоянке в Нью-Йорке, – а я быстро барабанил на своей машинке, он облокотился мне на плечи и сказал:

– Ну, давай же, девчонки ждать не будут, закругляйся.

Я ответил:

– Погоди минуточку, вот сейчас только главу закончу. – А это была одна из лучших глав во всей книге. Потом я оделся, и мы понеслись в Нью-Йорк на стрелку с какими-то девчонками. Пока автобус шел в жуткой фосфоресцирующей пустоте Линкольн-Тоннеля, мы держались друг за друга, возбужденно болтали, орали и размахивали руками, и я начал врубаться в этого психа Дина. Парня просто до чрезвычайности возбуждала жизнь, но если он и был пройдохой, так это только оттого, что слишком хотел жить и общаться с людьми, которые иначе бы не обращали на него никакого внимания. Он подкалывал и меня, и я это знал (по части жилья, еды и того, «как писать»), и он знал, что я это знаю (это и было основой наших

отношений), но мне было плевать, и мы прекрасно ладили – не доставая друг друга и особо не церемонясь; мы ходили друг за дружкой на цыпочках, будто только что трогательно подружались. Я начал учиться у него так же, как он, видимо, учился у меня. О том, что касалось моей работы, он говорил:

– Валяй дальше, все, что ты делаешь, – клево. – Он заглядывал мне через плечо, когда я писал свои рассказы, и вопил: – Да! Так и надо! Ну, ты даешь, чувак! – Или говорил: – Ффу! – и промакивал лицо носовым платком. – Слушай, елки-палки, ведь еще столько можно сделать, столько написать! Хотя бы начать все это записывать, без всяких наносных стеснений и не упираясь ни в какие литературные запреты и грамматические страхи... – Все верно, чувак, ты правильно заговорил. – И я видел, как некое подобие священной молнии сверкает в его возбуждении и в его видениях, которые изливались из него таким потоком, что люди в автобусах оборачивались посмотреть на этого «психа ненормального». На Западе он провел треть своей жизни в бильярдной, треть – в тюрьме, а треть – в публичной библиотеке. Видели, как он целеустремленно неся с непокрытой головой по зимним улицам в сторону бильярдной, таща под мышкой книги, или карабкался по деревьям, чтобы попасть на чердак каких-нибудь своих приятелей, где обычно сидел днями напролет, читая или скрываясь от представителей закона.

Мы поехали в Нью-Йорк – я забыл, в чем там было дело, какие-то две цветные девчонки – и никаких девчонок на месте, конечно, не оказалось: они должны были встретиться с Дином в кафешке и не пришли. Мы тогда поехали на его стоянку, где ему что-то надо было сделать – переодеться в будке на задворках, прихорошиться перед треснутым зеркалом, что-то типа такого, – а уж потом двинулись дальше. Как раз в тот вечер Дин повстречался с Карло Марксом. Грандиозная штука произошла, когда они встретились. Два таких острых ума, как они, приглянулись друг другу сразу же. Скрестились два пронизательных взгляда – святой пройдоха с сияющим разумом и печальный поэтический пройдоха с темным разумом, то есть Карло Маркс. Начиная с этой самой минуты, я видел Дина только изредка, и мне было немного обидно. Их энергии сшибались лбами, и в сравнении я был просто лохом и не мог держаться с ними наравне. Тогда-то и началась вся эта безумная катавасия, которая потом закрутила всех моих друзей и все, что у меня оставалось от семьи, затянула в большую тучу пыли, застившую Американскую Ночь. Карло рассказал ему про Старого Быка Ли, про Элмера Хассела и Джейн: как Ли в Техасе выращивал траву, как Хассел сидел на острове Рикера, как Джейн бродила по Таймс-Сквер вся в бензедриновых глюках, таская на руках свою малышку, и как она кончила в Белльвью. А Дин рассказал Карло про разных неизвестных людей с Запада, типа Томми Снарка, колченогой акулы бильярда, картежника и святого педераста. Рассказал и про Роя Джонсона, про Большого Эда Данкеля – корешей своего детства, уличных корешей, про своих бессчетных девчонок и половые попойки, про порнографические картинки, про своих героев, героинь, про свои приключения. Они вместе носились по улицам, врубаясь во все так, как у них это было с самого начала, и что позже стало восприниматься с такой грустью и пустотой. Но тогда они выплясывали по улицам как придурочные, а я тащился за ними, как всю свою жизнь волочился за теми людьми, которые меня интересовали, потому что единственные люди для меня – это безумцы, те, кто безумен жить, безумен говорить, безумен быть спасенным, алчен до всего одновременно,

кто никогда не зевнет, никогда не скажет банальность, кто лишь горит, горит, горит как сказочные желтые римские свечи, взрываясь среди звезд пауками света, а в середине видно голубую вспышку, и все взывают: «А-ауу!» Как звали таких молодых людей в гетевской Германии? Всей душой желая научиться писать как Карло, Дин первым же делом атаковал его этой своей любвеобильной душой, какая бывает только у пройдох:

– Ну Карло же, дай же мне сказать – я вот что хочу сказать... – Я не видел их где-то недели две, и за это время они зацементировали свои отношения до зверской степени непрерывных ежедневных и еженощных разговоров.

Потом пришла весна, клевое время для путешествий, и каждый в нашей рассеявшейся компании готовился к той или иной поездке. Я был занят своим романом, а когда дошел до срединной отметки, то после того, как мы с теткой съездили на Юг проведать моего братца Рокко, я был вполне готов отправиться на Запад первый раз в своей жизни.

Дин уже уехал. Мы с Карло проводили его со станции «грейхаунда» на 34-й Улице. Там наверху у них было место, где за четвертачок можно сфотографироваться. Карло снял очки и стал выглядеть злоеще. Дин снялся в профиль, при этом застенчиво оборачиваясь. Я сфотографировался в фас – но так, что стал похож на тридцатилетнего итальянца, готового порешить всякого, кто хоть слово скажет против его матери. Эту фотографию Карло и Дин аккуратно разрезали бритвой посередине и спрятали половинки себе в бумажники. На Дине был настоящий западный деловой костюм, купленный специально для великого возвращения в Денвер: парень кончил свой первый загул в Нью-Йорке. Я говорю «загул», но Дин лишь впахивал на своих стоянках как вол. Это был самый фантастический служитель автостоянок в целом мире: он мог задним ходом втиснуть машину в узкую щель и тормознуть у самой стенки с сорока миль в час, выпрыгнуть из кабины, пробежаться между бамперами впритык, вскочить в другую машину, развернуться со скоростью пятьдесят миль в час на крохотном пятакке, быстро сдать назад в тесный тупичок, бум – захлопнуть дверцу с такой поспешностью, что видно, как машина вибрирует, когда он из нее вылетает, затем рвануть к будке с кассой, словно звезда гаревых дорожек, выдать квитанцию, прыгнуть в только что подъехавший автомобиль, не успеет еще владелец и выбраться из него, буквально проскочить у того под ногами, завестись с еще незакрытой дверцей и с ревом – к следующему свободному пятакку; разворот, шлеп на место, тормоз, вылетел, ходу: работать вот так без передышки по восемь часов в ночь, как раз в вечерние часы пик и после театральных разъездов, в засаленных штанах с какого-то алкаша, в обтрепанной куртке, отороченной мехом, и в разбитых башмаках, спадающих с ноги. Теперь он к возвращению домой купил себе новый костюм, синий в тончайшую полоску, жилет и все остальное – одиннадцать долларов на Третьей Авеню, вместе с часами и цепочкой, и к тому же – портативную пишущую машинку, на которой собирался начать писать в каких-нибудь денверских мебелированных комнатах, как только найдет там работу. Мы устроили прощальный обед из сосисок с бобами в «Рикере» на Седьмой Авеню, а потом Дин сел в автобус и с ревом отчалил в ночь. Вот и уехал наш крикун. Я пообещал себе отправиться туда же, когда весна зацветет по-настоящему, а земля раскроется. Вот так, на самом деле, и началась моя дорожная жизнь, и то, чему суждено было случиться потом, – чистая фантастика, и не рассказать об этом нельзя.

Да, и я хотел ближе узнать Дина не просто потому, что был писателем и нуждался в свежих впечатлениях, и не просто потому, что вся моя жизнь, вертевшаяся вокруг студгородка, достигла какого-то завершения цикла и сошла на нет, но потому, что непонятным образом, несмотря на несходство наших характеров, он напоминал мне какого-то давно потерянного братишку: при виде страдания на его костистом лице с длинными бачками и капель пота на напряженной мускулистой шее я невольно вспоминал свои мальчишеские годы на красивых свалках, в котлованах, заполненных водой, и на речных отмелях Патерсона и Пассаика. Его грязная роба льнула к нему так изящно, будто заказать лучшего костюма у портного было невозможно, а можно было лишь заработать его у Прирожденного Портного Естества И Радости, как этого своим потом и добился Дин. А в его возбужденной манере говорить я вновь слышал голоса старых соратников и братьев – под мостом, среди мотоциклов, в соседских дворах, расчерченных бельевыми веревками, и на дремотных полуденных крылечках, где мальчишки тренькают на гитарах, пока их старшие братья вкалывают на фабриках. Все остальные нынешние мои друзья были «интеллектуалами»: антрополог-нищееанец Чад, Карло Маркс с его прибабахнутыми сюрреальными разговорами тихим голосом с серьезным взглядом, Старый Бык Ли с такой критической растяжкой в голосе, не приемлющий абсолютно ничего; или же они были потайными беззаконниками, типа Элмера Хассела с этой его хиповой презрительной насмешкой, или же типа Джейн Ли, особенно когда та растягивалась на восточном покрывале своей кушетки, фыркая в «Нью-Йоркер». Но разумность Дина была до последнего зернышка дисциплинированной, сияющей и завершенной, без этой вот занудной интеллектуальности. А «беззаконность» его была не того сорта, когда злятся или презрительно фыркают: она была диким выплеском американской радости, говорящей «да» абсолютно всему, она принадлежала Западу, она была западным ветром, одой, донесшейся с Равнин, чем-то новым, давно предсказанным, давно уже подступающим (он угонял машины, только чтобы прокатиться удовольствия ради). А кроме этого, все мои нью-йоркские друзья находились в том кошмарном положении отрицания, когда общество низвергает и приводит для этого свои выдохшиеся причины, вычитанные в книжках, – политические или психоаналитические; Дин же просто носился по обществу, жадный до хлеба и любви, – ему было, в общем, всегда плевать на то или на это, «до тех пор, пока я еще могу заполучить себе вот эту девчоночку с этим ма-а-ахоньким у нее вон там между ножек, пацан», и «до тех пор, пока еще можно пожрать, слышишь, сынок? я проголодался, я жрать хочу, пошли сейчас же пожрем чего-нибудь!» – и вот мы уже несемся жрать, о чем и глаголил Екклесиаст: «Се доля ваша под солнцем».

Западный родич солнца, Дин. Хотя тетка предупредила, что он меня до добра не доведет, я уже слышал новый зов и видел новые дали – и верил в них, будучи юн; и проблески того, что действительно не довело до добра, и даже то, что впоследствии Дин отверг меня как своего кореша, а потом вообще вытирал об меня ноги на голодных мостовых и больничных койках – разве имело все это хоть какое-нибудь значение? Я был молодым писателем и хотел стронуться с места.

Я знал, что где-то на этом пути будут девчонки, будут видения – все будет; где-то на этом пути жемчужина попадет мне в руки.

2

В июле месяце 1947 года, скопив около полусотни долларов из старых ветеранских льгот, я был готов ехать на Западное Побережье. Мой друг Реми Бонкёр написал мне из Сан-Франциско письмо, в котором говорил, что мне следует приехать и отплыть с ним вместе на кругосветном лайнере. Он клялся, что протащит меня в машинное отделение. В ответ я написал, что мне хватит любого старого сухогруза и нескольких длинных тихоокеанских рейсов – так, чтобы я смог вернуться, заработав достаточно денег, чтобы поддерживать себя в теткинском доме, пока не закончу книгу. Он написал, что у него есть хибара в Милл-Сити, и у меня будет бездна времени, чтобы там писать, пока он будет заниматься всякой волокитой с устройством на судно. Он жил с девчонкой по имени Ли-Энн; та великолепно готовит, и все будет ништяк. Реми был моим старым школьным другом, французом, которого воспитали в Париже, – и по-настоящему сумасшедшим: в то время я еще просто не знал, насколько сумасшедшим. И вот, значит, он ждал, что я приеду к нему через десять дней. Тетка была совершенно не против моей поездки на Запад: она сказала, что это принесет мне только пользу, ведь всю зиму я так усердно работал и почти не выходил на улицу; она даже не возражала, когда выяснилось, что часть пути мне придется проехать автостопом. Тетка лишь пожелала мне вернуться домой в целостности и сохранности. И вот, оставив на письменном столе объемистую половину своей рукописи и сложив однажды утром в шкаф уютные домашние простыни в последний раз, я вышел из дому с полотняной сумкой, в которую уложились мои немногие основные принадлежности, и взял курс к Тихому Океану с полусотней долларов в кармане.

В Патерсоне целыми месяцами я сидел над картами Соединенных Штатов, даже читал какие-то книжки о пионерах и впитывал в себя такие названия, как Платт, Симаррон и так далее, а на этих дорожных картах имелась одна длинная красная линия, которая называлась «Трасса № 6» и вела с кончика мыса Кейп-Код напрямик в Эли, штат Невада, а оттуда ныряла к Лос-Анжелесу. Я просто-напросто не буду никуда сворачивать с «шестерки» до самого Эли, сказал я себе и уверенно пустился в путь. Чтобы выйти на трассу, мне нужно было подняться до Медвежьей Горы. Полный мечтаний о том, что я стану делать в Чикаго, Денвере и, наконец, в Сан-Фране, я сел на Седьмой Авеню в подземку до конечной станции на 242-й улице, а оттуда трамваем поехал в Йонкерс; там в центре пересел на другой трамвай и доехал до городской окраины на восточном берегу Гудзона. Если случится опустить цветок розы в воды Гудзона вблизи его таинственных истоков в Адирондаках, то подумайте о тех местах, где он побывает на пути к морю, в вечность – подумаете об этой чудесной долине Гудзона. Я начал стопарить к ее верховьям. За пять разрозненных перегонов я очутился у искомого моста у Медвежьей Горы, куда из Новой Англии сворачивала Трасса 6. Когда меня там высадили, полил дождь. Горы. Трасса 6 шла из-за реки, миновала круговую развязку и терялась в глухомани. По ней не только никто не ехал, но еще и дождь припустил как из ведра, а спрятаться мне было негде. В поисках укрытия пришлось забежать под какие-то сосны, но это не помогло; я начал плакать, материться и стучать себя по голове за то, что оказался таким дураком. Я находился в сорока милях к северу от Нью-Йорка; пока я сюда добирался, меня грызла мысль о том, что в этот знаменательный первый день я все время двигаюсь на север вместо столь

желанного запада. И вот теперь я здесь еще и застрял. Я пробежал с четверть мили до славной заброшенной бензоколонки в английском стиле и остановился под карнизом, с которого текло. Над головой, в вышине огромная, покрытая шерстью Медвежья Гора метала вниз богоужасные раскаты грома, вселяя в меня страх. Виднелись лишь смутные деревья, да гнетущее безлюдье, возносящееся к самым небесам. И чего, к чертям собачьим, мне тут понадобилось? – ругался я, плакал и хотел в Чикаго. Вот сейчас у них там как раз клево, да-а, а я тут, и неизвестно когда до них доберусь... И так далее. Наконец, у пустой заправки остановилась машина: в ней сидели мужчина и две женщины, они хотели спокойно изучить карту. Я вышел под дождь и замахал рукой; те посоветовались: конечно, я был похож на какого-нибудь маньяка – с мокрыми волосами и в хлюпающих ботинках. Ботинки мои – ну что я за придурок, а? – были такими фабричными мексиканскими гуарачами – сито, а не башмаки, совершенно не годятся ни для ночных дождей в Америке, ни для грубых ночных дорог. Но эти люди впустили меня к себе и отвезли обратно в Ньюбург, и я принял это как лучший вариант по сравнению с перспективой засесть в глухомани под Медвежьей Горой на всю ночь.

– А кроме того, – сказал мужчина, – по шестой трассе здесь нет никакого движения. Если хочешь попасть в Чикаго, то лучше проехать в Нью-Йорке по Холланд-Тоннелю и двинуться в сторону Питтсбурга. – И я знал, что он прав. Такова была моя скисшая мечта: сидя дома у камина глупо воображать, как замечательно будет проехать через всю Америку по одной-единственной красной линии вместо того, чтобы пробовать разные дороги и трассы.

В Ньюбурге дождь кончился. Я дошел до реки и вынужден был вернуться в Нью-Йорк на автобусе с делегацией школьных учительниц, ехавших с пикника в горах: одно бесконечное ля-ля-ля языками; а я все время про себя матерился – мне было жалко потраченных денег, и я говорил себе: вот, хотел поехать на запад, а вместо этого весь день и еще полночи катался вверх-вниз, с юга на север и обратно, как мотор, который никак не может завестись. И поклялся себе, что завтра же буду в Чикаго, а для этого взял билет на чикагский автобус, истратив большую часть тех денег, что у меня были, и плевать я на это хотел, если завтра же окажусь в Чикаго.

3

Это был совершенно обычный автобус с орущими детьми и жарким солнцем, народ подсаживался в каждом пенсильванском местечке, пока мы не выехали на равнину Огайо и не покатали вперед по-настоящему – вверх до Аштабулы и напрямик через Индиану, уже ночью. Я приехал в Чи ни свет ни заря, вписался в молодежную общагу и завалился спать. Долларов в кармане оставалось совсем немного. Врубаться в Чикаго я начал после хорошего дневного сна.

[2]

Первым меня подбросил на тридцать миль вглубь зеленого Иллинойса грузовик с динамитом, на котором болтался красный флажок; водитель потом свернул на перекрестке Трассы 6, по которой мы ехали, и Трассы 66 – там, где они обе разбегались на запад на невероятные расстояния. Потом, около трех часов дня, после того, как я пообедал яблочным пирожком и мороженым у придорожного киоска, передо мною затормозила маленькая легковушка. Внутри сидела женщина, и во мне всколыхнулась было крутая радость, пока я бежал к машине. Но женщина оказалась средних лет, у нее самой были сыновья моего возраста, и она просто хотела, чтобы кто-нибудь помог ей доехать до Айовы. Я был только за. Айова! До Денвера рукой подать, а как только я попаду в Денвер, можно будет и расслабиться. Первые несколько часов меня везла она и один раз даже настояла, чтобы мы, как заправские туристы, осмотрели какую-то старую церквушку, а потом за руль сей я, и хотя водитель я неважный, но чистенько проехал через весь остаток Иллинойса в Давенпорт, Айова, минуя Рок-Айленд. И здесь первый раз в жизни увидел я свою любимую реку Миссиссиппи, пересохшую, в летней дымке, с низкой водой, с этим зловонным запашищем голого тела самой Америки, которое она омывает. Рок-Айленд – железнодорожные пути, крошечный центр города и через мост – Давенпорт, точно такой же городишко, весь пропахший опилками и прогретый среднезападным солнцем. Здесь женщине надо было ехать к себе домой по другой дороге, и я вылез.

Солнце садилось; выпив холодного пива, я пошагал на окраину, и это была длинная прогулка. Все мужчины возвращались с работы домой, на них были железнодорожные кепки, бейсбольные – всякие, как и в любом другом городке где бы то ни было после работы. Один подвез меня до верхушки холма и высадил на безлюдном перекрестке у края прерии. Там было прекрасно. Мимо ездили только машины фермеров: те подозрительно оглядывали меня и с лязгом катили дальше; коровы возвращались домой. Ни одного грузовика. Пронеслось еще несколько машин. Промчался какой-то пижон с развевающимся шарфиком. Солнце скрылось окончательно, и я остался в лиловой тьме. Теперь уже мне стало страшно. На просторах Айовы не виднелось ни огонька – через минуту меня никто и разглядеть не сможет. К счастью, человек, ехавший обратно в Давенпорт, подбросил меня до центра. Но я по-прежнему торчал там, откуда начал.

Я посидел на автобусной остановке и подумал. Съел еще один яблочный пирожок и мороженое: практически, я больше ничего и не ел, пока ехал по стране, – я знал, что это питательно и, разумеется, вкусно. Потом решил сыграть. Полчаса поразглядывав официантку в кафе на остановке, я из центра доехал автобусом снова до окраины – но на сей раз туда, где были бензоколонки. Здесь рычали большие грузовики, и через пару минут

– бзынь! – один затормозил рядом. Пока я бежал до кабины, душа моя вопила от радости. А что за водитель там был – здоровый крутой водила с глазами навывате и хриплым наждачным голосом; он едва обратил на меня внимание – лишь дергал и пинал рычаги, пока снова запускал свой агрегат. Поэтому я смог немного отдохнуть своей усталой душой, ибо больше всего хлопот, когда едешь стопом, доставляет необходимость разговаривать с бессчетными людьми, как бы убеждая их, что они не ошиблись, подобрав тебя, и даже как бы развлекать их, и все это оборачивается огромным напряжением, если всю дорогу только едешь и не собираешься ночевать в гостиницах. Этот парень только и делал, что орал, перекрывая рев двигателя, и мне тоже приходилось орать в ответ – и мы расслабились. Он гнал свою штуковину в самый Айова-Сити и орал мне свои анекдоты про то, как лихо он обводит вокруг пальца закон в каждом городишке, где введены несправедливые ограничения скорости, и каждый раз при этом повторял:

– Моя жопа проносилась под самым носом у этих проклятых ментов, они и клювом щелкнуть не успевали! – Сразу перед въездом в Айова-Сити он увидел, как нас догоняет другой грузовик, и, поскольку в городе ему надо было сворачивать, он помигал тому парню стоп-сигналами и притормозил, чтобы я выпрыгнул, что я и сделал вместе со своей сумкой, а тот, признавая такой обмен, остановился взять меня, и снова во мгновение ока я сидел на верхотуре в другой здоровенной кабине, нацеливаясь ехать сквозь ночь еще сотни миль – как же счастлив я был! Новый водила оказался таким же чокнутым, как и первый, орал он столько же, и мне оставалось лишь откинуться назад и катить себе дальше. Я уже видел, как впереди, под звездами, за прериями Айовы и равнинами Небраски передо мною Землей Обетованной смутно проступает Денвер, а за ним, видением еще более величественным – Сан-Франциско: города сияли бриллиантами посреди ночи. Пару часов мой водитель выжимал полную и травил байки, а потом, в айовском городишке, где несколько лет спустя нас с Дином задержат по подозрению в угоне некоего «кадиллака», поспал несколько часов на сиденье. Я тоже поспал, а потом немного прошелся вдоль одиноких кирпичных стен, освещенных единственным фонарем, там, где прерия таилась в конце каждой улочки, и запах кукурузы росую витал в ночи.

На заре водила вздрогнул и проснулся. Мы рванули дальше, и через час над зелеными кукурузными полями уже нависли дымы Де-Мойна. Теперь ему пора было завтракать, напрягаться он не хотел, поэтому я сам поехал в Де-Мойн, который начинался где-то в четырех милях, подсев к паре ребят из Университета Айовы; было странно сидеть в их новехонькой удобной машине и слушать про экзамены, пока мы гладко подкатывали к городу. Теперь мне хотелось проспать весь день. Поэтому я снова пошел вписываться в общагу, но свободных комнат у них не было, и инстинкт довел меня до железной дороги – а их в Де-Мойне полно, – и все кончилось гостиницей рядом с локомотивным депо, похожей на старую и мрачную таверну где-нибудь на Равнинах, в которой целый долгий день я спал в большой, чистой, жесткой и белой постели с неприличными надписями, выцарапанными на стенке рядом с подушкой, и битыми желтыми жалюзи, закрывавшими дымный вид на депо. Проснулся я, когда солнце уже краснело, и это было единственное отчетливое время в моей жизни – самое странное мгновение, когда я не знал, кто я: далеко от дома, загнанный и замученный путешествием, в комнатке дешевой гостиницы, которую никогда

прежде не видел, свистит пар за окном, потрескивает старая гостиничная древесина, шаги наверху – такие печальные звуки; и я смотрел на высокий потолок, весь в трещинах, и пятнадцать странных секунд на самом деле не соображал, кто я. Я не испугался: просто я был кем-то другим, каким-то чужаком, и вся моя жизнь была призрачной, была жизнью привидения. Я находился где-то на полпути через всю Америку, на пограничной линии, отделяющей Восток моей юности от Запада моего будущего, и, может быть, именно поэтому такое произошло вот здесь и вот сейчас – этот странный красный закат дня. Но надо было двигаться и прекратить стонать, и поэтому я взял сумку, сказал «пока» старичку-управляющему, сидевшему возле своей плевательницы, и пошел есть. Я съел яблочный пирожок и мороженое – по мере того, как я забирался вглубь Айовы, становилось все лучше и лучше: пирожки – больше, мороженое – гуще. В тот день в Де-Мойне я видел стайки самых красивых девчонок – они шли из школы домой, – но я пока гнал от себя такие мысли, соблазняясь весельем в Денвере. В Денвере уже был Карло Маркс; там был Дин; там были Чад Кинг и Тим Грэй, они оттуда родом: там была Мэрилу; там была клевейшая кодла, известная мне понаслышке, – включая Рэя Роулинса и его прекрасную блондинку-сестру Бэйб Роулинс; двух официанток, знакомых Дина – сестер Беттенкур; там был даже Роланд Мэйджор, мой старинный кореш по колледжу и тоже писатель. Я с нетерпением и радостью ждал встречи с ними всеми. А поэтому проносился мимо симпатичных девчонок, а самые симпатичные девчонки на свете живут в Де-Мойне.

Парень на чем-то вроде слесарки на колесах – такой грузовичок, забитый инструментами, которым он управлял стоя, как осовремененный молочник, – подбросил меня вверх по длинному пологому склону холма, а там я сразу же подсел к фермеру с сыном, которые ехали в Адель, что где-то в Айове. В этом городке под большим вязом у бензоколонки я познакомился с другим автостопщиком: такой типичный нью-йоркер, ирландец, большую часть своей трудовой жизни водил почтовый фургон, а теперь ехал в Денвер к своей девчонке и навстречу новой жизни. Мне кажется, он убегал от чего-то в Нью-Йорке, скорее всего – от закона. Настоящий красноносый молодой алкаш в районе тридцатника, и в любых нормальных условиях мне быстро стало бы с ним скучно, но теперь все мои чувства обострились навстречу любой человеческой привязанности. На нем был битовый свитер и мешковатые штаны; в смысле сумки у него не было ничего – только зубная щетка и носовые платки. Он сказал, что дальше нам надо ехать вместе. Я бы вообще-то отказался, потому что на дороге он выглядел довольно ужасно. Но мы остались вместе и с каким-то неразговорчивым мужиком доехали до Стюарта, Айова; тут-то мы и сели на мель по-настоящему. Мы стояли перед будкой железнодорожной кассы добрых пять часов, до самого заката, дожидаясь хоть какого-нибудь транспорта в западную сторону; мы тратили время совершенно бездарно – поначалу рассказывали каждый о себе, потом он травил неприличные анекдоты, потом мы уже просто пинали гравий и издавали разные дурацкие звуки. Нам осточертело. Я решился потратить доллар на пиво; мы зашли в старый стюартовский салун и пропустили по несколько кружек. Потом он нажрался так, как обычно нажирался по вечерам дома, на своей Девятой Авеню, и стал радостно вопить мне в ухо всякие омерзительные мечты, что были у него в жизни. Мне он даже понравился – не потому, что был неплохим чуваком, как оно позже и оказалось, а потому, что подходил во

всему с энтузиазмом. В потемках мы снова вышли на дорогу, и там, конечно, никто не останавливался, мало того – почти никто не проезжал мимо вообще. Это продолжалось до трех часов утра. Некоторое время мы пытались заснуть на скамейках в железнодорожной кассе, но там всю ночь щелкал телеграф, не давая спать, а снаружи то и дело грохотали большие товарняки. Мы не знали, как прыгнуть на такой, мы никогда этого не делали; мы не знали, на запад они идут или на восток, не умели выбирать нужные товарные вагоны, платформы или размороженные холодильники, и так далее. Поэтому сразу перед восходом, когда мимо проезжал автобус на Омаху, мы в него сели, подвинув спавших пассажиров, я заплатил и за него, и за себя. Его звали Эдди. Он напоминал мне моего шурина из Бронкса. Поэтому-то я с ним и остался. Типа рядом – старый друг, добродушный улыбчивый кент, с которым можно дурачиться.

Мы прибыли в Каунсил-Блаффс на рассвете; я выглянул наружу. Всю зиму я читал о больших караванах фургонов, которые собирались здесь держать совет перед тем, как разными тропами отправляться в сторону Орегона и Санта-Фе; сейчас же здесь, конечно, только славненькие пригородные коттеджи, выстроенные и так, и эдак, разлеглись в угрюмом сером свете зари. Затем – Омаха; Боже мой, я увидел первого в жизни ковбоя, он шел вдоль блеклой стены оптовых мясных складов в своей десятигаллонной шляпе и тexasских сапогах и был совсем похож на какого-нибудь битника утром у кирпичной стены на востоке, если бы не его обмундирование. Мы слезли с автобуса и пешком поднялись наверх, на пологий холм, тысячелетиями складывавшийся отложениями могучей Миссури, – по склонам его построена Омаха, – вышли за город и вытянули вперед большие пальцы. Нас недалеко подвез зажиточный фермер в огромной шляпе, который сообщил, что долина Платт – такая же большая, как и долина Нила в Египте, и только он это сказал, как я увидел вдали громадные деревья, полоса которых изгибалась вместе с речным руслом, и бескрайние зеленеющие поля вокруг – и почти что согласился с ним. Потом, пока мы стояли на другом перекрестке, небо начало затягивать, и еще один ковбой, на сей раз шести футов росту и в скромной полугаллонной шляпе, подозвал нас и поинтересовался, может ли кто-нибудь водить машину. Конечно же, Эдди мог, у него были права, а у меня не было. Ковбой перегонял назад, в Монтану два своих автомобиля. Его жена ждала в Грэнд-Айленде, и он хотел, чтобы кто-то из нас доставил туда один, а там уже сядет она. Оттуда он двигался на север, и там наша поездка с ним должна будет закончиться. Но мы бы уже тогда забрались на добрых сотню миль в Небраску, поэтому его предложение пришлось как нельзя кстати. Эдди ехал один, мы с ковбоем – следом, но не успели мы выехать из города, как Эдди из чистого избытка чувств стал выжимать девяносто миль в час.

– Дьявол бы меня побрал, что этот парень делает! – заорал ковбой и рванул за ним. Все это начинало походить на гонки. На какую-то минуту я усомнился: а не пытается ли Эдди просто удрать вместе с машиной, – и, насколько я сейчас знаю, как раз это он и намеревался сделать. Но ковбой приклеился к нему, догнал и задудел. Эдди сбавил газ. Ковбой посигналил еще, чтобы тот остановился вообще.

– Черт возьми, парень, у тебя колесо может спустить на такой скорости. Ты что, не можешь ехать чуть медланней?

– Вот же черт, я что, на самом деле девяносто сделал? – спросил Эдди. – Я и не понял на такой гладкой дороге.

– А ты не шибко бери в голову, и тогда мы все доберемся до Гранд-Айленда в целости и сохранности.

– Ладно, ништяк. – И мы поехали дальше. Эдди успокоился, и его даже, наверное, стало клонить в сон. Так мы и ехали эту сотню миль по Небраске, повторяя изгибы реки Платт с ее цветущими полями.

– Во время депрессии, – рассказывал мне ковбой, – я, бывало, прыгал на товарняк раз в месяц, по меньшей мере. В те дни на платформе или в товарном вагоне можно было увидеть сотни мужиков – не только бродяг, там были разные люди – одни без работы, другие перебирались с места на место, некоторые просто скитались. Так по всему Западу было. Кондуктора никогда никого не беспокоили. Как сейчас – не знаю. В Небраске нечего делать. Ты прикинь: в середине тридцатых тут, насколько глаз хватало, была одна туча пыли и больше ничего. Дышать нечем. Земля вся черная была. Я тогда жил здесь. Да мне плевать, пускай хоть обратно индейцам Небраску отдадут. Я это место ненавижу пуще всего на свете. Теперь дом у меня в Монтане – Миссула. Вот приезжай туда как-нибудь, увидишь воистину Божью страну. – Позже, под вечер, когда он устал говорить, я уснул, – а он был интересным рассказчиком.

По дороге мы остановились поесть. Ковбой ушел латать запасную шину, а мы с Эдди уселись в чем-то типа домашней столовки. Тут я услышал хохот – нет, просто ржание, и в столовую зашел такой дубленый старпер, небраскинский фермер с оравой парней; скрежет его воплей можно было слышать аж с той стороны равнин – вообще через всю серую равнину вселенной. Остальные ржали вместе с ним. Ему целый свет был до лампочки, и вместе с тем он был капитально внимателен к каждому. Я сказал себе: эге, ты только послушай, как этот чувак ржет. Вот тебе Запад, вот тебе я на этом Западе. Он с громом ввалился в столовку, выкликавая хозяйку по имени; та готовила самые сладкие вишневые пироги в Небраске, и я себе тоже взял, вместе с нагромоздившимся сверху черпаком мороженого.

– Мамаша, сооруди-ка мне скоренько чего-нибудь порубать, пока я тут самого себя не слопал в сыром виде – или еще как-нибудь не сглумил. – И он швырнул свое тело на табуретку, и началось просто «хыа-хыа-хыа-хыа». – И бобов туда еще закинь.

Рядом со мною сидел сам дух Запада. Вот бы узнать всю его необструганную жизнь, чем все эти годы он, черт возьми, занимался – помимо того, чтобы ржать и вопить вот так, как сейчас. У-ух ты, сказал я своей душе, но тут вернулся наш ковбой, и мы отбыли в Гранд-Айленд.

Приехали, не успев и глазом моргнуть. Ковбой отправился за своей женой и навстречу той судьбе, что ожидала его, а мы с Эдди снова вышли на дорогу. Сначала нас подбросили двое молодых чуваков – трепачи, пацаны, пастухи деревенские в собранном из старья драндулете, – нас высадили где-то в чистом поле под начинавшим сеяться дождиком. Потом старик, который ничего не говорил, – вообще Бог знает, почему он нас подобрал, – довез нас до Шелтона. Здесь Эдди уныло и отрешенно встал посреди дороги перед вылупившейся на него компанией коротконогих приземистых индейцев-омаха, которым

было некуда идти и нечего делать. Через дорогу лежали рельсы, а на водокачке было написано: «Шелтон».

– Дьявольщина, – произнес Эдди в изумлении, – я уже был в этом городе. Это было давно, еще в войну, ночью, было поздно, и все уже спали. Выхожу я на платформу покурить, а вокруг – ни черта, и мы в самой середине, темно как в преисподней, я наверх гляжу, а там это название, «Шелтон», на водокачке написано. Мы к Тихому едем, все храпят, ну каждая падла дрыхнет, а стоим всего каких-то несколько минут, в топке там шуруют или еще чего-то – и вот уже поехали. Черт бы меня побрал, тот же самый Шелтон! Да я с тех самых пор это место ненавижу! – В Шелтоне мы и застряли. Как и в Давенпорте, Айова, все машины отчего-то оказывались фермерскими, а если время от времени и появлялась машина с туристами, то было еще хуже: старичье за рулем, а жены тычут пальцами в пейзаж, корпят над картой или откидываются на спинку и с подозрением на все лыбятся.

Заморосило сильнее, и Эдди замерз: на нем было очень мало одежды. Я выудил из сумки шерстяную шотландку, и он ее надел. Ему стало получше. Я простыл. В покосившейся лавке, типа для местных индейцев, купил себе капель от насморка. Зашел на почту, в такой курятник, и за пенни отправил тетке открытку. Мы опять вышли на серую дорогу. Вот она, перед носом – «Шелтон» на водокачке. Мимо прогрохотал рок-айлендский скорый. Мы видели смазанные лица в мягких вагонах. Поезд взвыл и унесся вдаль, по равнинам, в направлении наших желаний. Дождик припустил сильнее.

Высокий худощавый старикан в галлонной шляпе остановил свою машину не с той стороны дороги и пошел к нам; похож он был на шерифа. Мы на всякий случай заготовили свои истории. Подходить он не торопился.

– Вы, парни, куда-то едете или просто едете? – Мы не поняли вопроса, а это был чертовски хороший вопрос.

– А что? – спросили мы.

– Ну, у меня есть свой маленький карнавал – он стоит вон там, несколько миль по дороге, и мне нужны взрослые парни, которые были бы не прочь поработать и подзаработать. У меня концессии на рулетку и деревянное колесо – ну, знаете, куколок разбрасываешь и испытываешь судьбу. Ну как, хотите поработать со мной – тридцать процентов выручки ваши?

– А жилье и кормежка?

– Постель будет, а с едой – нет. Есть придется в городе. Мы немного ездим. – Мы прикидывали. – Хорошая возможность, – сказал он, терпеливо ожидая, пока мы решимся. Мы чувствовали себя глупо и не знали, что сказать, а что касалось меня, то я не хотел связываться вообще ни с каким карнавалом. Мне дьявольски не терпелось добраться до нашей толпы в Денвере.

Я сказал:

– Ну, я не знаю... мне чем быстрее, тем лучше, у меня, наверное, просто не будет столько времени. – Эдди ответил то же самое, и старик, махнув рукой, обыденно прошлепал обратно к своей машине и уехал. Вот и все. Мы немного посмеялись и представили себе, как это вышло бы в натуре. Мне виделась темная, пропыленная ночь посреди равнин, лица небраскинских семейств, что бродят вокруг, их розовые детки взирают на все с трепетом, и

я знаю, что чувствовал бы себя самым сатаной, дурача их всякими дешевыми карнавальными трюками. Да еще чертово колесо вращается во мраке над степью, да, господи ты боже мой, грустная музыка развеселой карусели, и я такой, хочу добраться до своей цели – и ночью в каком-нибудь позолоченном фургоне на постели из джутовых мешков.

Эдди оказался довольно рассеянным попутчиком. Мимо катила смешная древняя колымага, ею управлял старик; эта штуковина была сделана из какого-то алюминия, квадратная, как ящик, – трейлер, без сомнения, но какой-то странный, чокнутый, самопальный небраскинский трейлер. Ехал он очень неторопливо и невдалеке остановился. Мы бросились к нему; он сказал, что может взять только одного; без единого слова Эдди прыгнул внутрь и медленно задрезжал прочь, увозя мою шерстяную шотландку. Что поделаешь, я мысленно помахал своей рубашечке; в любом случае, она была мне дорога всего лишь как память. Я ждал в нашем маленьком персональном кошмарном Шелтоне еще очень и очень долго, несколько часов, не забывая, что скоро уже ночь; на самом же деле, еще стоял день, просто очень темный. Денвер, Денвер, как же мне добраться до Денвера? Я уже готов был сдаться и собирался немного посидеть и выпить кофе, как остановился сравнительно новый автомобиль, в нем сидел молодой парень. Я бежал к нему как сумасшедший.

– Куда тебе?

– В Денвер.

– Ну, я могу тебя подбросить на сотню миль в ту сторону.

– Чудно, чудно, вы спасли мне жизнь.

– Я сам раньше стопом ездил, поэтому сейчас всегда беру кого-нибудь.

– Я б тоже брал, кабы машина была. – Так мы с ним болтали, он рассказывал мне про свою жизнь – это было не очень интересно, я начал потихоньку дремать и проснулся у самого Гётенбурга, где он меня и высадил.

Тут началась самая клевая поездка в моей жизни: грузовик с открытым верхом и без заднего борта, в кузове растянулись шестеро или семеро парней, а водители – два молодых светловолосых фермера из Миннесоты – подбирали всех до единого, кого находили по дороге; никого, кроме пары этих улыбчивых, бодрых и приятных деревенских лоботрясов, видеть не хотелось; оба одеты в хлопчатобумажные рубашки и рабочие штаны – и всё; оба со здоровенными ручищами и открытыми, широкими и приветливыми улыбками для всего, кто или что бы ни попало на пути. Я подбежал и спросил:

– А еще место есть?

– Конечно, запрыгивай давай, места всем хватит.

Не успел я взобраться в кузов, как грузовик с ревом рванул дальше; я не удержался, кто-то в кузове схватил меня, и я шлепнулся вниз. Кто-то протянул бутылку с сивухой, там оставалось на донышке. Я глотнул от души в диком, лирическом, морозящем воздухе Небраски.

– Уу-иих, поехали! – завопил пацан в бейсбольной кепке, и они разогнали грузовик до семидесяти и как из пушки обгоняли всех, кто был на трассе. – Мы на этом сукином сыне едем аж из самого Де-Мойна. Парни никогда не останавливаются. Им приходится иногда орать, чтобы слезть поссать. А то приходится ссать с воздуха и крепче держаться, браток, – чем крепче. Тем лучше.

Я оглядел всю компанию. Там было два молодых пацана – фермеры из Северной Дакоты в красных бейсболках, а это стандартный головной убор пацанов-фермеров в Северной Дакоте, они ехали на урожаи: их старик дал им отпуск на лето, поездить. Было два городских пацана из Колумбуса, Огайо, студенты-футболисты; они жевали резинку, подмигивали, распевали песни на ветру; они сказали, что летом вообще ездят стопом по Штатам.

– Мы едем в Эл-Эй! – вопили они.

– А чего делать там будете?

– А черт его знает. Какая разница?

Потом был еще длинный тощий кент с вороватым взглядом.

– Ты откуда? – спросил я его. Я лежал с ним рядом в кузове; сидеть там было невозможно, не подсакивая, а поручней, чтобы держаться, не было. Он медленно развернулся ко мне, открыл рот и вымолвил:

– Мон-та-на.

И, наконец, там был Джин с Миссиссиппи и его подопечный. Джин с Миссиссиппи был маленьким чернявым парнем, который ездил по стране на грузовых поездках, хобо лет тридцати, но выглядел он молодо, а сколько ему на самом деле, сказать было трудно. Он сидел на досках, скрестив ноги, смотрел на поля, ни слова ни говоря на протяжении сотен миль, а в конце концов однажды повернулся ко мне и спросил:

– А ты куда едешь?

Я ответил, что в Денвер.

– У меня там сестра, но я ее не видел уже лет несколько. – Его речь была мелодичной и медлительной. Он был терпеливый. Его подопечный – высокий светловолосый

шестнадцатилетний паренек – тоже был одет в тряпки, как у хобо: то есть на них обоих была старая одежда, почерневшая от паровозной сажи, грязи товарных вагонов и от того, что спишь на земле. Светлый пацан тоже вел себя тихо и, казалось, от чего-то убегал; и по тому, как он смотрел прямо перед собой и облизывал губы, тревожно о чем-то размышляя, выходило, что убегал он от полиции. Иногда Кент из Монтаны заговаривал с ними с саркастической и оскорбительной ухмылкой. Те не обращали на него внимания. Кент был весь из себя оскорбление. Я боялся его долгого тупого оскала, с которым он смотрел прямо тебе в лицо и полупридуточно не хотел отлипнуть.

– У тебя деньги есть? – спросил он меня.

– Откуда, к черту? На пинту виски, может, хватит, пока доберусь до Денвера. А у тебя?

– Я знаю, где можно достать.

– Где?

– Везде. Всегда ведь можно заманить какого-нибудь лопухого в переулочек, а?

– Да-а, думаю, можно.

– Мне на запахло, когда на самом деле бабки нужны. Еду сейчас в Монтану, отца повидать. Надо будет слезть с этой телеги в Шайенне и двигаться наверх на чем-нибудь другом. Эти психи едут в Лос-Анжелес.

– Прямым?

– Всю дорогу: если хочешь в Эл-Эй – они подвезут.

Я стал раскидывать мозгами: мысль о том, что можно сквозануть ночью через всю Небраску, Вайоминг, утром – пустыня Юты, потом, днем скорее всего – пустыня Невады, и в натуре прибыть в Лос-Анжелес в обозримом и недалеком будущем, почти заставила меня изменить все планы. Но мне надо было в Денвер. Тоже придется слезть в Шайенне и стопом проехать девяносто миль к югу до Денвера.

Я обрадовался, когда миннесотские парни, которым принадлежал грузовик, решили остановиться в Норт-Платте поесть: я хотел на них взглянуть. Они вылезли из кабины и заулыбались всем нам.

– Можно поссать! – сказал один.

– Пора есть! – сказал другой.

Но из всей компании только у них были деньги на еду. Мы приволоклись вслед за ними в ресторан, которым управляла целая куча женщин, и сидели там со своими гамбургерами и кофе, пока они уминали целые подносы еды, точно у мамочки на кухне. Они были братьями, возили сельхозтехнику из Лос-Анжелеса в Миннесоту и неплохо этим зарабатывали.

Поэтому на обратном пути к Побережью, порожняком, они и подбирали всех на дороге. Они уже проделывали такое раз пять и получали бездну удовольствия. Им все нравилось. Они не переставали улыбаться. Я попытался заговорить с ними – довольно неуклюжая попытка с моей стороны подружиться с капитанами нашего корабля, – и в ответ единственно получил две солнечные улыбки и крупные белые зубы, вскормленные на кукурузе.

В ресторане с нами были все, кроме обоих хобо – Джина и его парня. Когда мы вернулись, они всё так же сидели в кузове, всеми брошенные и несчастные. Опускалась тьма.

Водители закурили; я воспользовался случаем, чтобы купить бутылку виски – согреться в летящем мимо ночном воздухе. Они улыбнулись, когда я сказал им об этом:

– Давай, быстрее только.

– Ну, и вам по паре глотков достанется! – заверил их я.

– Нет-нет, мы не пьем, давай сам.

Кент из Монтаны и оба студента бродили вместе со мною по улицам Норт-Платта, пока я не нашел, где продается виски. Они скинулись понемногу, Кент тоже добавил, и я купил квинту. Высокие угрюмые мужики наблюдали, как мы идем мимо, сидя перед домиками с фальшивыми фасадами: вся главная улица была у них застроена такими квадратными коробками. Там, где заканчивалась каждая унылая улочка, раскрывались громадные пространства равнин. В воздухе Норт-Платта я ощутил что-то иное – я не знал, что именно. Минут через пять понял. Мы вернулись к грузовику и рванули дальше. Быстро стемнело. Мы все вкиряли по чуть-чуть, тут я взглянул окрест и увидел, как цветущие поля реки Платт начали исчезать, а вместо них, настолько, что конца не видать, возникали долгие плоские пустоши – песок да полынь. Я поразился.

– Что за черт? – крикнул я Кенту.

– Это степи начинаются, парень. Дай-ка мне еще глотнуть.

– Ур-р-ра! – вопили студенты. – Колумбус, пока! Что бы Спарки с пацанами сказали, если б здесь очутились. Й-яуу!

Водители впереди поменялись местами; свежий братишка шарахнул грузовик до предела. Дорога тоже изменилась: посередине горб, покатые края, а по обеим сторонам – канавы глубиной фута по четыре, и грузовик подпрыгивал и перекатывался с одного края дороги на другой – только чудом каким-то в это время никто не ехал навстречу, – а я думал, что мы все сейчас сделаем сальто. Но братья были офигенными шоферами. Как этот грузовичок расправился с небраскинской шишкой – с той шишкой, что залезает аж на Колорадо! Как только я понял, что на самом деле наконец попал в Колорадо – хотя официально я в него не попал, но если смотреть на юго-запад, то Денвер всего в каких-то нескольких сотнях миль... Так вот, тогда я завопил от восторга. Мы пустили пузырь по кругу. Высыпали здоровенные пылающие звезды, песчаные холмы, сливаясь с далью, потускнели. Я чувствовал себя стрелой, которая может долететь до самой цели.

И вдруг Джин с Миссиссиппи повернулся ко мне, очнувшись от своего терпеливого созерцания со скрещенными ногами, открыл рот, наклонился поближе и сказал:

– Эти равнины мне напоминают про Техас.

– А ты сам из Техаса?

– Нет, сэр, я из Грин-велла, Маз-сипи. – Вот как он это сказал.

– А пацан этот откуда?

– Он там, в Миссиссиппи, попал в какую-то заварушку, и я предложил помочь ему выбраться. Парнишка никогда сам нигде не был. Я о нем забочусь как могу, он еще ребенок. – Хоть Джин и был белый, в нем жило что-то от мудрого и усталого старого негра, а иногда появлялось что-то очень похожее на Элмера Хассела, нью-йоркского наркомана, да, в нем это было, но только это был такой железнодорожный Хассел, Хассел – бродячий эпос, пересекающий страну вдоль и поперек каждый год, на юг зимой, на север летом, и только потому, что у него нет такого места, где он мог бы задержаться и не устать от него, и потому, что ехать ему больше некуда, кроме как куда-то, он продолжал катиться дальше под

звездами, и звезды эти, в основном, оказывались звездами Запада.

– Я пару раз бывал в Ог-дене. Если хочешь поехать в Ог-ден, то у меня там пара друзей, у них можно залечь.

– Я еду в Денвер из Шайенна.

– На хрена? Поезжай прямо, не каждый день такая прогулка выпадает.

Предложение, конечно, было очень соблазнительным. А что там, в Огдене?

– Что такое Огден? – спросил я.

– Это такое место, через которое почти все парни проезжают и всегда там встречаются; там скорее всего кого хочешь увидишь.

Раньше, когда я ходил в моря, то был знаком с длинным костлявым парнем из Луизианы по имени Дылда Хазард, Уильям Холмс Хазард, который был хобо потому, что хотел им быть.

Маленьким мальчиком он увидел, как к его матери подошел хобо и попросил кусочек пирога, и та дала ему, а когда хобо ушел вниз по дороге, мальчик спросил:

– Ма, а кто этот дядя?

– А-а, это хо-бо.

– Ма, я хочу стать хо-бо, когда вырасту.

– Закрой рот, Хазардам это не пристало. – Но он так и не забыл того дня, а когда вырос, то после непродолжительного увлечения игрой в футбол за Луизианский Университет действительно стал хобо. Мы с Дылдой провели множество ночей, рассказывая друг другу разные истории и плюясь табачным соком в бумажные стаканчики. Во всей манере Джина с Миссиссиппи что-то настолько очевидно напоминало Дылду Хазарда, что я не выдержал:

– Ты случайно где-нибудь не встречал чувака по имени Дылда Хазард?

И тот ответил:

– Ты имеешь в виду такого длинного парня, который громко смеется?

– Да вроде похож. Он из Растона, Луизиана.

– Точно. Его еще иногда называют Длинный из Луизианы. Да, сэр, конечно, я встречал Дылду.

– Он еще работал раньше на нефтеразработках в Восточном Техасе.

– Правильно, в Восточном Техасе. А теперь гоняет скот.

И это было уже совершенно точно; но все-таки я никак не мог поверить в то, что Джин действительно знает Дылду, которого я искал – ну, туда-сюда – несколько, в общем, лет.

– Еще раньше он работал на буксирах в Нью-Йорке?

– Н-ну, насчет этого я не знаю.

– Так ты, наверное, знал его только на Западе?

– Ну да. Я ни разу не был в Нью-Йорке.

– Ну, черт бы меня побрал, просто поразительно, что ты его знаешь. Такая здоровая страна. И все-таки я был уверен, что ты его знаешь.

– Да, сэр, я знаю Дылду довольно неплохо. Никогда не жметя, если деньги заводятся.

Злой, крутой такой чувак к тому же: я видел, как он уложил легавого на сортировке в Шайенне – с одного удара. – Это тоже походило на Дылду: он постоянно отрабатывал свой «один удар»; сам он напоминал Джека Демпси, только молодого и вдобавок пьющего.

– Черт! – завопил я навстречу ветру, отхлебнул еще и вот уже почувствовал себя достаточно недурно. Каждый глоток уносило прочь летящим навстречу воздухом открытого кузова, горечь его стиралась, а сладость оседала в желудке. – Шайенн, вот я еду! – пел я. – Денвер, берегись, я твой!

Кент из Монтаны повернулся ко мне, показал на мои ботинки и сострил, конечно, даже не улыбнувшись:

– Ты думаешь, если эти штуки закопать в землю, что-нибудь вырастет? – А остальные парни услышали его захохотали. У меня были самые глупые башмаки во всей Америке: я прихватил их специально, чтобы ноги не потели на раскаленной дороге, и, если не считать дождя возле Медвежьей Горы, ботинки эти действительно оказались самыми подходящими для моего путешествия. Поэтому я засмеялся вместе с ними. Башмаки уже сильно обтрепались, кусочки разноцветной кожи торчали кубиками свежего ананаса, и в дырки проглядывали пальцы. В общем, мы квакнули еще и ржали себе дальше. Как во сне, грузовик летел сквозь крохотные городки на перекрестках, которые хлопками рвались нам навстречу из темноты, мимо длинных шеренг сезонников и ковбоев, бездельничавших всю ночь. Те лишь успевали повернуть головы нам вслед, и уже из разливавшейся тьмы на другом конце городка мы замечали, как они хлопают себя по ляжкам: мы были довольно прикольной компанией.

В это время года, однако, в деревне было много народу – пора урожая. Парни из Дакоты засуетились:

– Мы, наверное, слезем, когда они в следующий раз остановятся поссать: здесь, кажется, полно работы.

– Когда здесь кончится, просто надо будет двигаться на север, – посоветовал Кент из Монтаны, – и так идти за урожаем, пока не дойдете до Канады. – Парни вяло кивнули в ответ: они не шибко высоко ставили его советы.

Тем временем молодой светловолосый беглец сидел все так же; Джин то и дело выглядывал из своего буддистского транса на летевшие мимо темные равнины и мягко шептал что-то парню на ухо. Тот кивал. Джин о нем заботился – о его настроении и о его страхах. Я подумал: ну куда, к чертям собачьим, они поедут и что будут делать? У них не было даже сигарет. Я истратил на них всю свою пачку – так я их полюбил. Они были благодарны и благодатны: ничего не просили, а я все предлагал и предлагал. У Монтанского Кента тоже была пачка, но он никого не угощал. Мы пронеслись сквозь другой городок на перекрестке, мимо еще одной шеренги доходяг в джинсах, сбившихся под тусклые фонари, точно бабочки на поверхности пустыни, и вернулись к неохватной тьме, и звезды над головой были чисты и яркие, потому что воздух тончал все сильнее и сильнее по мере того, как мы взбирались на высокогорье в западной части плато, понемногу – фут на милю, так они сказали, – и никакие деревья вокруг не загораживали низких звезд. А один раз, когда мы пролетали мимо, в полыни у дороги я заметил грустную белолицую корову. Как по железной дороге едешь – так же ровно и так же прямо.

Вскоре мы снова въехали в городок, сбросили скорость, и Кент из Монтаны сказал:

– Ну, наконец, поссать можно! – Но миннесотские парни не остановились и поехали дальше. – Черт, я уже не утерплю, – сказал Кент.

– Давай через борт, – откликнулся кто-то.

– Ну и дам, – сказал он и медленно, пока мы все на него смотрели, дюйм за дюймом стал сидя перемещаться к краю платформы, держась за что только можно, пока не свесил ноги с открытого борта. Кто-то постучал в стекло кабины, чтобы привлечь внимание братьев. Те обернулись и разулыбались, как могли только они. И как раз когда Кент начал делать свои дела, и без того чересчур осторожно, они стали рисовать грузовиком зигзаги на скорости семьдесят миль в час. Кент сразу же опрокинулся на спину; мы увидели в воздухе китовый фонтанчик; он пытался снова подняться и сесть. Братья опять мотнули грузовик в сторону. Бах – он упал на бок и весь обмочился. В реве ветра мы слышали, как он слабо ругается – будто человек скулит где-то за холмами:

– Черт... вот черт... – Он так и не понял, что мы делали это намеренно: он просто боролся – сурово, как Иов. Закончив, – как уж у него это получилось, не знаю, – он был весь мокрый, хоть выжимай; теперь надо было проерзать на заднице обратно, что он и сделал с самым что ни на есть горестным видом, а все остальные ржали, кроме грустного светловолосого парня и миннесотцев в кабине – те просто ревели от хохота. Я протянул ему бутылку, чтобы хоть чем-то компенсировать.

– Какого дьявола? – сказал он. – Они что, специально это делали?

– Конечно, специально.

– Вот черт, а я не знал. Я так уже делал в Небраске – так там было в два раза легче.

Мы вдруг приехали в городок Огаллала, и здесь чуваки в кабине выкрикнули, причем с немалым удовольствием:

– Остановка поссать! – Кент угрюмо слез с грузовика, сожалея об утраченной возможности. Два парня из Дакоты со всеми попрощались, прикинув, что начнут работать на урожаях отсюда. Мы провожали их взглядом, пока они не скрылись в темноте, направившись куда-то на окраину, к лачугам, где горел свет и где, как сказал ночной сторож в джинсах, должны жить какие-то наниматели. Мне надо было прикупить сигарет. Джин и молодой блондин пошли вместе со мной размять ноги. Я зашел в самое невероятное место на свете – что-то типа одинокого кафе-стекляшки для местных подростков на Равнинах. Несколько – совсем немного – мальчишек и девчонок танцевали там под музыкальный автомат. Когда мы зашли, был как раз перерыв. Джин с Блондинчиком просто встали у дверей, ни на кого не глядя: им нужны были только сигареты. Там было и несколько симпатичных девчонок. Одна начала строить Блондинчику глазки, а тот так и не заметил; а если бы и заметил, то наплевал бы – так удручен он был.

Я купил им по пачке каждому; они сказали «спасибо». Грузовик уже был готов ехать дальше. Время склонялось к полуночи, холодало. Джин, исколесивший страну вдоль и поперек больше раз, чем мог сосчитать по пальцам рук и ног, сказал, что нам всем сейчас лучше всего сбиться в одну кучу под брезент, иначе околеет. Таким вот макаром – и с остатком бутылки – мы и согревались, а морозец крепчал и уже пощипывал нам уши. Звезды казались еще ярче – чем выше мы взбирались на Высокогорья. Теперь мы уже были в Вайоминге. Лежа на спине, я смотрел прямо перед собою в великолепную твердь, упиваясь тем расстоянием, что покрыл, как далеко, в конце концов, забрался от этой тоскливой Медвежьей Горы; я весь дрожал от предчувствия того, что ожидает меня в

Денвере – да что бы там меня ни ожидало! А Джин с Миссиссиппи запел песню. Он пел молодым тихим голосом с речным выговором, и песенка была такая незатейливая, просто «У меня была девчонка, ей шестнадцать лет, и другой такой девчонки в целом свете нет» – это все повторялось снова и снова, туда вставлялись другие строчки, все про то, что он заехал на край света и хочет вернуться к ней, но ее он уже потерял.

Я сказал:

– Джин, это очень хорошая песня.

– Это самая славная песня, которую я знаю, – ответил он, улыбнувшись.

– Я надеюсь, ты доберешься туда, куда едешь, и будешь счастлив.

– Да я всегда выкарабкаюсь и двинусь дальше – так или иначе.

Монтанский Кент спал. Тут он проснулся и сказал мне:

– Эй, Чернявый, как по части нам с тобой поисследовать Шайенн вместе сегодня ночью перед там, как ты поедешь к себе в Денвер?

– Заметано. – Я был достаточно пьян, чтобы пойти на что угодно.

Когда грузовик въехал в пригороды Шайенна, мы увидели в вышине красные огни местной радиостанции и внезапно ввинтились в огромную толпу людей, которая текла по обоим тротуарам.

– Тьфу ты пропасть, это же Неделя Дикого Запада, – сказал Кент. Стада жирных дельцов в сапогах и десятигаллонных шляпах, со своими изрядными женушками, выраженными как пастушки, с гиканьем гулеванили на деревянных тротуарах старого Шайенна; дальше начинались длинные жилистые огни бульваров нового центра, но празднество целиком сосредоточилось в Старом Городе. Холостыми бабахнули пушки. Салуны были набиты по самую мостовую. Я был поражен, но в то же время чувствовал, как это смешно: вырвался в первый раз на Запад и вижу, до каких нелепых трюков он докатился ради поддержания своей гордой традиции. Нам пришлось спрыгнуть с грузовика и попрощаться: миннесотцам было неинтересно здесь болтаться. Грустно было видеть, как они уезжают, и я понял, что больше никогда никого из них не увижу, но так оно уж вышло.

– Сегодня ночью вы себе отморозите жопы, – предупредил я их, – а завтра днем в пустыне их подпалите.

– Ничего, в самый раз, лишь бы из этой холодрыги ночью выбраться, – сказал Джин.

Грузовик уехал, осторожно руля в толпе, и никто не обращал внимания, что за странные пацаны смотрят из-под брезента на город, точно младенцы из коляски. Я следил, как машина исчезает в ночи.

Мы остались с Кентом из Монтаны и ударили по барам. В кармане у меня было что-то около семи долларов, пять из которых я по-глупому просадил той ночью. Сначала мы толклись со всякими понтово-ковбойными туристами, нефтяниками и ранчерами – в барах, дверных проемах и на тротуарах; потом я ненадолго свалил от Кента, который шарахался по улицам, слегка обалдев от всего выпитого виски и пива: вот так он напивался – его глаза стекленели, и через минуту он уже нес совершенную околесицу первому попавшемуся прохожему. Я пошел в забегаловку, где давали чили, и официантка там была мексиканкой – очень красивой. Я поел, а потом на обороте чека написал ей маленькую любовную записку. В забегаловке больше никого не было, все где-то пили. Я сказал, чтобы она перевернула чек. Она прочла и рассмеялась. Там было маленькое стихотворение о том, как я хочу, чтобы она пошла смотреть ночь вместе со мною.

– Хорошо бы, чикито, но у меня свидение с моим парнем.

– А послать его ты не можешь?

– Нет-нет, не могу, – ответила она печально, и мне очень понравилось, как она это произнесла.

– Я еще заеду сюда как-нибудь в другой раз, – сказал я, и она откликнулась:

– В любое время, парень. – Я все равно еще немного поторчал там, просто чтобы посмотреть на нее, и выпил еще чашку кофе. Хмуро вошел ее дружок и поинтересовался, когда она кончит работу. Та засуетилась, чтобы побыстрее закрыть точку. Надо было выметаться. Выходя, я улыбнулся ей. Снаружи вся эта катавасия продолжалась как и прежде, только жирные пердуны напивались все сильнее и улюлюкали все громче. Это было смешно. В толпе бродили индейские вожди в своих больших уборах из перьев – они в натуре выглядели очень торжественно среди багровых пьяных рож. По улице, пошатываясь, брел Кент, и я пошел с ним рядом.

Он сказал:

– Я только что написал открытку папаше в Монтану. Ты не можешь тут найти ящик и сбросить ее? – Странная просьба; он отдал мне открытку и заковылял в раскрытые двери салуна. Я взял ее, пошел к ящику и по пути бросил на нее взгляд. «Дорогой Па, буду дома в среду. У меня все в порядке, надеюсь, у тебя тоже. Ричард.» Я увидел его совсем по-другому: как нежно-вежлив он со своим отцом. Я зашел в бар и подсел к нему. Мы сняли двух девчонок: хорошенькую юную блондинку и толстую брюнетку. Они были тупые и куксилились, но мы все равно хотели их сделать. Мы отвели их в затрапезный ночной клуб, который уже закрывался, и там я истратил все, кроме двух долларов, на скотч для них и пиво для нас. Я напивался, и плевать: все было зашибись. Все мое существо и все мои помыслы стремились к маленькой блондинке. Я хотел проникнуть в нее изо всех своих сил. Я обнимал ее и хотел рассказать ей об этом. Клуб закрылся, и все побрели по обшарпанному пыльным улицам. Я взглянул на небо: чистые чудные звезды еще пылали там, девчонки захотели пойти на автостанцию, поэтому мы пошли туда все вместе, но им, очевидно, лишь надо было встретиться с каким-то моряком, который ждал их там, – он оказался двоюродным братом толстой, и к тому же с друзьями. Я сказал блондинке:

– Что за дела? – Она ответила, что хочет домой, в Колорадо, это сразу через границу, к югу от Шайенна.

– Я отвезу тебя на автобусе, – сказал я.

– Нет, автобус останавливается на шоссе, и мне придется тащиться по этой чертовой прерии совсем одной. И так весь день на нее тарщишься, а тут еще и ночью по ней ходить?

– Ну послушай, мы хорошо погуляем среди цветов прерии.

– Нету там никаких цветов, – ответила она. – Я хочу в Нью-Йорк. Мне здесь осточертело. Кроме Шайенна некуда поехать, а в Шайенне нечего делать.

– В Нью-Йорке тоже нечего делать.

– Черта с два нечего, – сказала она, скривив губки.

Автостанция была забита народом до самых дверей. Самые разные люди ждали автобусов или просто толпились вокруг; там было много индейцев, смотревших на всё своими окаменевшими глазами. Девчонка перестала со мной разговаривать и прилипла к моряку и остальным. Кент дремал на скамейке. Я тоже сел. Полы автостанций одинаковы по всей стране, они всегда в бычках, заплеваны и поэтому нагоняют тоску, присущую только автостанциям. Какой-то миг это ничем не отличалось от Ньюарка, если не считать той великой огромности снаружи, которую я так любил. Я оплакивал то, что мне пришлось нарушить чистоту всей моей поездки, что я не берег каждый цент, чего-то тянул и несколько не продвигался вперед, валял дурака с этой надутой девчонкой и потратил на нее все свои деньги. Мне стало противно. Я не спал под крышей так давно, что не в силах был даже материться и пенять себе, и поэтому уснул: свернулся калачиком на сиденье, подложив вместо подушки свою парусиновую сумку, и проспал до восьми утра под сонное бормотание и шум станции, через которую проходят сотни людей.

Проснулся я с оглушительной головной болью. Кента рядом не было – наверное, упылил в свою Монтану. Я вышел наружу. И там, в голубом воздухе, впервые увидел вдалеке огромные снежные вершины Скалистых Гор. Я глубоко вдохнул. Надо попасть в Денвер просто немедленно. Сначала я позавтракал – умеренно так: тост, кофе и одно яйцо, – а потом двинул из города в сторону шоссе. Фестиваль Дикого Запада еще продолжался: шло родео, и прыжки с гиканьем вот-вот должны были начаться по-новой. Я оставил все это за спиной. Мне хотелось увидеть свою банду в Денвере. Я перешел по виадуку через железную дорогу и подошел к кучке хижин на развилке шоссе: обе дороги вели в Денвер. Я выбрал ту, что поближе к горам, – чтобы можно было на них смотреть. Сразу же меня подобрал молодой парень из Коннектикута, который путешествовал на своем тарантасе по стране и рисовал; он был сыном редактора откуда-то с Востока. Рот у него не закрывался; мне же было паршиво и от выпитого, и от высоты. Один раз чуть не пришлось высовываться прямо из окна. Но к тому времени, как он меня высадил в Лонгмонте, Колорадо, я снова чувствовал себя нормально и даже начал рассказывать ему о том, как езжу по всей стране сам. Он пожелал мне удачи.

В Лонгмонте было прекрасно. Под громаднейшим старым деревом там был пятачок зеленой травки, принадлежавший бензоколонке. Я спросил служителя, нельзя ли мне здесь поспать, и тот ответил, что, конечно, можно; поэтому я расстелил свою шерстяную рубашку, улегся в

нее лицом, выставил локоть наружу и, нацелив один глаз на заснеженные вершины, полежал вот так под жарким солнышком всего какой-то миг, а потом заснул на пару восхитительных часов, и единственное неудобство мне доставлял заблудившийся колорадский муравей. Ну, вот я и в Колорадо! – торжествующе думал я. Черт! черт! черт! Получается! И после освежающего сна, наполненного обрывками паутины моей прежней жизни на Востоке, я встал, умылся в мужском туалете на заправке и зашагал дальше, снова четкий как чайник, купив себе густой молочный коктейль в придорожной закуской, чтобы слегка заморозить раскаленный, исстрадавшийся желудок.

Совершенно случайно коктейль мне взбивала очень красивая колорадская девчонка: она вся была одна сплошная улыбка; я был ей благодарен – это окупало предыдущую ночь целиком. Я сказал себе: у-ух! А как же тогда будет в Денвере! Я снова вышел на жаркую дорогу – и вот уже качу дальше в новехонькой машине, за рулем – денверский бизнесмен лет тридцати пяти. Он рванул семьдесят. У меня все зудело – я считал минуты и отнимал мили. Прямо впереди, за покатыми пшеничными полями, золотистыми от дальних снегов Эстес, я, наконец, скоро увижу старину Денвер. Я представлял себя сегодня вечером в денверском баре со всей нашей толпой, и в их глазах я буду чужим и странным, оборванным, как Пророк, который прошел через всю землю, чтобы донести до них темное Слово, и единственное Слово, которое у меня для них было, – это «У-ух!» У нас с человеком завязался долгий душевный разговор о наших соответственных планах на жизнь, и прежде, чем я успел сообразить, мы уже проезжали мимо оптовых фруктовых рынков в пригороде Денвера; там были дымовые трубы, дым, железнодорожные депо, здания из красного кирпича и вдалеке – серый камень центральной части города; и вот я уже в Денвере. Он высадил меня на Латимер-стрит. Я поплелся дальше, весьма шаловливо и радостно скалясь, смешавшись с местной толпой старых бродяг и битых ковбоев.

6

Я тогда еще не знал Дина так близко, как сейчас, и первым делом мне хотелось найти Чада Кинга, что я и сделал. Я позвонил ему домой и поговорил с его матерью, – она сказала:

– Сал, это ты? Что ты делаешь в Денвере?

Чад – такой худой светловолосый парень со странным шаманским лицом, которое хорошо согласуется с его интересом к антропологии и доисторическим индейцам. Его нос мягко и почти сливочно горбится под золотым ореолом волос; он красив и грациозен, как какой-нибудь ффраер с Запада, который ходит на танцульки в придорожный кабак и поигрывает в футбол. Когда он говорит, становится слышно такое легкое металлическое подрагивание произношения:

– То, что мне всегда нравилось, Сал, в индейцах Равнин, это как бывают они обескуражены после того, как нахвастаются количеством добытых скальпов. У Ракстона в «Жизни на Дальнем Западе» есть индеец, который весь заливается краской потому, что у него так много скальпов, и бежит как угорелый в степи, чтобы насладиться славой своих деяний подалеже от чужих глаз. Вот это как раз меня чертовски подначивало!

Мать Чада определила, что этим сонным денверским днем он должен плести индейские корзины в местном музее. Я позвонил ему туда; он приехал за мной на стареньком двухместном «форде», на котором обычно ездил в горы копать свои индейские экспонаты. Он вошел в зал автостанции в джинсах и с широченной улыбкой. Я сидел на полу, подложив сумку, и разговаривая с тем же самым моряком, что был со мною на автостанции в Шайенне; я расспрашивал его, что стало с блондинкой. Ему так все осточертело, что он не отвечал. Мы с Чадом забрались в автомобильчик, и первое, что ему надо было сделать, – это забрать какие-то карты в мэрии. Потом – встретиться со старым школьным учителем, потом еще что-то, а мне всего-навсего хотелось выпить пива. И где-то в затылке у меня шевелилась неуправляемая мысль: где Дин и что он сейчас делает. Чад по какой-то странной причине решил больше не быть Дину другом и теперь даже не знал, где тот живет.

– А Карло Маркс в городе?

– Да. – Но с этим он тоже больше не разговаривал. Это было началом ухода Чада Кинга от всей нашей толпы. Потом, в тот же день, мне пришлось вздремнуть у него дома. Мне сказали, что Тим Грэй приготовил для меня квартиру где-то на Колфакс-авеню, и что Роланд Мэйджор уже там поселился и ждет меня. Я ощущал в воздухе какой-то заговор, и этот заговор разграничивал в нашей компании две группы: Чад Кинг, Тим Грэй, Роланд Мэйджор вместе с Роулинсами, в общем, сговорились игнорировать Дина Мориарти и Карло Маркса. Я влип как раз в середину этой интересной войнушки.

Война эта была не без социальных обертонов. Дин был сыном алкаша, одного из самых запойных бродяг на Латимер-стрит, и на самом деле воспитывался этой улицей и ее окрестностями. Когда ему было шесть лет, он умолял в суде, чтобы его папу отпустили. Он кланчил деньги в переулках вокруг Латимер и таскал их отцу, который ждал его, сидя со старым приятелем среди битых бутылок. Потом, когда подрос, он начал ошиваться по бильярдной «Гленарм»; установил рекорд Денвера по угону автомобилей, и его отправили в исправительную колонию. С одиннадцати до семнадцати лет он провел в колонии. Его специальностью было угнать машину, днем поохотиться на девочек-старшекласниц, увезти

их покататься в горы, сделать их там и вернуться спать в любую городскую гостиницу, где в номерах есть ванны. Его отец, когда-то уважаемый и трудолюбивый жестянщик, спился вином, что еще хуже чем спиться виски, и опустился настолько, что зимой стал ездить на товарняках в Техас, а летом возвращался в Денвер. У Дина были братья по матери – та умерла, когда он был совсем маленьким, – но он им не нравился, единственными корешами его были парни из бильярдной. В тот сезон в Денвере Дин, обладавший громадной энергией – такой американский святой нового вида, – и Карло были монстрами подземелья, вместе с бандой из бильярдной, и самым прекрасным символом этого служило то, что Карло жил в подвале на Грант-стрит, и мы все провели там не одну ночь до самой зари – Карло, Дин, я, Том Снарк, Эд Данкель и Рой Джонсон. Об этих остальных позже.

В свой первый день в Денвере я спал в комнате Чада Кинга, пока его мать хлопотала по хозяйству внизу, а сам Чад работал в библиотеке. Стоял жаркий высокогорный июльский день. Я бы так и не смог заснуть, если бы не изобретение отца Чада Кинга. Ему, прекрасному доброму человеку, было за семьдесят, старый и дряхлый, ссохшийся и изможденный, он рассказывал истории с медленным-медленным смаком – хорошие истории о своем детстве на равнинах Северной Дакоты в восьмидесятых годах, когда забавы ради он катался на пони без седла и гонялся за койотами с дубиной. Потом стал учителем в деревне на «оклахомской рукоятке» и, наконец, дельцом на все руки в Денвере. Его контора по-прежнему находилась ниже по улице, над гаражом – там все так же стояло шведское бюро и валялись пыльные кипы бумаг, следы былых финансовых лихорадок. Он изобрел особый кондиционер воздуха. Вставил в оконную раму обычный вентилятор и каким-то образом пропустил холодную воду по змеевику перед урчащими лопастями. Результат оказался идеальным – в радиусе четырех футов от вентилятора, – а затем вода в жаркий день, очевидно, превращалась в пар, и нижняя часть дома раскалялась как обычно. Но я спал на кровати Чада под самым вентилятором, на меня пялился большой бюст Гёте, и я очень уютно заснул – только чтобы проснуться спустя двадцать минут, замерзнув до смерти. Я натянул на себя одеяло, но все равно было холодно. Наконец, я так замерз, что спать больше не мог, и спустился вниз. Старик спросил, как работает его изобретение. Я ответил, что оно работает дьявольски здорово, и не кривил душой – в определенных пределах. Мне понравился этот человек. Он просто гнулся от воспоминаний.

– Я как-то сделал пятновыводитель, и его с тех пор скопировали многие большие фирмы на Востоке. Я уже несколько лет пытаюсь что-то за него получить. Если б вот только хватило денег на порядочного юриста... – Но было уже слишком поздно нанимать порядочного юриста, и он удрученно сидел у себя в доме. Вечером у нас был чудесный обед, приготовленный матерью Чада, – бифштекс из оленины, которую дядя Чада добыл в горах. Но где же Дин?

– Сэм, они и здесь есть.

А тот просто печально глядит в окно.

– Да, – отвечает он. – Я знаю.

И весь прикол в том, что Сэму не обязательно ходить и смотреть самому. Богема есть повсюду в Америке, повсюду высасывает ее кровь. Мы с Мэйджором – большие кореша; он считает, что я очень далек от богемы. Мэйджору, как и Хемингуэю, нравятся хорошие вина. Он вспоминал свою недавнюю поездку во Францию:

– Ах, Сал, если бы ты только мог сидеть со мною рядом высоко в стране басков, с холодной бутылочкой «Пуанон Диз-нёв», ты бы тогда понял, что кроме товарных вагонов есть кое-что еще.

– Да знаю я. Я просто люблю товарные вагоны и люблю читать на них названия, типа «Миссури Пасифик», «Большая Северная», «Рок-Айлендская Линия». Ей-Богу, Мэйджор, если б я мог рассказать тебе обо всем, что со мною было, пока я сюда добирался.

Роулинсы жили в нескольких кварталах отсюда. У них была превосходнейшая семейка – молодящаяся мама, совладелица гостиницы-развалюхи в городских трущобах, пятеро сыновей и две дочери. Самым диким сынком был Рэй Роулинс, кореш Тима Грэя с детства. Он с ревом ворвался, чтобы забрать меня, и мы сразу же с ним поладили. Мы оторвались по выпивке в барах на Колфакс. Одна из сестренок Рэя была красавицей-блондинкой по имени Бэйб – такая западная куколка, играла в теннис и плавала на сёрфе. Она была девчонкой Тима Грэя. А Мэйджор, который вообще-то оказался в Денвере проездом, но проезд этот был основательный, с квартирой, ходил с сестрой Тима Грэя Бетти. У меня одного не было девушки. Я у всех спрашивал:

– Где Дин? – Все улыбались и качали головами.

И вот, в конце концов, это случилось. Зазвонил телефон, там был Карло Маркс. Он сообщил мне адрес своего подвала. Я спросил:

– А что ты делаешь в Денвере? Я имею в виду, что ты на самом деле тут делаешь? Что тут вообще такое?

– О, погоди немного, и я тебе расскажу.

Я бросился к нему на стрелку. Он работал по вечерам в универмаге «Мэйз»; чокнутый Рэй Роулинс позвонил ему туда из бара и заставил уборщиц бегать его искать, рассказав им, что кто-то помер. Карло немедленно решил, что помер я. А Роулинс сказал ему по телефону:

– Сал в Денвере. – И дал мой адрес и номер.

– А где Дин?

– Дин тоже тут. Давай, расскажу. – Оказалось, Дин обхаживает сразу двух девчонок: одна – это Мэрилу, его первая жена, которая сидит и ждет его в гостинице; вторая – Камилла, новая девушка, которая тоже сидит и ждет его в гостинице. – Дин носится между ними обеими, а в перерывах забегает ко мне заканчивать наши с ним собственные дела.

– И что это за дела?

– Мы с Дином открыли вместе грандиознейший сезон. Мы пытаемся общаться абсолютно честно и абсолютно полно – и говорить друг другу все, что думаем, до самого конца. Пришлось сесть на бензедрин. Мы усаживаемся на кровати друг напротив друга, скрестив ноги. Я, наконец, научил Дина, что он может делать все, чего ему хочется: стать мэром Денвера, жениться на миллионерше или стать величайшим поэтом со времен Рембо. Но он по-прежнему бегаёт смотреть эти свои карликовые автогонки. Я хожу с ним. Там он возбуждается, прыгает и орет. Сал, знаешь, он действительно торчит на таких вещах. – Маркс хмыкнул в душе и задумался.

– Ну, и каков теперь распорядок? – спросил я. В жизни Дина всегда есть распорядок.

– Распорядок таков. Я вот уже полчаса как пришел с работы. В это время Дин в гостинице развлекает Мэрилу и дает мне время на то, чтобы умыться и переодеться. Ровно в час он делает ноги от Мэрилу к Камилле – конечно, ни одна не знает, что происходит, – и разок ее трахает, давая мне время, чтобы ровно в час тридцать приехать. Потом уходит со мной – сначала ему приходилось отпрашиваться у Камиллы, и она уже начала меня ненавидеть, – и мы приходим сюда и разговариваем до шести утра. Вообще, мы обычно тратим на это больше, но сейчас все становится ужасно сложно, и у него не хватает времени. Затем в шесть он возвращается к Мэрилу – а завтра вообще весь день будет бегать за бумажками для их развода. Мэрилу не возражает, но настаивает на том, чтобы он ее трахал, пока суд да дело. Она говорит, что его любит... Камилла тоже.

Потом он рассказал мне, как Дин встретился с Камиллой. Рой Джонсон, бильярдный мальчик, обнаружил ее где-то в баре и отвел в гостиницу; гордость в нем возобладала над здравым смыслом, и он созвал всю банду на нее полюбоваться. Все сидели и разговаривали с Камиллой. Дин ничего не делал, а просто смотрел в окно. Потом, когда все свалили, он лишь взглянул на Камиллу, показал себе на запястье и разогнул четыре пальца (в смысле, что вернется в четыре) – и вышел. В три перед носом Роя Джонсона дверь заперли. В четыре перед Дином открыли. Я хотел прямо сейчас идти взглянуть на этого безумца. К тому же, он обещал уладить мои дела: он знал всех девчонок в городе.

Мы с Карло пошли по ухабистым улицам ночного Денвера. Воздух был мягок, звезды прекрасны, а каждый мощный переулок так зазывал в себя, что мне казалось, будто я во сне. Подошли к тем мебелированным комнатам, где Дин колбасился к Камиллой. То был старый дом из красного кирпича, окруженный деревянными гаражами и сухими деревьями, торчащими из-за оградок. Мы поднялись по лестнице, застланной ковром. Карло постучал и сразу отскочил назад: он не хотел, чтобы Камилла его увидела. Я остался перед дверью. Дин открыл – совершенно голый. На постели я увидел брюнетку, одно сливочное бедро прикрыто черными кружевами; она подняла на меня взгляд с легким недоумением.

– Са-а-ал? – протянул Дин. – Н-ну, это... э-э... кхм... да, конечно, ты приехал... ну, старик, сукин сын, ты, наконец, вышел на дорогу, значит... Ну, это, значит... мы тут... да, да, сейчас... мы это должны, мы просто обязаны!.. Слушай, Камилла... – Он крутнулся к ней. – Здесь Сал, мой старый кореш из Нью-Йор-р-ка, это его первая ночь в Денвере, и мне абсолютно необходимо показать ему тут все и найти ему девушку.

– Но когда ты вернешься?

– Так, сейчас... (взгляд на часы) ...ровно час четырнадцать. Я вернусь ровно в три четырнадцать подремать часок вместе с тобой, погрезить, моя милая, а потом, как ты знаешь, я тебе говорил, и мы же договорились, мне надо будет сходить к одному юристу по части тех бумажек – посреди ночи, как это ни странно, но я же все под-роб-ней-ше тебе объяснил... (Это была маскировка его randevу с Карло, который по-прежнему где-то прятался.) Поэтому сейчас же, вот сию же минуту я должен одеться, надеть штаны, вернуться к жизни, то есть ко внешней жизни, к улицам и что там еще бывает, мы же договорились, уже час пятнадцать, а время уходит, уходит...

– Ну ладно, Дин, но уж, пожалуйста, возвращайся к трем.

– Ну я же сказал, дорогая, и запомни – не к трем, а к трем четырнадцати. Мы ведь с тобой погрузились прямиком в глубочайшие и чудеснейшие глубины наших душ, правда, моя милая? – И он подошел и несколько раз ее поцеловал. На стене был нарисован голый Дин с огромной мошонкой и всем остальным – работа Камиллы. Я был поражен. Просто сумасшествие.

Мы рванули на улицу, в ночь; Карло нагнал нас в переулке. И мы проследовали по самой узкой, самой странной, самой извилистой городской улочке, какую я когда-либо видел, где-то в самой глубине денверского Мексиканского Города. Мы разговаривали громкими голосами в спящей тиши.

– Сал, – сказал Дин. – У меня тут девчонка ждет тебя вот в эту самую минуту – если она не на работе. (Взгляд на часы.) Официантка, Рита Беттенкур, клевая цыпочка, ее чуток клинит по парочке сексуальных трудностей, которые я пытался выправить, я думаю, у тебя тоже это получится, я же тебя знаю как облупленного, старик. Мы поэтому туда сейчас же пойдём – надо пива туда принести, нет, у них самих есть, вот черт!.. – Он стукнул себя кулаком в ладонь. – Мне же еще сегодня надо влезть в ее сестренку Мэри.

– Что? – сказал Карло. – Я думал, мы поговорим.

– Да, да, после.

– О, эта денверская хандра! – завопил Карло в небеса.

– Ну разве он не прекраснейший, не милейший ли чув-вак на целом свете? – спросил Дин, тыча мне кулаком под ребра. – Да погляди же. Ты только погляди на него! – Тут Карло начал свой обезьяний танец на улицах жизни; я уже столько раз видел, как он это делает в Нью-Йорке.

Я только и смог вымолвить:

– Так какого же дьявола мы делаем в Денвере?

– Завтра, Сал, я буду знать, где найти тебе работу, – сказал Дин, снова переключаясь на деловой тон. – Поэтому я к тебе завтра заеду, как только у меня будет перерыв с Мэрилу, прямо туда к тебе домой, увижусь с Мэйджором, отвезу тебя на трамвае (вот черт, машины-то нету) на рынки Камарго, ты там сразу сможешь начать работать и в пятницу уже получишь. Мы все тут на мели сидим. У меня уже несколько недель совершенно нет времени работать. А в пятницу вечером, вне всякого сомнения, мы втроем – старая троица Карло, Дин и Сал – должны сходить на карликовые автогонки, а туда нас подбросит парень из центра, я его знаю и договарюсь... – И так все дальше и дальше в ночь.

Мы добрались до того дома, где жили сестренки-официантки. Та, что для меня, все еще была на работе; та, которую хотел Дин, сидела дома. Мы уселись на ее кушетку. По графику в это время я должен был звонить Рэю Роулинсу. Я позвонил. Он сразу приехал. Едва войдя в двери, он снял рубашку и майку и начал обнимать совершенно ему незнакомую Мэри Беттенкур. По полу катались бутылки. Настало три часа. Дин сдернулся с места погрезить часок с Камиллой. Вернулся он вовремя. Появилась вторая сестра. Теперь нам всем нужна была машина, и мы слишком сильно шумели. Рэй Роулинс позвонил своему приятелю с машиной. Тот приехал. Все набились внутрь; Карло на заднем сиденье пытался вести с Дином запланированный разговор, но вокруг было слишком много суматохи.

– Поехали все ко мне на квартиру! – закричал я. Так и сделали; в ту секунду, когда машина остановилась, я выпрыгнул и встал на голову, на газоне. Все мои ключи выпали; я их так потом и не нашел. Вопя, мы вбежали в дом. Роланд Мэйджор в своем шелковом халате преградил нам путь:

– Я не потерплю подобных сборищ в квартире Тима Грэя!

– Что-о? – заорали мы. Поднялась неразбериха. Роулинс катался по газону с одной из официанток. Мэйджор нас не впускал. Мы поклялись позвонить Тиму Грэю подтвердить вечернику, а также пригласить его самого. Вместо этого все опять рванули по притонам в центре Денвера. Я вдруг оказался посреди улицы в одиночестве и без денег. Мой последний доллар пропал.

Я прошел миль пять по Колфаксу до своей уютной постельки. Мэйджору пришлось меня впустить. Мне было интересно, состоялся ли у Дина с Карло их задушевный разговор. Ничего, потом узнаю. Ночи в Денвере прохладные, и я уснул как бревно.

Потом все стали планировать грандиозный поход в горы. Это началось утром, вместе с телефонным звонком, который всё только усложнил, – звонил мой дорожный дружбан Эдди, просто так, наобум: он запомнил некоторые имена, что я упоминал. Теперь у меня был шанс получить обратно свою рубашку. Эдди жил с подругой в каком-то доме рядом с Колфакс. Он спрашивал, не знаю ли я, где можно найти работу, и я ответил, чтобы он подходил сюда, прикинув, что про работу будет знать Дин. Дин примчался в спешке, когда мы с Мэйджором торопливо завтракали. Он не хотел даже присесть.

– Мне тысячу дел надо сделать, на самом деле нет времени даже отвезти тебя на Камарго, ну да ладно, поехали.

– Давай подождем моего дорожного кореша Эдди.

Мэйджор развлекался, глядя на нашу спешку. Он приехал в Денвер писать в свое удовольствие. Он обращался с Дином крайне почтительно. Дин не обращал внимания.

Мэйджор разговаривал с Дином примерно так:

– Мориарти, что это я слышу – вы спите с тремя девушками одновременно? – А Дин шоркал ногами по ковру и отвечал:

– О да, о да, так оно и есть. – И смотрел на часы, а Мэйджор чванливо хмыкал. Убегая с Дином, я чувствовал себя бараном – Мэйджор был убежден, что тот недоумок и вообще дурак. Дин, конечно, таковым не был, и я хотел каким-то образом всем это доказать.

Мы встретились с Эдди. Дин и на него не обратил никакого внимания, и мы двинулись на трамвае сквозь раскаленный денверский полдень искать работу. Меня всего корежило от одной мысли об этом. Эдди трещал, не умолкая, как и прежде. На рынке мы нашли человека, который согласился нанять нас обоих; работа начиналась в четыре утра и заканчивались в шесть вечера. Человек сказал:

– Мне нравятся парни, которым нравится работать.

– Тогда я как раз для вас, – ответил Эдди, но насчет себя я вовсе не был уверен. Просто не буду спать, решил я. Так много других интересных дел.

На следующее утро Эдди там появился; я – нет. У меня была постель, а Мэйджор покупал еду в ледник, и за это я ему готовил и мыл посуду. А сам тем временем полностью встревал во всё. Однажды вечером Роулинсы устроили у себя большую попойку. Мама-Роулинс уехала путешествовать. Рэй обзвонил всех, кого знал, и сказал, чтобы принесли виски; потом прошелся по девочкам у себя в записной книжке. С ними он заставил разговаривать, в основном, меня. Объявилась целая куча девчонок. Я позвонил Карло узнать, что сейчас делает Дин. Тот должен был приехать к Карло в три часа ночи. После попойки я отправился туда.

Квартира Карло находилась в подвале старого кирпичного дома-меблирашки на Грант-стрит возле церкви. Надо было зайти в проулок, спуститься по каким-то ступенькам, открыть рассохшуюся дверь и пройти через что-то вроде погреба, чтобы оказаться у его фанерной перегородки. Комната походила на келью русского отшельника: кровать, свеча горит, из каменных стен сочится влага, да еще висит какая-то безумная самодельная икона, его произведение. Он читал мне свои стихи. Те назывались «Денверская Хандра». Карло утром проснулся и услышал, как на улице возле его кельи вякают «вульгарные голуби»; он увидел,

как на ветвях качаются «печальные соловьи», и те напомнили ему о матери. Серая пелена опустилась на город. Горы, величественные Скалистые Горы, которые видны на западе из любой части города, были сделаны из «папье-маше». Вселенная целиком спятила, окосела и стала крайне странной. Он писал о том, что Дин – «дитя радуги», он носит источник своих мук в терзаемом агонией приапуге. Он называл его «Эдиповым Эдди», которому приходится «соскабливать чуингам с оконных стекол». Он сидел в своем подвале и размышлял над огромной тетрадкой, куда заносил все, что происходило каждый день, – все, что сделал и сказал Дин.

Дин пришел по расписанию.

– Все четко, – объявил он. – Развожусь с Мэрилу и женюсь на Камилле, и мы с нею едем жить в Сан-Франциско. Но только после того, как мы с тобой, дорогой Карло, съездим в Техас врубимся в Старого Быка Ли, в этого клёвого гада, которого я никогда не видел, а вы двое о нем мне все уши прожужжали, а только потом я поеду в Сан-Фран.

Затем они приступили к делу. Скрестив ноги, они уселись на кровать и уставились друг на друга. Я скрючился на ближайшем стуле и увидел, как они это делают. Начинили с какой-то абстрактной мысли, обсудили ее, напомнили друг другу еще про что-то отвлеченное, позабытое за суетой событий; Дин извинился, но пообещал, что сможет вернуться к этому разговору и хорошенько с ним управиться, присовокупив примеры.

Карло сказал:

– Как раз когда мы пересекали Вазее, я хотел сказать тебе о том, что чувствую по части твоей одержимости карликами, и вот как раз тогда, помнишь, ты показал на того старого бродягу в мешковатых штанах и сказал, что он вылитый твой отец?

– Да, да, конечно, помню; и не только это, там начался мой собственный поток, что-то настолько дикое, что я должен был тебе рассказать, я совсем забыл, а сейчас вот ты мне напомнил... – И родились еще две новых темы. Они и их перемололи. Потом Карло спросил Дина, честен ли, тот, и в особенности – честен ли тот с ним в глубине своей души.

– Почему ты опять об этом?

– Я хочу знать одну последнюю вещь...

– Но вот, дорогой Сал, ты вот слушаешь, ты там сидишь – давай спросим Сала. Что он скажет?

И я сказал:

– Эта последняя вещь – то, чего ты не добьешься, Карло. Никто не может добиться этой последней вещи. Мы продолжаем жить в надеждах поймать ее раз и навсегда.

– Нет, нет, нет, ты говоришь совершеннейшую чушь, это шикарная романтика Вулфа! – сказал Карло.

А Дин сказал:

– Я совсем не это имел в виду, но пусть уж у Сала будет свое собственное мнение, и на самом деле, как ты думаешь, Карло, ведь в этом есть какое-то достоинство – как он там сидит и врубается в нас, этот ненормальный приехал через всю страну, – старик Сал не скажет, ни за что не скажет.

– Дело не в том, что я не скажу, – запротестовал я. – Я просто не знаю, к чему вы оба клоните или к чему стремитесь. Я знаю, что это чересчур для всякого.

– Все, что ты говоришь, негативно.

– Тогда чего же вы хотите?

– Скажи ему.

– Нет, ты скажи.

– Нечего говорить, – сказал я и рассмеялся. На мне была шляпа Карло. Я натянул ее на глаза. – Я хочу спать.

– Бедный Сал постоянно хочет спать. – Я сидел тихо. Они начали снова: – Когда ты занял пятак расплатиться за жареную курицу...

– Да нет, чувак, за чили! Помнишь, в «Техасской Звезде»?

– Я спутал со вторником. Когда ты занимал тот пятак, ты еще сказал, вот слушай, ты сказал: «Карло, это последний раз, когда я тебя напрягаю,» – как будто на самом деле ты имел в виду, что я согласился на то, чтобы ты меня больше не напрягал.

– Нет-нет-нет, совсем не так... Теперь, если тебе угодно, обрати внимание на ту ночь, когда Мэрилу плакала у себя в комнате и когда, повернувшись к тебе и указав своей еще более усиленной искренностью тона, которая, мы же оба это знали, была нарочитой, но имела свое намерение, то есть, я своей актерской игрой показал, что... Но погоди, дело-то не в этом!

– Конечно, не в этом! Потому что ты забыл, что... Но я не стану больше тебя обвинять. Да – вот то, что я сказал... – Они всё говорили и говорили вот так до самой зари. На рассвете я взглянул на них. Они увязывали последние утренние дела: – Когда я сказал тебе, что мне надо спать из-за Мэрилу, то есть из-за того, что мне надо ее увидеть в десять утра, то у меня появился безапелляционный тон вовсе не из-за того, что ты до этого сказал о необязательности сна, а только – учти, только! – лишь потому, что мне абсолютно, просто, чисто и без всяких чего бы то ни было необходимо лечь спать, в смысле, у меня глаза слипаются, покраснели, болят, устали, избиты...

– Ах, дитя... – вздохнул Карло.

– Нам сейчас просто надо лечь спать. Давай остановим машину.

– Машину так не остановить! – заорал Карло во весь голос. Запели первые птицы.

– Вот сейчас, когда я подниму руку, – сказал Дин, – мы закончим разговаривать, мы оба пойдем, чисто и без всяких разборок, что надо просто прекратить говорить и просто лечь спать.

– Ты не сможешь так остановить машину.

– Стоп машина! – сказал я. Они посмотрели в мою сторону.

– Он все это время не спал и слушал. О чем ты думал, Сал? – Я сказал им, о чем я думал: что они оба – потрясающие маньяки, и что я всю ночь слушал их, будто разглядывал часовой механизм высотой аж до самого перевала Берто, состоящий, однако, из мельчайших деталей, какие бывают в самых хрупких часах на свете. Они улыбались. Я ткнул в них пальцем и сказал:

– Если так пойдет и дальше, вы оба свихнетесь, но дайте мне знать, что с вами будет происходить.

Я ушел от них, сел в трамвай и поехал к себе на квартиру, а горы Карло Маркса из папье-маше занимались красным, пока великое солнце поднималось из-за восточных равнин.

– Сал, – закричал он, хватая меня за руку, – ты только посмотри на этот старенький городок. Ты только подумай, как здесь было сто – да куда там, к черту, всего восемьдесят, шестьдесят – лет назад: у них была опера!

– Ага, – сказал я, подражая одному из его персонажей, – но они-то здесь.

– Сволочи, – выругался он. И отправился отдыхать дальше под ручку с Бетти Грэй.

Бэйб Роулинс оказалась довольно предприимчивой блондинкой. Она знала один старый шахтерский домик на окраине, где мальчики в эти выходные могли бы ночевать: нам нужно было лишь вычистить его. К тому же, в нем можно было закатывать большие вечеринки. Это была старая развалюха; внутри на всем лежал дюймовый слой пыли, еще там было крыльцо, а на задах – колодец. Тим Грэй с Рэем Роулинсом засучили рукава и приступили к уборке, и эта громадная работа заняла у них весь день и еще часть ночи. Но они заначили ящик пива – и все было здорово.

Что касается меня, то мне в тот день поручалось сопровождать Бэйб в оперу. Я надел костюм Тима. Всего несколько дней назад я приехал в Денвер как бродяга; теперь же на мне сидел четкий костюм, под руку – ослепительная, хорошо одетая блондинка, и я кланялся разным персонам под канделябрами в фойе. Что бы сказал Джин с Миссиссиппи, если б увидел меня!

Давали «Фиделио».

– Какая хмарь! – рыдал баритон, восставая из темницы под стонущим камнем. Я рыдал вместе с ним. Я тоже вижу жизнь вот так. Опера меня настолько увлекла, что я ненадолго забыл обстоятельства собственной сумасшедшей жизни и потерялся в великих скорбных звуках Бетховена и богатых рембрандтовских тонах повествования.

– Ну, Сал, как тебе постановка этого года? – гордо спросил меня потом Денвер Д.Долл на улице. Он был как-то связан с Оперной Ассоциацией.

– Какая хмарь, какая хмарь, – ответил я. – Совершенно великолепно.

– Теперь тебе непременно надо встретиться с артистами, – продолжал он своим официальным тоном, но, к счастью, забыл об этом в горячке других дел и исчез.

Мы с Бэйб вернулись в шахтерскую хижину. Я разоблачился и тоже взялся за уборку. Это была гигантская работа. Роланд Мэйджор сидел посередине большой комнаты и отказывался помогать. На маленьком столике перед ним стояла бутылка пива и стакан.

Пока мы носились вокруг с ведрами воды и швабрами, он предавался воспоминаниям:

– Ах, если бы вы только могли поехать со мною, попить чинзано, послушать музыкантов из Бандольи – вот тогда бы вы пожили по-настоящему. И потом – жить в Нормандии летом: сабо, старый тонкий кальвадос... Давай, Сэм, – обращался он к своему невидимому собеседнику. – Доставай вино из воды, посмотрим, хорошо ли оно охладилось, пока мы ловили рыбу. – Ну, прямо из Хемингуэя, в натуре.

Позвали девчонок, проходивших мимо:

– Давайте, помогите нам тут все вычистить. Сегодня все к нам приглашаются. – Те помогли. На нас работала здоровенная бригада. В конце пришли певцы из оперного хора, в основном – молодые пацаны, – и тоже включились в работу. Солнце село.

Когда дневные труды были закончены, Тим, Роулинс и я решили привести себя в божеский вид перед грядущей великой ночью. Мы пошли на другой конец города, к общежитию, куда поселили оперных звезд. Было слышно, как начинается вечерний спектакль.

– В самый раз, – сказал Роулинс. – Цепляйте бритвы, полотенца, и мы тут наведем блеск. – Еще мы взяли щетки для волос, одеколоны, лосьоны для бритья и, нагруженные таким образом, отправились в ванную. Мы мылись и пели.

– Ну не клево ли? – не переставал повторять Тим Грэй. – Мыться в ванне оперных звезд, брать их полотенца, лосьоны и электробритвы...

Это была чудесная ночь. Централ-Сити расположен на высоте двух миль: сначала пьянеешь от высоты, потом устаешь, и в душе зажигается лихорадка. По узкой темной улочке мы приближались к фонарям, опоясывавшим оперный театр, затем резко свернули направо и прошли по нескольким старым салунам с вечно хлопающими дверьми. Большая часть туристов была в опере. Мы начали с нескольких особо крупных кружек пива. Еще там имелся пианист. Из задних дверей открывался вид на горные склоны в лунном свете. Я испустил вопль. Ночь началась.

Мы поспешили к себе в развалюху. Там всё уже готовилось к большой вечеринке. Девочки – Бэйб и Бетти – приготовили закусок: бобы с сосисками; потом мы потанцевали и честно начали с пива. Опера закончилась, и к нам набились целые толпы молодых девчонок. Роулинс, Тим и я только облизывались. Мы хватали их и плясали. Музыка не было – одни танцы. Хижина заполнялась народом. Начали приносить бутылки. Мы рванули по барам, а потом – обратно. Ночь становилась все неистовей. Я пожалел, что здесь нет Дина и Карло – а потом понял, что они бы чувствовали себя не в своей тарелке и были бы несчастливы. Как тот человек в темнице под камнем, с хмарью, что поднимался из этого своего подземелья, они были презренными хипстерами Америки, они были новым разбитым поколением, в которое я и сам медленно вступал.

Появились мальчики из хора. Запели «Милую Аделину». Еще они выпевали фразы типа «Передай мне пиво» и «Что ты zenки мне свои таращишь?», а также издавали своими баритонами длинные завывания «Фи-де-лио!»

– Увы, какая хмарь! – спел я. Девочки были потрясные. Они выходили обниматься с нами на задний двор. В других комнатах стояли кровати, невымытые и покрытые пылью, и мы с одной девчонкой как раз сидели на такой кровати и разговаривали, когда внезапно ворвалась целая банда молодых билетеров из оперы – они просто хватали девчонок и целовали их без должных церемоний. Эти пацаны – совсем малолетки, пьяные, растрепанные, возбужденные – испортили нам весь вечер. Через пять минут все девчонки до единой исчезли, и началась замечательная мужская пьянка с ревом и стучанием пивными бутылками.

Рэй, Тим и я решили прошвырнуться по барам. Мэйджор ушел, Бэйб и Бетти тоже не было. Мы вывалились на ночной воздух. Все бары от стоек до стен были забиты оперной толпой. Мэйджор возвышался над головами и орал. Настойчивый очкастый Денвер Д.Долл пожимал всем руки и говорил:

– Добрый день, ну как вы? – А когда пробило полночь, он стал говорить: – Добрый день, ну а вы как? – Один раз я заметил, как он уходит с кем-то из персон. Потом вернулся с женщиной

средних лет; через минуту уже разговаривал с парой молодых билетеров на улице. Еще через минуту он жал мне руку, не узнавая меня, и говорил: – С Новым Годом, мой мальчик. – Он не был пьян, его просто пьянило то, что он любил: тусующиеся толпы народа. Все его знали. – С Новым Годом! – кричал он, а иногда говорил: – Счастливого Рождества. – И так все время. На Рождество он поздравлял всех с Днем Всех Святых.

В баре сидел тенор, которого все очень уважали; Денвер Долл настоял на том, чтобы я с ним познакомился, и я попытался теперь этого избежать; его звали Д'Аннунцио, или как-то типа этого. С ним была его жена. Они кисло сидели за столиком. У стойки торчал какой-то аргентинский турист. Роулинс пихнул его, чтобы освободить себе место; тот обернулся и зарычал, Роулинс отдал мне свой стакан и одним ударом сшиб туриста на медные поручни. Тот моментально отключился. Кто-то закричал; мы с Тимом подхватили Роулинса и уволокли. Неразбериха была такая, что шериф даже не смог протолкаться через толпу и найти потерпевшего. Роулинса никто не мог опознать. Мы пошли по другим барам. По темной улице, шатаясь, брел Мэйджор:

– Что там за чертовня? Драки? Меня позовите... – Со всех сторон несло ржание.

Интересно, о чем думает Дух Гор; я поднял глаза и увидел сосны под луной, призраки старых горняков – да, интересно... Над всею темной восточной стеной Великого Перевала в эту ночь была лишь тишина да шепот ветра, только в одном-единственном ущелье ревели мы; а по другую сторону Перевала лежал огромный Западный Склон – большое плато, которое доходило до Стимбуот-Спрингс, отвесно обрывалось и уводило в пустыни Восточного Колорадо и Юты; везде стояла тьма, а мы бесились и орали в своем маленьком уголке гор – безумные пьяные американцы посреди могучей земли. Мы были у Америки на крыше и, наверное, только и могли, что вопить – сквозь ночь, на восток через Равнины, туда, где старик с седыми волосами, вероятно, бредет к нам со своим Словом, он может прийти в любую минуту и угомонить нас.

Роулинс настаивал на том, чтобы вернуться в тот бар, где он подрался. Нам с Тимом это не нравилось, но мы его не бросали. Он подошел к Д'Аннунцио, к этому тенору, и швырнул ему в лицо стакан для коктейля. Мы оттащили его. К нам пристал баритон из хора, и мы отправились в бар для местных. Здесь Рэй обозвал официантку шлюхой. У стойки в шеренгу стояла группа хмурых мужиков; они ненавидели туристов. Один сказал: – Парни, лучше, если вас здесь не будет да счет десять. Раз... – Нас не стало. Мы доковыляли до своей развалюхи и улеглись спать.

Утром я проснулся и перевернулся на другой бок; от матраса поднялась туча пыли. Я дернул створку окна: заколочено. Тим Грэй тоже был в постели. Мы кашляли и чихали. Наш завтрак состоял из выдохшегося пива. Из своей гостиницы пришла Бэйб, и мы стали готовиться к отъезду.

Казалось, все вокруг рушится. Уже выходя к машине, Бэйб поскользнулась и упала ничком. Бедная девочка переутомилась. Ее брат, Тим и я помогли ей подняться. Мы влезли в машину; к нам присоединились Мэйджор с Бетти. Началось невеселое возвращение в Денвер.

Внезапно мы спустились с горы, и перед нами открылся вид на широкую равнину, где стоял город: оттуда, как с плиты, поднимался жар. Мы начали петь песни. Мне просто до зуда не

терпелось двинуться в Сан-Франциско.

В тот вечер я нашел Карло, и он, к моему удивлению, сообщил, что они с Дином ездили в Сентрал-Сити.

– Что вы там делали?

– О, мы бегали по барам, а потом Дин угнал машину, и мы скатились вниз по горным виражам со скоростью девяносто миль в час.

– Я вас не видел.

– Мы сами не знали, что ты тоже там.

– Ну, что... Я еду в Сан-Франциско.

– Сегодня на вечер Дин тебе подготовил Риту.

– Ладно, тогда я отложу отъезд. – Денег у меня не было. Я послал тетке письмо авиапочтой, где просил прислать пятьдесят долларов и обещал, что это последние деньги, которые я у нее прощу: отныне она их будет от меня только получать – как только я сяду на тот пароход. Потом я отправился на встречу с Ритой Беттенкур и отвез ее к себе на квартиру. После долгого разговора в темной гостиной я уложил ее в своей спальне. Она была миленькой девчоночкой, простой и правдивой, и ужасно боялась секса. Я сказал ей, что секс прекрасен. Я хотел ей это доказать. Она позволила мне, но я оказался слишком нетерпелив и не доказал ничего. Она вздохнула в темноте.

– Чего ты хочешь от жизни? – спросил я – а я это всегда у девчонок спрашивал.

– Не знаю, – ответила она. – Обслуживать столики и тянуть себе дальше. – Она зевнула. Я закрыл ей рот ладонью и велел не зевать. Я пытался рассказать ей, как меня возбуждает жизнь, как много мы с нею можем сделать вместе; при этом я собирался свалить из Денвера через пару дней. Она устало отвернулась от меня. Мы оба лежали, глядя в потолок, и думали, что же Господь наделал, когда сотворил жизнь такой печальной. Мы строили смутные планы встретиться во Фриско.

Мои мгновения в Денвере истекали – я чувствовал это, когда провожал ее домой; на обратном пути я растянулся на траве во дворике старой церкви вместе с кучкой бродяг, и от их разговоров мне захотелось снова вернуться на дорогу. Время от времени кто-нибудь из них поднимался и шулял у прохожих мелочь. Они разговаривали о том, что сбор урожая сдвигается на север. Было тепло и мягко. Мне хотелось опять пойти и взять Риту, и рассказать ей о многих других вещах, и уже по-настоящему заняться с нею любовью, и рассеять ее страхи по поводу мужчин. Мальчикам и девочкам в Америке друг с другом так тоскливо: мода на крутизну и усложненность требует, чтобы они предавались сексу немедленно же, безо всяких предварительных разговоров. Нет, не светские ухаживания нужны – настоящий прямой разговор о душах, ибо жизнь священна, а каждое ее мгновение драгоценно. Я слышал, как в горах завывают локомотивы на Денвер и Рио-Гранде. Мне хотелось дальше идти за своей звездой.

Ночные часы мы с Мэйджором скоротали за грустной беседой.

– Ты читал «Зеленые холмы Африки»? Это лучшее у Хемингуэя. – Мы пожелали друг другу удачи. Увидимся во Фриско. Под темным деревом на улице я заметил Роулинса.

– До свиданья, Рэй. Когда еще встретимся? – Я пошел искать Карло и Дина: их нигде не было. Тим Грэй вскинул в воздух руку и сказал:

– Значит, едешь, Йо. – Мы звали друг друга «Йо».

– Ага. – Следующие несколько дней я бродил по Денверу. Мне мерещилось, будто каждый бродяга на Латимер-Стрит может оказаться отцом Дина Мориарти – Старым Дином Мориарти, Жестянщиком, как его называли. Я пошел в гостиницу «Виндзор», где раньше жили отец с сыном, и где однажды ночью Дина ужасно разбудил безногий инвалид, спавший с ними в одной комнате: он с грохотом прокатился по полу на своих кошмарных колесиках, чтобы дотронуться до мальчика. Я видел женщину-карлицу на коротеньких ножках – она продавала газеты на углу Кёртис и Пятнадцатой. Я прошелся по унылым дешевеньким притончикам на Кёртис-Стрит: молодые пацаны в джинсах и красных рубашках, скорлупа от орешков, киношки, тире. Дальше, за сверкающей улицей, начиналась тьма, а за тьмою – Запад. Надо было ехать.

На рассвете я нашел Карло. Чуть-чуть почитал его громадный дневник, поспал, а утром – промозглым и серым – внутрь ввалились высоченный, шести футов росту, Эд Данкель с симпатичным парнишкой Роем Джонсоном и колченогой акулой бильярда Томом Снарком. Они расселись вокруг и со смущенными улыбками стали слушать, как Карло Маркс читает им свои апокалиптические, безумные стихи. Приконченный, я свалился на стул.

– О вы, денверские пташки! – кричал Карло. Мы по одному выбрались оттуда и пошли по такому типичному денверскому мощеному переулку между медленно куривших мусоросжигателей.

– Я по этой улочке когда-то гонял обруч, – рассказывал мне Чад Кинг. Хотел бы я посмотреть, как он это делал; я вообще хотел увидеть Денвер десять лет назад, когда все они были детьми: солнечное утро, цветущая вишня, весна в Скалистых Горах, и они такие гоняют обручи по радостным переулкам, уводящим к светлому будущему, – вся их компания. И Дин, оборванный и грязный, рыщет сам по себе в своей беспрестанной лихорадке.

Мы с Роем Джонсоном брели под морозящим дождиком; я шел домой к подружке Эдди забрать свою шотландку – шерстяную рубашку из Шелтона, штат Небраска. В ней была завязана вся невообразимо огромная печаль – в этой рубашке. Рой Джонсон сказал, что увидит меня во Фриско. Во Фриско ехали все. Я сходил на почту и обнаружил, что деньги мне уже пришли. Вышло солнце, и Тим Грэй поехал со мною на трамвае до автостанции. Я купил себе билет до Сан-Франца, истратив половину того полтинника, и сел на двухчасовой автобус. Тим Грэй помахал мне рукой. Автобус выкатился из легендарных, энергичных улиц Денвера.

Клянусь Богом, я должен сюда вернуться и поглядеть, что еще произойдет! – пообещал я себе. В последнюю минуту мне позвонил Дин и сказал, что они с Карло, может быть, тоже будут на Побережье; я задумался над этим и понял, что за все время не поговорил с Дином и пяти минут.

Я опаздывал на встречу с Реми Бонкёром на две недели. Автобусная поездка из Денвера во Фриско прошла без всяких событий, если не считать того, что чем ближе мы подъезжали, тем сильнее туда рвалась моя душа. Опять Шайенн, на этот раз днем, потом на запад, через хребет; в полночь в Крестоне пересекли Великий Перевал, прибыли в Солт-Лейк-Сити на заре – это город водоразборных колонок, наименее вероятное место, в котором мог родиться Дин; затем дальше, в Неваду, под раскаленным солнцем, к вечеру – Рино с его мерцающими китайскими улочками; наверх, в Сьерра-Неваду, сосны, звезды, горные домики, символы сан-францисских романчиков, – маленькая девочка хнычет на заднем сиденье:

– Мама, когда мы приедем домой в Траки? – И вот сам Траки, домашний Траки, и вниз, на равнину Сакраменто. Я вдруг понял, что я в Калифорнии. Теплый, пальмовый воздух – воздух, который можно целовать, – и пальмы. Вдоль знаменитой реки Сакраменто по скоростному шоссе; снова вглубь холмов; вверх, вниз; как вдруг – огромное пространство залива (а это было как раз перед зарей) с гирляндами сонных огней Фриско на той стороне. На Оклендском мосту я глубоко заснул – впервые с Денвера; поэтому меня грубо растолкали на автостанции на углу Маркет и Четвертой, и ко мне вернулась память о том, что я – в трех тысячах двухстах милях от дома моей тетки в Патерсоне, Нью-Джерси. Я побрел к выходу обтрепанным призраком – и вот он передо мною, Фриско: длинные тусклые улицы с трамвайными проводами, полностью укутанные туманом и белизной. Я проковылял несколько кварталов. Жуткого вида бичи (угол Мишн и Третьей) на заре попросили у меня мелочи. Где-то играла музыка.

А ведь мне, на самом деле, позже придется во все это врубаться! Но сначала надо найти Реми Бонкёра.

Милл-Сити, где жил Реми, оказался скопищем лачуг в долине: хижины были выстроены для расселения рабочих Военно-Морской Верфи во время войны; он находился в каньоне, довольно глубоком, обильно заросшем по склонам деревьями. Там были свои магазины, парикмахерские и ателье. Говорили, что это единственная община в Америке, где белые и негры жили вместе добровольно; и это оказалось действительно так, и места более дикого и веселого я с тех пор больше не видел. На двери хижины Реми висела записка, которую он приколот три недели назад:

Сал Парадайз! (Огромными печатными буквами.)

Если никого нет дома, залезай в окно.

Подпись Реми Бонкёр

Записка уже излохматилась и выцвела.

Я влез внутрь, и хозяин оказался дома – спал со своей девчонкой, Ли-Энн, на койке, которую украл с торгового судна, как он мне потом рассказывал: представьте себе палубного механика торгового судна, который украдкой перелезает с койкой через борт и, потея, наваливается на весла, стремясь к берегу. И это едва ли способно показать, что такое Реми Бонкёр.

Я так подробно пускаюсь во все, что произошло в Сан-Фране, потому, что это увязано со всем остальным, происходившим, так сказать, по дороге. Мы с Реми Бонкёром

познакомились много лет назад, еще в старших классах; но по-настоящему нас связывала друг с другом моя бывшая жена. Реми нашел ее первым. Однажды, ближе к вечеру, он зашел ко мне в комнату общаги и сказал:

– Парадайз, подымайся, старый маэстро пришел тебя навестить. – Я поднялся и, пока натягивал штаны, рассыпал мелочь. Было четыре часа дня: в колледже я обычно все время спал. – Ладно-ладно, не разбрасывай свое золото по всей комнате. Я нашел клевейшую девчоночку в мире и сегодня вечером отправляюсь с нею напрямиком в «Логово Льва». – И он потащил меня с нею знакомиться. Через неделю она уже ходила со мной. Реми был высокий, темный, симпатичный француз (он походил на какого-нибудь марсельского фарцовщика лет двадцати); поскольку он был француз, то говорил на таком джазовом американском языке; его английский был безупречен, французский – тоже. Он любил одеваться шикарно, с легким закосом под делового, ходить с причудливыми блондинками и сорить деньгами. Не то, чтобы когда-либо он упрекнул меня за то, что я увел его девушку; это просто всегда привязывало нас друг к другу; этот парень был лоялен ко мне и по-настоящему мне симпатизировал – Бог знает, почему.

Когда я в то утро нашел его в Милл-Сити, для него как раз настали те разбитые и недобрые дни, какие обычно приходят после двадцати к молодым парням. Он болтался на берегу в ожидании судна, а на кусок хлеба зарабатывал, охраняя бараки на другой стороне каньона. У его девчонки Ли-Энн не язычок был, а бритва, и она устраивала ему взбучку каждый день. Всю неделю они экономили на каждом пенни, а в субботу выходили и спускали полсотни за три часа. По дому Реми разгуливал в шортах и дурацкой армейской пилотке. Ли-Энн ходила в бигудях. В таком виде они орала друг на друга всю неделю. Я в жизни не видел столько грызни. Зато в субботу вечером, мило улыбаясь друг другу, они, как пара преуспевающих голливудских персонажей, снимались с места и ехали в город.

Реми проснулся и увидел, как я лезу в окно. Его хохот, самый замечательный хохот в мире, зазвенел у меня в ушах:

– Аааахаха, Парадайз – залезает через окно, он до запятой следует инструкциям. Где ты шлялся, ты опоздал на две недели? – Он хлопал меня по спине, пихал Ли-Энн кулаком под ребра, в изнеможении наваливался на стену, хохотал и плакал, он колотил по столу так, что было слышно на весь Милл-Сити, и это громкое долгое «Аааахаха» эхом разносилось по всему каньону. – Парадайз! – вопил он. – Единственный и незаменимый Парадайз!

По пути сюда я прошел через миленький рыбацкий поселок Сосалито, и первое, что я ему сказал, было:

– В Сосалито, должно быть, много итальянцев.

– В Сосалито, должно быть, много итальянцев! – заорал он во всю силу своих легких. –

Аааахаха! – Он барабанил кулаками по самому себе, он упал на койку и чуть не скатился на пол. – Вы слышали, что сказал Парадайз? В Сосалито, должно быть, много итальянцев.

Аааааха-хаааа! Уууу! Уау! Уииии! – От смеха он весь побагровел, как свекла. – Ох,

Парадайз, ты меня убиваешь, ты самый большой комик на свете, вот ты и здесь, добрался, наконец, он залез через окно, ты видела, Ли-Энн, он следовал инструкциям и залез через окно. Аааахаха! Ууухуху!

Самое странное, что по соседству с Реми жил негр по имени Мистер Сноу, чей смех, я готов поклясться на Библии, был положительно и окончательно самым выдающимся смехом на земле. Этот Мистер Сноу как-то раз начал хохотать за ужином, когда его старушка-жена заметила что-то мимоходом: он встал из-за стола, очевидно, поперхнувшись, оперся о стену, задрал голову к небесам и начал; он вывалился из дверей, цепляясь за соседские стены; он опьянел от хохота, он шатался по всему Милл-Сити в тени домов, поднимая свой улюлюкающий вопль выше и выше во славу того демонического божества, которое, должно быть, щекотало его и подначивало. Я так и не знаю, доел он свой ужин или нет. Вполне вероятно, что Реми, сам того не осознавая, перенял смех у этого замечательного человека мистера Сноу. И хотя у Реми были сложности с работой и неудавшаяся семейная жизнь с языкастой бабой, он, по крайней мере, научился ржать едва ли не лучше всех на свете, и я сразу увидел всю ту веселуху, что ожидала нас во Фриско.

Расклад был такой: Реми с Ли-Энн спали на койке в дальнем конце комнаты, а я на раскладушке – под окном. Трогать Ли-Энн мне было запрещено. Реми сразу же произнес касательно этого речь:

– Я не хочу застать тут вас двоих за баловством, когда вы думаете, что я не вижу. Старого маэстро новой песне не научишь. Это моя собственная поговорка. – Я взглянул на Ли-Энн. Лакомый кусочек, этакое существо медового цвета, но в глазах ее горела ненависть к нам обоим. Ее стремлением в жизни было выйти замуж за богача. Она родилась в каком-то орегонском городишке. Она проклинала тот день, когда связалась с Реми. В один из своих выпендренных выходных он истратил на нее сотню долларов, и та решила, что нашла наследника. Однако, вместо этого застряла в его хижине, и за неимением чего-то лучшего вынуждена была остаться. Во Фриско у нее была работа: каждый день ей приходилось туда ездить, подсаживаясь на перекрестке на грейхаундовский автобус. Этого она никогда не простила Реми.

Я должен был сидеть в хижине и писать блестящий оригинальный рассказ для голливудской студии. Реми собирался слететь с небес на стратосферном авиалайнере с арфой под мышкой и всех нас озолотить; Ли-Энн должна была лететь вместе с ним; он собирался представить ее отцу одного своего приятеля – знаменитому режиссеру, который был в близких отношениях с У.К.Филдсом. Поэтому всю первую неделю я сидел дома в Милл-Сити и яростно писал какую-то мрачную сказку про Нью-Йорк, которая, по моей мысли, должна была удовлетворить голливудского режиссера, и единственная беда тут была в том, что рассказ выходил слишком тоскливым. Реми едва мог прочесть его, поэтому несколько недель спустя просто отнес его в Голливуд. Ли-Энн все и без того слишком осточертело, и она чересчур нас ненавидела, чтобы беспокоиться по поводу чтения вообще. Бессчетные дождливые часы я только и делал, что пил кофе и корябал бумагу. В конце концов, я сказал Реми, что так дело не пойдет: я хочу получить работу; а то без них с Ли-Энн я даже сигарет себе купить не могу. Тень разочарования омрачила чело Реми – он всегда бывал разочарован самыми смешными вещами. Сердце у него было просто золотое.

Он устроил меня туда же, где работал сам, – охранником в бараки: я прошел все необходимые процедуры, и, к моему удивлению, эти подлецы меня наняли. Местный шеф полиции принял у меня присягу, мне выдали жетон, дубинку, и теперь я стал «особым

полицейским». Что бы сказали Дин, Карло или Старый Бык Ли, узнай они об этом? Мне следовало носить темно-синие брюки, черную тужурку и полицейскую фуражку; первые две недели приходилось надевать брюки Реми, а поскольку он был высокого роста и имел солидное брюшко, потому что от скуки много и жадно ел, то на свое первое ночное дежурство я отправился, поддергивая штаны, как Чарли Чаплин. Реми дал мне фонарик и свой автоматический пистолет 32 калибра.

– Где ты его взял? – спросил я.

– Прошлым летом, когда ехал на Побережье, я спрыгнул с поезда в Норт-Платте, Небраска, ноги размять, смотрю – а в окне этот уникальный пистолетик, я его быстренько приобрел и чуть не опоздал на поезд.

Я тоже попытался рассказать ему, что для меня самого значит Норт-Платт, когда мы с парнями покупали там виски, а он хлопнул меня по спине и сказал, что я самый большой комик в мире.

Освещая себе фонариком дорогу, я поднялся по крутым склонам южного каньона, вылез на шоссе, по которому к ночному городу потоком неслись машины, на другой стороне спустился с обочины, чуть не упал и вышел на дно оврага, где у ручья стояла небольшая ферма, и где каждую божью ночь на меня гавкала одна и та же собака. Оттуда уже идти было легче и быстрее – по серебристой пыльной дороге под чернильно-черными деревьями Калифорнии, как в фильме «Знак Зорро» или как во всех этих вестернах. Я обычно вытаскивал пистолет и в темноте играл в ковбоев. Потом поднимался еще на одну горку, а там уже стояли бараки. Они предназначались для временного размещения иностранных строительных рабочих. В них останавливались те, кто был здесь проездом и ждал своего судна. Большинство ехало на Окинаву. Большинство от чего-то убегало – обычно от тюрьмы. Там были крутые компании из Алабамы, ловкачи из Нью-Йорка – в общем, всякой твари по паре. И представляя себе во всей полноте, как ужасно будет целый год вкалывать на Окинаве, они бухали. Работа особых охранников состояла в том, чтобы следить, не разнесли бы они эти бараки к чертовой матери. Наша штаб-квартира располагалась в главном здании – деревянном сооружении с дежуркой, стены которой были облицованы панелями. Здесь-то мы и сидели вокруг конторки, сдвинув с бедер пистолеты и зевая, а старые копы травиди байки.

Кошмарная команда – люди с фараонскими душами, все, кроме Реми и меня. Реми пытался этим просто заработать на жизнь, я – тоже, однако те действительно хотели производить аресты и получать благодарности от шефа городской полиции. Они даже утверждали, что если не сделаешь хотя бы одного ареста в месяц, то тебя уволят. Я аж присел от такой перспективы – кого-нибудь арестовать. На самом же деле, вышло так, что в ту ночь, когда разыгралась вся эта свистопляска, я был так же пьян, как и вся блотня в бараках.

Как раз на ту ночь график составили так, что целых шесть часов я оставался совсем один – единственный коп на весь участок; а в бараках нажрались, казалось, все до единого. Дело в том, что их судно утром уходило – вот они и квасили, как моряки, которым наутро сниматься с якоря. Я сидел в дежурке, задрал ноги на стол, и читал «Синюю Книгу» с приключениями в Орегоне и на Северных Территориях, когда вдруг понял, что в обычно спокойной ночи раздается гул какой-то активной деятельности. Я вышел на улицу.

Буквально в каждом чертовом бараке на участке горел сват. Орала люди, бились бутылки. Для меня вопрос стоял так: сделай или умри. Я вытащил фонарик, подошел к самой шумной двери и постучал. Кто-то слегка приоткрыл ее:

– Тебе чего надо?

Я ответил:

– Сегодня ночью я охраняю эти бараки, и вы, парни, должны себя вести как можно тише. – Или ляпнул какую-то подобную глупость. Дверь перед моим носом захлопнули. Все это было как в вестерне: пришло время утвердить себя. Я снова постучал. На этот раз дверь приотворили шире. – Послушайте, – сказал я. – Мне не хочется вас лишний раз беспокоить, чуваки, но я потеряю работу, если вы будете так сильно шуметь.

– Ты кто?

– Я здесь охранник.

– Я тебя раньше не видел.

– Ну, вот жетон.

– А зачем тебе эта хлопушка на жопе?

– Это не моя, – извинился я. – Взял на время поносить.

– Ну на, хлебни за ради Бога. – Хлебнуть я был не прочь. И даже дважды. Я сказал:

– Лады, парни? Вы будете сидеть тихо, ага? Мне тут устроят, сами понимаете.

– Все нормально, пацан, – ответили мне. – Вали на свои обходы. Захочешь хлебнуть еще – приходи.

Таким макаром я пошел по всем дверям и довольно скоро накушался так же, как и остальные. По утрам моей обязанностью было поднимать на шестидесятифутовом шесте американский флаг, и в то утро я повесил его вверх тормашками и отправился домой спать. Когда я вечером пришел снова, постоянные копы хмуро сидели в дежурке.

– Выкладывай, парень, что тут за шум был прошлой ночью? К нам поступили жалобы от людей, которые живут вон в тех домах на той стороне каньона.

– Не знаю, – ответил я. – Сейчас, вроде, все спокойно.

– Контингент уплыл. Ты должен был тут ночью поддерживать порядок, шеф на тебя орет. И вот еще что – ты знаешь, что можешь загреметь в тюрьму за то, что поднял на правительственной мачте государственный флаг вверх ногами?

– Вверх ногами? – Я был в ужасе: конечно, я этого не знал – каждое утро я делал это машинально.

– Да, сэр, – сказал жирный коп, двадцать два года прослуживший охранником в Алькатразе. – За такое можно запросто загреметь. – Остальные мрачно кивали. Они всегда прочно усаживались своими жопами; они гордились своей работой. Они поглаживали свои пистолеты и говорили о них. У них все аж чесалось – так им хотелось кого-нибудь застрелить. Нас с Реми.

У того копа, что был охранником в Алькатразе, было жирное брюхо; он уже подбирался к шестидесяти и был на пенсии, но не мог сидеть вдали от той среды, что питала его черствую душу всю жизнь. Каждый вечер он ездил на работу в своем старом «форде» 35-го года, приезжал точно вовремя и усаживался за конторку. Потом мучительно пыхтел, заполняя простейший бланк, который приходилось заполнять всем каждую ночь: обходы,

время, что произошло и так далее. После этого он откидывался назад и начинал:

– Жалко, что тебя здесь не было пару месяцев назад, когда мы с Кувалдой (это был еще один коп, молодой тип, раньше хотевший стать объездчиком в Техасе, но вынужденный довольствоваться своей нынешней участью) арестовали пьянчугу в бараке Г. Ну, парень, надо было видеть, как кровища хлестала. Я сегодня тебя туда свожу – сам посмотришь пятна на стенке. Он у нас летал из угла в угол: сначала Кувалда, потом я, потом он затих и успокоился. Парень поклялся нас убить, как только выйдет из тюрьмы: он получил тридцать дней. И вот уже два месяца прошло, а он еще не появлялся. – В этом как раз и была соль всей истории. Они его так застращали, что он трусил вернуться и убить их.

А старый коп продолжал мило вспоминать об ужасах Алькатраза:

– Мы, бывало, заставляли их маршировать на завтрак как в Армии. Пусть только кто попробует не в ногу идти. Все тикало, как часы. Это надо было видеть. Я проработал там охранником двадцать два года. Никогда никаких хлопот не было. Те парни знали, что мы не шутим. Многие мягчают, когда охраняют зэков, – такие-то обычно и попадают в разные переплеты. Ну, вот взять тебя: из того, что я над тобой наблюдаю, ты, мне кажется, слишком много поблажек даешь. – Он попыхтел трубкой и колюче взглянул на меня. – Они, знаешь ли, этим пользуются.

Это я знал. И сказал ему, что не подхожу для такой работы.

– Да, но ты же устраивался сюда. Теперь тебе нужно решать – туда или сюда, иначе никогда ничего не добьешься. Это твой долг. Раз принял присягу, нечего мириться с такими вещами. Надо поддерживать закон и порядок.

Я не знал, что ответить: он был прав; но больше всего мне хотелось выбраться отсюда в ночь и исчезнуть где-нибудь, ходить по всей стране и узнавать, чем люди занимаются. Другой коп, Кувалда, был высоким, мускулистым, черноволосым и коротко стриженным; у него нервно подергивалась шея – как у боксера, который постоянно бьет одним кулаком в другой. Он лепил себя под такого техасского объездчика старых времен. Свой револьвер он носил низко вместе с патронташем, постоянно таскал с собой какую-то маленькую плетку, с него везде свисали кусочки кожи; он напоминал ходячую камеру пыток: ботинки блестят, тужурка болтается, фуражка набекрень – сапог только не хватает. Он постоянно показывал мне борцовские захваты – подцеплял меня между ног и легко поднимал в воздух. В смысле силы я мог бы тем же самым приемом подбросить его к потолку, и я это хорошо знал, но никогда не подавал виду, чтобы он не захотел устроить со мною матч. Схватка с таким парнем неизбежно кончится стрельбой. А я уверен, что он стрелял лучше – у меня-то в жизни никогда не было пистолета. Я его даже заряжать боялся. Ему отчаянно хотелось кого-нибудь арестовывать. Однажды ночью, когда мы были с ним на дежурстве вдвоем, он влетел в нашу контору багровый от злости:

– Я там сказал парням, чтобы они вели себя тихо, а они по-прежнему шумят. Я им еще раз сказал. Я всегда даю чуваку два шанса. Третьего не даю. Пойдем-ка со мной туда, я их арестую.

– Слушай, давай я им дам третий шанс, – предложил я. – Я с ними поговорю.

– Нет, сэр, я никогда никому не даю больше двух шансов. – Я вздохнул. Ну вот, приехали. Мы пошли в комнату к нарушителям. Кувалда открыл дверь и приказал всем выходить по

одному. Было очень стремно. Все буквально покраснели от смущения. Вот вам вся история Америки. Каждый делает то, что считает для себя нужным. Что с того, если кучка людей громко разговаривает и киряет ночь напролет? Но Кувалде хотелось что-то доказать. Он и меня притащил с собой – на тот случай, если они до него прыгнут. А запросто могли бы. Все они были братьями, все из Алабамы. Мы зашагали обратно в дежурку – Кувалда впереди, я сзади.

Один из парней сказал мне:

– Ты скажи этому говнюку жопоухому, чтобы он не сильно дергался, а? Нас за это могут уволить, и мы не доедем до Окинавы.

– Ладно, я с ним поговорю.

В дежурке я посоветовал Кувалде бросить эту затею и забыть о ней. Тот, покраснев до ушей, ответил так, чтобы всем было слышно:

– Я никогда никому не даю больше двух шансов.

– Какого диаволо? – сказал алабамец. – Да какая разница? Ведь мы же можем потерять работу. – Кувалда ничего на это не ответил и стал заполнять бланки на арест. Арестовал он только одного; патрульную машину вызвали из города. Те приехали и забрали чувака.

Остальные братья угрюмо вышли на улицу.

– Что Ма скажет? – говорили они. Один вернулся ко мне:

– Скажи этому тейксаскому сучьему потроху, что если завтра мой брат не выйдет из тюрьмы, то вечером его возьмут за жопу. – Я Кувалде так и передал, только более нейтрально, и он ничего не ответил. Братец их отделался легким испугом, и ничего не произошло. Эту партию тоже благополучно спланировали на пароход, и заехала новая дикая компания. Если бы не Реми Бонкёр, я бы не задержался на этой работе больше пары часов.

Но мы с Реми оставались вдвоем на ночном дежурстве много раз, и вот тогда-то все было ништяк. Мы лениво делали свой первый вечерний обход, Реми дергал все двери, чтобы проверить, хорошо ли они заперты, и надеялся, что какая-нибудь откроется. Обычно он говорил:

– Уже много лет у меня есть идея натренировать пса – сделать из него супервора: он заходит в комнаты к этим парням и вытаскивает у них из карманов доллары. Я бы натаскал его не брать ничего, кроме зелененьких: я бы заставлял его нюхать их целыми днями. А если б это было вообще в человеческих силах, то я бы натаскал его брать вообще одни двадцатки. – Из Реми так и перли безумные планы: про этого пса он рассказывал мне целыми неделями. Только однажды он на самом деле нашел незапертую дверь. Мне его замысел не понравился, поэтому я прошел дальше по коридору. Реми осторожно приотворил ее. И нос к носу столкнулся с управляющим всех барачков. Реми ненавидел эту рожу. Он спрашивал у меня:

– Как фамилия того русского писателя, о котором ты все время трындишь, – ну, который еще пихал газеты себе в ботинки и ходил в цилиндре, которой вытаскивал из мусорного ведра? – Это была карикатура на то, что я рассказывал Реми о Достоевском. – А-а, всё, вспомнил... этот... Достоевский. У человека с такой рожей, как у нашего управляющего, может быть только одна фамилия – Достоевский. – Единственная незапертая дверь, которую он обнаружил, принадлежала Достоевскому. Тот спал, когда услышал, как кто-то

балуется с его дверной ручкой. Он подскочил к двери как был, в пижаме – и выглядел от этого вдвойне уродливой. Когда Реми открыл ее, то увидел помятую харю, гноющую ненавистью и тупой злобой:

– Что все это означает?

– Я просто пробовал дверь. Я думал, что это... э-э... кладовка. Я искал половую тряпку.

– В каком смысле – «искал тряпку»?

– Ну... это...

Тут я вышел вперед и сказал:

– Там наверху в коридоре кого-то стошнило. Нам надо подтеретьь.

– Это не кладовка, и здесь нет никаких тряпок. Это моя комната. Еще одно такое происшествие – и я назначу вам, парни, служебное расследование, и вас вышвырнут. Вы меня поняли?

– Наверху кого-то стошнило, – повторил я.

– Кладовка – в том конце коридора. Вон там. – И он показал пальцем, подождал, пока мы тудаходим, принесем тряпку, что мы и сделали, и, как идиоты, потащили ее наверх.

Я сказал:

– Черт бы тебя побрал Реми, из-за тебя мы всегда впутываемся в истории. Чего тебе спокойно не сидится? Зачем обязательно что-то красть?

– Мир мне кой-чего задолжал – вот и все. Старого маэстро новой песне не научишь. А если ты будешь со мной и дальше в таком духе разговаривать, то я начну и тебя звать Достоевским.

Реми был совсем как дитя малое. Где-то в прошлом, в его одиноком школьном детстве во Франции у него всё отбирали: приемные родители просто запихивали его в разные школы и оставляли там; в школе ему обычно сильно стучали по башке и выбрасывали в другую школу; по ночам он бродил по французским дорогам и изобретал проклятья из своего невинного словарного запаса. Теперь он мог, наконец, оторваться на том, чего был лишен, а утратам его не было предела; все это обречено было тянуться вечно.

Поживой нам служил кафетерий при всех этих бараках. Мы озирались, не смотрит ли кто, а в особенности – не рыщут ли где наши полицейские друзья, проверяя нас; затем я пригибался, Реми ставил ноги мне на плечи – и вот он уже наверху. Он открывал окно, которое никогда не запиралось, поскольку он сам обеспечивал это по вечерам, пролезал внутрь и приземлялся на столе для замеса теста. Я был немного проворнее: просто подпрыгивал до окна и залезал сам. Затем мы с ним шли к фонтанчику с газировкой. Здесь, осуществляя свою мечту с самого детства, я снимал крышку с ящика шоколадного мороженого, засовывал туда руку по самое запястье и извлекал наружу целую пригоршню, а потом слизывал. Мы брали стаканчики, набивали их мороженым, поливали сверху шоколадным сиропом, а иногда – и клубничным тоже, потом ходили по всей кухне, открывали холодильники и смотрели, нельзя ли чего прихватить с собою в карманах. Я частенько отдираю кусок ростбифа и заворачивал в салфетку.

– Знаешь, что сказал президент Трумэн? – говорил Реми. – «Мы должны подрезать стоимость жизни».

Как-то вечером я долго ждал, пока он наполнит всякими крупами здоровенную коробку. Потом мы не смогли вытащить ее через окно. Реми пришлось выложить все обратно и расставить по местам. Позже, ночью, когда его дежурство уже закончилось, а я оставался на территории совсем один, произошла странная штука. Я пошел прогуляться по старой тропе в каньоне в надежде увидеть оленя (Реми там встретил одного, эта местность была еще дикой даже в 47-м году), как вдруг услышал в темноте наводящий ужас шум. Кто-то фыркал и отдувался так, что я подумал: оттуда на меня надвигается носорог. Я схватился за пистолет. Из мрака каньона вынырнула высокая фигура – у нее была громадная голова. Внезапно я понял, что это Реми с ящиком крупы на плече. Он стонал и кряхтел под его тяжестью. Где-то он нашел ключ от кафетерия и вынес свою бакалею через парадный вход. Я сказал:

– Реми, я думал, ты уже давно дома, какого черта ты тут делаешь?

А он ответил:

– Парадайз, я несколько раз уже говорил тебе, что сказал президент Трумэн: мы должны подрезать стоимость жизни. – И он попыхтел и покряхтел дальше, в темноту. Я уже рассказывал про эту ужасную тропинку к нашей хибаре – то вверх, то вниз. Он спрятал ящик с крупой в высокой траве и вернулся ко мне:

– Сал, я один не могу. Я разделю на две коробки, и ты мне поможешь.

– Но я на дежурстве.

– Я тут посторожу, пока ты ходишь. Вокруг становится все круче и круче. Надо приспособливаться как только можно – и все дела. – Он вытер лицо. – Ф-фу! Я уже сколько раз тебе говорил, Сал: мы – кореша, мы завязаны вместе. Другого выхода у нас нет. Все эти достаёвские, легавые, ли-энны, все эти долбары поганые по всему свету ополчились на нас и только и думают, как бы нас отыметь. И никто, кроме нас самих, не проследит, чтобы никакие пакости не замышлялись. У них-то еще много чего припрятано в рукаве, кроме немых рук. Не забывай об этом. Старого маэстро новой песне не научишь.

Я смог наконец спросить:

– А как по части нам с тобой выйти в море? – Мы били баклуши уже больше двух месяцев. Я зарабатывал пятьдесят пять колов в неделю и отправлял тетке что-то около сорока. За все это время я провел в Сан-Франциско всего один вечер. Вся моя жизнь ограничивалась этой хижинкой, ссорами Реми с Ли-Энн да ночами, проведенными в бараках.

Реми растворился в ночи в поисках второй коробки. Ох и понадрывались же мы на этой дороге имени старины Зорро. Мы нагромоздили целую гору пакетов с крупами на кухонный стол Ли-Энн. Та проснулась и протерла глаза.

– Знаешь, что сказал президент Трумэн? – Она была в восторге. Я вдруг понял, что в Америке каждый – прирожденный вор. Я и сам этим заразился. Стал даже пытаться проверять, заперты ли двери. Остальные копы что-то заподозрили: что-то было видно у нас по глазам; своим безошибочным чутьем они ощущали, что мы задумали. За многие годы они наловчились на таких, как мы с Реми.

Днем мы брали пистолет и уходили в горы, надеясь подстрелить рябчика. Реми подкрадывался на три фута к клохтавшим птицам и шарахал по ним из своего 32-го калибра. Промахивался. Его гогот громыхал над калифорнийскими лесами и всей Америкой:

– Пришло время нам с тобой навестить Бананового Короля.

Была суббота; мы надухарились и отправились к остановке автобуса на перекрестке. Потом приехали в Сан-Франциско и пошли гулять по улицам. Ржание Реми разносилось по всем местам, куда бы мы ни пошли.

– Ты должен написать рассказ про Бананового Короля, – предупредил меня он. – И не пытайся обвести старого маэстро и написать о чем-нибудь другом. Банановый Король – вот твой хлеб. Вот он стоит. – Банановым Королем был старик, продававший на углу бананы. Мне он был совершенно безразличен. Но Реми продолжал тыкать меня кулаком в бок и даже попытался подтащить меня поближе за шиворот. – Когда напишешь о Банановом Короле, то напишешь о человечески интересном в жизни. – Я сказал ему, что мне глубоко плевать на Бананового Короля. – Пока ты не научишься осознавать важности Бананового Короля, ты абсолютно ничего не узнаешь о человечески интересном на свете, – прочувствованно ответил Реми.

Посреди залива стоял старый ржавый сухогруз, которым пользовались как чем-то вроде бую. Реми очень хотелось сплавать туда, поэтому как-то днем Ли-Энн упаковала нам обед, мы наняли лодку и отправились в плавание. Реми прихватил с собою кое-какие инструменты. Ли-Энн сняла с себя всю одежду и улеглась загорать на крыле мостика. Я наблюдал за нею с полуюта. Реми же направился напрямик вниз, в котельные, где суетились крысы, и начал там стучать и греметь, пытаясь обнаружить какую-то медную отделку, которой там все равно не было. Я сидел в полуразрушенной кают-компании. Это было старое-престарое судно, прекрасно оборудованное: вся деревянная мебель покрыта резьбой с завитушками – встроенные шкафчики и прочее. То был призрак джек-лондоновского Сан-Франциско. Я лежал и грезил на залитом солнцем большом обеденном столе. В кладовой бегали крысы. Давным-давно жил-был голубоглазый морской капитан, который за ним обедал.

Я спустился к Реми во внутренности судна. Он дергал за все, что не было привинчено. – Ни фиги нет. Я думал, здесь будет медь, хотя бы какая-нибудь старая рукоятка. Этот пароход уже обчистила шайка воров. – Он стоял посреди залива очень много лет. Всю медь украл матрос, который и матросом-то больше не был.

Я сказал Реми:

– Было бы клёво как-нибудь провести на этом судне ночь, когда опускается туман, вся эта штука потрескивает, и слышно сирены с бакенов.

Реми был ошеломлен: его восхищение мной удвоилось.

– Сал, да я заплачу тебе пять долларов, если у тебя хватит выдержки это сделать. Неужели ты не представляешь, что здесь могут жить призраки старых капитанов? Нет, я не только дам тебе пятерку, я сам тебя сюда отвезу, сам приготовлю тебе поесть, дам тебе одеял и свечку.

– Договорились, – ответил я. Реми побежал рассказывать Ли-Энн. Мне хотелось прыгнуть с мачты и приземлиться прямо на нее, но я держал слово, данное Реми. Я отвел взгляд. Тем временем я начал ездить во Фриско чаще; я пытался сделать все, что только можно сделать, чтобы снять себе девчонку. Даже провел целую ночь с одной на скамейке в парке, до самой зари – и бестолку. Блондинка была из Миннесоты. Там было много голубых.

Несколько раз я ездил в Сан-Фран со своим пистолетом, и когда голубой подходил ко мне в сортире какого-нибудь бара, я вытаскивал его и переспрашивал:

– А? а? что вы сказали? – Тот рвал когти. Я так и не понял, зачем это делал: я знал голубых по всей стране. Это, наверное, просто одиночество Сан-Франциско, а также то, что у меня вообще был пистолет. Его надо было кому-нибудь показать. Я шел мимо ювелирного магазина, как вдруг ощутил внезапный толчок: выстрелить в витрину, вытащить самые красивые кольца и браслеты и скорее подарить их Ли-Энн. А потом сбежать с нею в Неваду. Пора было сваливать из Фриско, или я тут совсем свихнусь.

Я писал длинные письма Дину и Карло, которые теперь жили в хижине у Старого Быка посреди тexasских болот. Они говорили, что готовы приехать ко мне в Сан-Фран, как только что-то там у них будет готово. Тем временем у нас с Реми и Ли-Энн все начало рушиться. Полили сентябрьские дожди, а вместе с ними стало ясно, что все это – пустозвонство. Реми слетал с нею в Голливуд, захватив с собой мою грустную глупую сценарную разработку, и ничего не вышло. Знаменитый режиссер был пьян и не обратил на них никакого внимания; они поболтались по всему его коттеджу на Малибу-Биче; потом начали ссориться на глазах у остальных гостей; и, наконец, примчались назад.

Последней каплей стали бега. Реми собрал все отложенные деньги, что-то около сотни долларов, влатал меня в кое-какую свою одежду, зацепил Ли-Энн, и мы отправились на ипподром «Золотые Ворота» возле Ричмонда на той стороне залива. Чтобы показать, что за душа у этого парня, скажу лишь, что он сложил половину украденных нами продуктов в огромный мешок из коричневой бумаги и отрез его своей знакомой бедной вдове в Ричмонд – та жила в слободке, похожей на нашу, где на калифорнийском солнышке постоянно трепыхалось белье. Мы поехали с ним. Там были печальные оборванные детишки. Женщина стала благодарить Реми. Она была сестрой какого-то моряка, которого он едва знал.

– И думать про это забудьте, миссис Картер, – сказал Реми своим самым элегантным и вежливым тоном. – Там, откуда это взялось, его намного больше.

И мы поехали дальше, на бега. Он делал невероятные двадцатидолларовые ставки на победителя и перед седьмым заездом пролетел окончательно. Поставил еще раз наши последние два доллара, что были отложены на обед, и проиграл. Обратном в Сан-Франциско мы вынуждены были добираться стопом. Я снова вышел на дорогу. Подбросил нас какой-то джентльмен в своем шикарном авто. Я сел к нему вперед. Реми пытался повесить ему про то, что посеял свой бумажник где-то в толпе на трибунах.

– По правде говоря, – сказал я, – мы просадили все наши деньги на скачках. И чтоб с ипподрома нас больше не подвозили, отныне мы будем ходить только к букашке, а, Реми? – Реми покраснел до корней волос. Человек, в конце концов, признался, что он – официальное лицо на ипподроме «Золотые Ворота». Он высадил нас у элегантного Палас-Отеля; мы видели, как он исчезает между канделябров в фойе – с карманами, набитыми деньгами, и с гордо поднятой головой.

– Уах! Уу-ху! – выл Реми на вечерних улицах Фриско. – Парадайз едет с управляющим скачками и клянется, что переключится на букмекеров. Ли-Энн, Ли-Энн, каково?! – Он пихал и дергал ее. – Положительно, это самый большой комик на свете! В Сосалито, должно быть,

много итальянцев. А-а-а-ха-ха! – И он обвился вокруг фонарного столба, пока не отсмеялся. Той ночью пошел дождь, и Ли-Энн метала в нас обоих испепеляющие взгляды. В доме не осталось ни цента. По крыше барабанил дождь.

– Это на целую неделю, – сказал Реми. Он снял красивый костюм и снова остался в своих жалких шортах, майке и армейской пилотке. Его большие карие глаза печально смотрели в половицы. На столе лежал пистолет. Было слышно, как где-то в дождливой ночи до умопомрачения хохочет Мистер Сноу.

– Мне осточертел этот мудозвон, – рявкнула Ли-Энн. Она уже готова была сорваться. Начала пилить Реми. Тот же был занят: листал свой черный блокнотик, куда записывал тех людей – в основном, моряков, – которые были ему должны. Рядом с именами красными чернилами он писал проклятья. Я страшился того дня, когда сам попаду в этот блокнотик. В последнее время я так много денег отсылал тетке, что покупал еды всего на четыре-пять долларов в неделю. В соответствии с тем, что сказал президент Трумэн, я увеличил свою долю еще на несколько долларов. Однако, Реми казалось, что мой вклад недостаточен; поэтому он взялся развешивать на стенке в ванной магазинные чеки за продукты – такие длинные ленты с наименованиями покупок, – чтобы я их видел и смекал, что к чему. Ли-Энн была убеждена, что Реми прячет от нее деньги, – ну, и я за компанию тоже. Она пригрозила уйти от него.

Реми скривился:

– Ну и куда ты пойдешь?

– К Джимми.

– К Джимми?! К кассиру на ипподроме? Ты слышал это, Сал? Ли-Энн собирается уйти и окрутить кассира на скачках. Не забудь метлу, дорогая, лошади всю неделю будут жрать много овса на мои сто долларов.

Все это стало принимать нехорошие размеры; дождь хлестал. Ли-Энн жила здесь как бы с самого начала, а поэтому велела Реми собирать манатки и выметаться. Тот начал собирать манатки. Я уже представлял себя в этой хибаре наедине с необузданной мегерой и попытался вмешаться. Реми толкнул Ли-Энн. Та прыгнула и попыталась схватить пистолет. Реми передал пистолет мне и велел спрятать; в обойме оставалось восемь патронов. Ли-Энн начала вопить и, в конце концов, накинула плащ и побежала по грязи за полицейским, да еще за каким – за нашим старым другом Алькатразом. К счастью, того не было дома. Она вернулась, совершенно вымокнув. Я затаился у себя в углу, засунув голову между колен. Боже, что я здесь делаю, за три тысячи миль от дома? Зачем я сюда вообще приехал? Где мой неспешный пароход в Китай?

– И вот еще что, мерзавец, – орала Ли-Энн. – Сегодня я в последний раз тебе готовила твои поганые мозги с яйцами и твою поганую поджарку, чтобы ты набивал ими свое поганое брюхо, жирел и мерзел прямо у меня на глазах.

– Хорошо, – спокойно ответил Реми. – Очень хорошо. Когда я с тобой сошелся, я не ожидал, конечно, никаких розочек и луны в небесах, и сегодня ты меня не удивила. Я для тебя кое-что пытался сделать, я старался для вас обоих – вы оба меня подвели. Я ужасно, ужасно в вас обоих разочарован, – продолжал он абсолютно искренне. – Я думал, из всех нас вместе что-нибудь выйдет – что-нибудь прекрасное и крепкое, я пытался, я ездил в Голливуд, я

устроил Сала на работу, я покупал тебе красивые платья, я хотел познакомить тебя с прекраснейшими людьми в Сан-Франциско. Ты отказалась – вы оба отказались выполнить ничтожнейшее мое пожелание. Я ничего не просил взамен. Теперь я прошу об одной последней услуге и больше никогда ни о чем просить не стану. В следующую субботу в Сан-Франциско приезжает мой отчим. Я прошу вас только об одном: чтобы вы поехали со мною и попытались сделать так, чтобы было похоже на то, о чем я ему писал. Другими словами, ты, Ли-Энн, ты – моя девушка, а ты, Сал, ты – мой лучший друг. У меня получится занять сотню долларов на субботний вечер. Я сделаю так, чтобы мой отец хорошо провел здесь время и уехал без всякого беспокойства обо мне.

Вот так новость. Отчим Реми был знаменитым врачом с практиками в Вене, Париже и Лондоне. Я сказал:

– Ты имеешь в виду, что собираешься истратить сотню долларов на своего отчима? Да у него самого больше денег, чем у тебя когда-нибудь будет? Ты по уши залезешь в долги, чувак!

– Все нормально, – тихо ответил Реми, и в его голосе сквозило поражение. – Я прошу у вас только одну последнюю вещь – чтобы вы попытались, по крайней мере, сделать вид, что все в порядке, и произвели хорошее впечатление. Я люблю своего отчима и уважаю его. Он приезжает с молодой женой. Мы должны оказывать им всяческие любезности. – Временами Реми бывал просто воплощением благородства. На Ли-Энн это произвело впечатление, и она уже захотела встретиться с его отчимом: она рассчитывала, что можно будет окрутить папочку, раз уж с сыном ничего не вышло.

Подкатил субботний вечер. Я уже бросил ту работу у легавых – как раз перед тем, как меня собрались увольнять за недостаточное количество арестов, и этот субботний вечер был у меня последним. Сначала Реми и Ли-Энн отправились не встречу с отчимом к нему в отель; у меня уже были деньги на дорогу, и я пьянствовал себе в баре внизу. Потом поднялся к ним – опоздав, как не знаю кто. Дверь открыл его папа, почтенный высокий господин в пенсне.

[5]

Поесть мы все отправились в роскошный ресторанчик – к «Альфреду» на Норт-Биче, где бедняга Реми выложил добрых полсотни за нас пятерых – с выпивкой и всем остальным. И тут случилось самое худшее. Кто бы вы думали сидит у стойки бара в этом самом «Альфреде», как не мой старый друг Роланд Мэйджор! Он только что приехал из Денвера и устроился в какую-то сан-францисскую газетку. Он был уже вдрызгу. Он даже не побрился. Он подскочил к нам и шлепнул меня по спине как раз в тот момент, когда я подносил к губам фужер. Он с разгону повис на бордюрике нашей кабины рядышком с доктором Бонкёром и перегнулся прямо через его суп, чтобы поболтать со мной. Реми сидел багровый как свекла.

– Ты не хочешь представить нам своего друга, Сал? – спросил он с вымученной улыбкой.

– Роланд Мэйджор из сан-францисской «Аргус», – сказал я, пытаюсь сохранить невозмутимость. Ли-Энн расвирипела.

Мэйджор понес в самое ухо месье:

– Ну и как вам нравится преподавать французский в средней школе? – вопил он.

– Извините, но я не преподаю французский в средней школе.

– О, а я подумал, что вы преподаете французский в средней школе. – Он намеренно грубил. Я вспомнил ту ночь в Денвере, когда он сам не дал нам повеселиться; но я не держал на него зла.

Я не держал зла ни на кого, я сдался, я напился. Я начал болтать про лунный свет и розы с молоденькой женой доктора. Я пил так много, что каждые две минуты мне надо было отлучаться в мужскую комнату, и я вынужден был скакать через коленки доктора. Всё разваливалось. Мое пребывание в Сан-Франциско подходило к концу. Реми никогда больше не будет со мной разговаривать. Это было ужасно, потому что я любил его на самом деле и был одним из очень немногих людей на свете, которые знали, каким настоящим и каким замечательным другом он был. Чтобы пережить это, ему потребуется много лет. Какая это катастрофа – по сравнению с тем, что я писал ему из Патерсона, планируя свою красную линию по Трассе 6 через всю Америку. И вот я в конце Америки, суши больше нет – и вот уже больше некуда ехать, только обратно. По крайней мере, я твердо решил замкнуть круг своего путешествия: как раз там и тогда я собрался поехать в Голливуд и назад через Техас, чтобы увидеться со всей моей кодлой на болотах; а там уж хоть трава не расти. Мэйджора из «Альфреда» вышвырнули. Обед наш так и завершился, и я ушел вместе с Мэйджором; вернее, уйти нам предложил Реми, и мы отправились пить дальше. Мы сидели с ним за столиком в «Железном Котле», и он говорил:

– Сэм, мне не нравится вон тот гомик возле бара. – И все это громко.

– Да, Джейк? – переспрашивал я.

– Сэм, – продолжал он. – Я, наверное, сейчас подойду и тресну его бутылкой по кумполу.

– Нет, Джейк, – отвечал я, продолжая такую хемингуэвщину. – Лучше целься прямо отсюда – и посмотрим, что получится. – Кончилось тем, что мы с ним, пошатываясь, стояли на каком-то углу.

Наутро, пока Реми с Ли-Энн спали, а я с некоторой грустью взирал на большую кучу грязного белья, которую мы с Реми должны были выстирать в коммунальной машинке «бендикс», установленной в хижине на задворках (а это всегда было такой радостной и солнечной процедурой – вокруг полно цветных женщин, и Мистер Сноу хохочет до умопомрачения), я решил все-таки уехать. И вышел на крыльцо.

Ну уж черта с два, сказал тут я себе. Я ведь обещал, что не уеду, покуда не взберусь вон на ту гору. То была высокая дальняя стена каньона, которая таинственным образом отворачивала к Тихому Океану.

Поэтому я задержался еще на день. Было воскресенье. Стояла сильная жара; день был прекрасный, к трем часам солнце побагровело, и жара спала. Я начал подъем и к четырем выбрался на вершину. Со всех сторон шумели эти славные калифорнийские тополя и эвкалипты. У самой верхушки деревьев уже не было – одни камни и трава. Сверху над побережьем пасся скот. Там лежал Тихий Океан – всего через несколько холмов от меня, синий и широченный, со стеной белизны, которая наползала с легендарной «картофельной грядки», где рождаются все сан-францисские туманы. Еще какой-нибудь часок – и она хлынет в Золотые Ворота и укутает весь романтический город в белое, и юноша будет держать свою девушку за руку и медленно подниматься по длинному белому тротуару с

бутылкой токайского в кармане. Да, это Фриско; и прекрасные женщины, стоящие в белых парадных в ожидании своих мужчин; и Койт-Тауэр, и Эмбаркадеро, и Маркет-Стрит, и все одиннадцать многолюдных холмов.

Я вертелся во все стороны, пока у меня не закружилась голова; я думал, что упаду, как во сне, прямо с этого отвесного утеса. О где ты, девушка, которую люблю? Так думал я и смотрел везде, как смотрел везде в этом крошечном мирке, что лежал подо мною. А прямо передо мной грубо горбилась громадная туша моего американского континента; где-то далеко, на той стороне, мрачный сумасшедший Нью-Йорк извергал в небеса свою тучу пыли и бурого пара. В Востоке есть что-то коричневое и святое; а Калифорния бела, как бельевые веревки, и пустоголова – так я думал, по крайней мере, в то время.

Утром Реми и Ли-Энн еще спали, когда я тихонько собрался, выскользнул в окно тем же путем, каким пришел, и покинул Милл-Сити со своей полотняной сумкой. Я так и не переночевал на старом пароходе с призраками – он назывался «Адмирал Фриби», – и мы с Реми были потеряны друг для друга.

В Окленде я выпил пива среди бродяг в салуне, перед которым было выставлено колесо от фургона, – я снова стоял на дороге. Я прошел через весь Окленд, чтобы выйти к шоссе на Фресно. За два перегона добрался до Бейкерсфилда в четырёх сотнях миль к югу. Первый был совершенно безумным: я ехал со здоровым светловолосым парнем в тачке с переделанным двигателем.

– Видишь палец на ноге? – спросил он, разгоняясь до восьмидесяти и обгоняя буквально каждого, кто был на трассе. – Посмотри. – Палец был весь замотан бинтами. – Мне его только сегодня утром ампутировали. Эти сволочи хотели, чтобы я остался в больнице. Я собрал сумку и утек. Подумаешь, палец. – Да, в самом деле, сказал я себе, теперь уж смотри в оба, – и мы погнали дальше. Таких придурков за рулем я больше ни разу не видел. Он доехал до Трэйси почти моментально. Трэйси – железнодорожный городок; сцепщики сурово жуют в столовках прямо у путей. По всей долине воют локомотивы. Неторопливо опускается красное солнце. У меня перед глазами проносились всякие волшебные названия этой долины – Мантека, Мадера, остальные. Вскоре начало смеркаться – лиловые виноградные сумерки над длинными бахчами и мандариновыми рощами; солнце – цвета давленого винограда, исполосованное винно-красным, поля – цвета любви и испанских тайн. Я высунул голову в окно и глубоко вдыхал пряный воздух. Этот миг был прекраснейшим из всех. Псих, что меня вез, работал сцепщиком на Южной Тихоокеанской и жил во Фресно; отец у него тоже был сцепщик. Он потерял палец в оклендском депо, переводя стрелку, – я так и не понял, как именно. Он привез меня в оживленный Фресно и высадил где-то на южной стороне города. Я заскочил выпить кока-колы в гастронимчик у железной дороги – и тут в одном из красных товарных вагонов мимо проехал такой меланхоличный молодой армянин, и как раз в этот момент взвыл локомотив, и я сказал себе: да, да, это городок Сарояна.

Мне надо было на юг; я выбрался на дорогу. Меня подобрал человек в совсем новом пикапе. Он был из Лаббока, Техас, торговал автоприцепами.

– Хочешь купить трейлер, а? – спросил он. – Когда надо, разыщи меня. – Он рассказывал мне истории о своем отце в Лаббоке. – Однажды вечером папаша мой оставил всю дневную выручку сверху на сейфе – ну, наглухо забыл запереть и опечатать. Ну и вот – ночью забрался к нам вор с ацетиленовой горелкой и всеми делами, вскрыл сейф, пошарил в бумагах, опрокинул несколько стульев и свалил. А эта тыща долларов лежала у него перед самым носом, на сейфе – что ты по этому поводу скажешь, а?

Он высадал меня южнее Бейкерсфилда, и тут-то начались все мои приключения.

Похолодало. Я натянул на себя неуклюжий армейский дождевик, который купил за трешку в Окленде; на дороге было зябко. Я стоял перед довольно вычурным мотелем в испанском стиле, который весь был освещен, точно ювелирная витрина. Машины проносились мимо в сторону Л.А. Я неистово махал руками. Было слишком холодно. Я простоял там до самой

полночи, ровным счетом два часа, матерился и клял все на свете. Снова как в Стюарте, Айова. Ничего больше не оставалось, как пойти и истратить чуть больше двух долларов на автобус, чтобы проехать оставшиеся мили до Лос-Анжелеса. По шоссе я снова дошел до Бейкерсфилда, нашел автостанцию и сел на скамейку.

Я уже купил себе билет и теперь ждал лос-анжелесского автобуса, когда совершенно неожиданно заметил в своем поле зрения милейшую малышку – мексиканочку в брючках. Она приехала в одном из тех автобусов, что только что подошли с громкими вздохами пневматических тормозов и теперь высаживали пассажиров. Ее груди выступали вперед смело и без стеснения; ее изящные бедра выглядели восхитительно; ее волосы были длинны и глянцево черны; а в синих глазищах изнутри проглядывала робость. Как хотел бы я оказаться в ее автобусе! В сердце мне кольнуло болью – так бывало всякий раз, когда я видел, как девушка, которую я полюбил, едет в другую сторону в этом слишком большом для нас мире. Объявили автобус на Лос-Анжелес. Я взял сумку и пошел на посадку – и кто же сидит там в полном одиночестве, как не моя молоденькая мексиканка! Я шлепнулся прямо напротив нее и сразу же начал строить планы захвата. Я был так одинок, так печален, я так устал, так продрог, я был так сломлен, так разбит, что собрал воедино все свое мужество, которое необходимо для того, чтобы подойти к незнакомой девушке, – и начал действовать. Но даже решившись, я еще минут пять, так сказать, трясся в темноте, а автобус тем временем уже покотился по дороге.

Ну, давай, давай же, а то так и подохнешь! Придурок чертов, да заговори же с нею! Что это с тобой? Неужели ты сам себе еще на осточертел? И прежде, чем понять, что это я такое делаю, я наклонился к ней через проход (а она пыталась заснуть на сиденье) и спросил: – Мисс, не хотите ли подложить под голову мой плащ вместо подушки?

Она посмотрела на меня, улыбнулась и ответила:

– Нет, большое спасибо.

Весь дрожа, я снова откинулся на спинку; зажег окурочек. Подождал, пока она снова не посмотрит на меня, не бросит на меня тот единственный печальный взглядик любви, – и тогда я снова встал и склонился над ней:

– Можно мне сесть рядом с вами, мисс?

– Если хотите.

Я хотел.

– Куда вы едете?

– Эл-Эй. – Мне очень понравилось, как она это произнесла – «Эл-Эй». Мне вообще очень нравится, как все здесь на Побережье произносят «Эл-Эй»: он остается их единственным золотым городом, когда всё остальное уже сказано и сделано.

– Так и я туда же еду! – воскликнул я. – Я очень рад, что вы позволили мне сесть с вами рядом, мне было очень одиноко, и я много путешествовал. – И мы принялись рассказывать друг другу о себе. Ее история была такова: у нее муж и ребенок. Муж ее побил, поэтому она от него ушла, а живут они в Сабинале, южнее Фресно, и теперь она едет в Л.А. пожить пока у сестры. Своего маленького сына она оставила у родителей – те работают на сборе винограда и живут в хижине прямо на виноградниках. Сейчас ей больше ничего не оставалось, как в мыслях возвращаться все к тому же и злиться. Мне очень хотелось просто

немедленно обхватить ее руками. Мы всё говорили и говорили. Она сказала, что ей очень нравится со мною разговаривать. Довольно скоро она призналась, как ей хотелось бы тоже поехать в Нью-Йорк.

– Так, может быть, и поедем! – рассмеялся я. Автобус со стоном карабкался к перевалу Грэнвилл, а потом мы летели вниз, в гигантские каракули света. Не приходя ни к какому особенному соглашению, мы уже держались за руки, и точно так же – немо, прекрасно и чисто – было решено, что когда у меня будет номер в лос-анжелесской гостинице, она останется рядом со мною. Всё во мне к ней так и тянулось: я склонил голову в ее прекрасные волосы. Ее маленькие плечи сводили меня с ума: я все обнимал и обнимал ее. И ей это нравилось.

– Люблю, люблю, – шептала она, закрывая глаза. Я обещал ей прекрасную любовь. Я весь прямо трясся над нею. Истории наши были уже рассказаны; мы погрузились в молчание и сладкие предвкушения. Все случилось вот так просто. Забирайте себе всех ваших персиков, бетти, мэрилу, рит, камилл и инесс до единой: вот моя девушка, вот девичья душа как раз для меня; я ей об этом так и сказал. Она призналась, что видела, как я наблюдал за нею на автостанции:

– Я еще подумала: какая милый студентик из колледжа.

– О, так я и есть студентик из колледжа! – заверил ее я. Автобус въехал в Голливуд. Серой, грязной зарей, похожей на ту, когда Джоэл МакКри встретился с Вероникой Лейк в столовой, в картине «Странствия Салливана», она спала у меня на коленях. Я жадно глядел в окно: оштукатуренные дома, пальмы, дорожные закусочные, все это безумие, эта обтрепанная обетованная земля, фантастический конец Америки. Мы слезли с автобуса на Мэйн-стрит, ничем не отличавшейся от тех главных улиц, где слезишь с автобуса в Канзас-Сити, Чикаго или Бостоне – тот же красный кирпич вокруг, грязно, шляются какие-то субъекты, в безнадежном утреннем свете скрежещут трамваи, блядский запах большого города. И тут у меня поехала крыша – сам не знаю, почему. Мне начали мерещиться идиотские, параноидальные видения, что Тереза, или Терри – так ее звали – просто маленькая шлюшка, которая работает по автобусам, выманивая у честных парней их башли, назначая им свидания в Л.А., как это сделали мы, сначала приводя сосунка в забегаловку, где поджидает ее сутенер, а потом – в заранее намеченную гостиницу, куда имеет доступ и он, со своим пистолетом или что там у него еще есть. Я никогда ей в этом не признался. Мы завтракали, а сутенер продолжал наблюдать за нами; мне чудилось, что Терри тайно строит ему глазки. Я устал и чувствовал себя чужим и оторванным в далеком, отвратительном месте. Придурь ужаса овладела моими мыслями и повлекла за собою мелочные и дешевые поступки.

– Ты знаешь того парня? – спросил я.

– Какого парня ты имеешь в виду, ми-лый? – Я не стал развивать тему дальше. Все, что она делала, она делала замедленно и подвешенно; ела она долго: медленно жевала, глядя прямо перед собой, курила сигарету, болтала со мной, а я сидел как измочаленное привидение, подозревая, что каждое ее движение – только затем, чтобы оттянуть время. Все это было приступом болезни. Я весь взмок, пока мы, взявшись за руки, шли по улице. В первой же гостинице, куда мы зашли, была свободная комната, и прежде, чем я понял, что

делаю, я уже запирал за собой дверь, а Терри сидела на кровати и снимала туфли. Я вяло ее поцеловал. Ей этого лучше не знать. Чтобы успокоить нервы, я знал, нам понадобится виски – особенно мне. Я выскочил на улицу и суматошно обежал чуть ли не дюжину кварталов, пока не нашел пинту виски в газетном киоске. Примчался обратно, весь – сама энергия. Терри была в ванной, красилась. Я налил в стакан для воды, и мы оба сделали по хорошему глотку. О, это было и сладко, и восхитительно, и стоило всего моего столь безрадостного путешествия. Стоя у нее за спиной, я тоже глядел в зеркало, и мы вот так танцевали с нею прямо в ванной. Я начал рассказывать ей о своих друзьях на Востоке: – Ты должна познакомиться с одной замечательной девчонкой, которую я знаю, ее зовут Дори. Она шести футов росту и рыжая. Если ты приедешь в Нью-Йорк, она покажет тебе, где найти работу.

– А кто она, эта твоя рыжая шести футов росту? – с подозрением спросила Терри. – Зачем ты мне о ней рассказываешь? – Своей простой душой она не могла постичь моей радостной нервной болтовни. Я оставил эту тему. По-прежнему сидя в ванной, она начала пьянеть.

– Пойдем ляжем? – настаивал я.

– Шести футов росту и рыжая, а? А я-то думала, ты миленький студентик, я видела на тебе этот красивый свитер, и я сказала себе: хм-м, какой славный, а? Нет! Нет! И еще раз нет! Ты, должно быть, такой же подлец и сутенер, как и все они!

– Господи, да о чем ты говоришь?

– Не стой тут и не говори мне, что эта твоя рыжая шести футов – не мадам, потому что я узнаю мадам, стоит лишь мне услышать о ней, а ты, ты – ты такой же подлец и сутенер, как и все, кого я встречаю, все, все – сутенеры.

– Послушай, Терри, я не сутенер. Клянусь тебе на Библии, я не сутенер. Чего ради мне быть сутенером? Меня интересуешь только ты.

– А я-то все время думала: вот, встретила такого славного парня. Я-то была так рада, я просто обнимала себя от радости и говорила себе: хм-м, настоящий славный парень, а вовсе никакой и не сутенер.

– Терри, – умолял я ее всей своей душой. – Пожалуйста, выслушай меня и пойми: я не сутенер. – Всего какой-то час назад я думал, что это она – шлюха. Как же это было печально. Два наших разума, каждый со своим собственным запасцем безумия, разошлись в разные стороны. О, жуткая жизнь, как я стонал и умолял, а потом рассвирепел и понял что все это время умолял тупую мексиканскую девку, о чем ей и сообщил; и прежде, чем это понять, я поднял с пола ее красные лодочки, швырнул их об дверь ванной и велел ей убираться.

– Давай, вали отсюда! – Я усну и забуду об этом; у меня – своя жизнь, навсегда своя собственная тоскливая и истрепанная жизнь. В ванной наступило мертвое молчание. Я разделся и улегся в постель.

Терри вышла со слезами раскаянья на глазах. В ее простеньком и смешном умишке было раз навсегда установлено, что сутенеры не швыряются женскими туфлями в двери и не велят женщине убираться вон. В почтительном и сладком молчании она сняла с себя всю одежду, и ее крохотное тельце скользнуло ко мне под простыни. Оно было смуглым, как виноградка. Я увидел ее бедный живот – там, где бежал шрам от кесарева сечения; ее

бедра были так узки, что она не могла принести ребенка без того, чтобы ее не взрезали. Ножки ее были как палочки. Росту – чуть больше четырех футов. Я любил ее в сладости этого усталого утра. Потом, словно два утомленных ангела, забытых где-то на полке Лос-Анжелеса, обретя вдвоем самое близкое и самое восхитительное в жизни, мы заснули и проспали чуть ли не до самого вечера.

Хорошо ли, плохо ли, но следующие пятнадцать дней мы были вместе. Проснувшись, мы решили ехать стопом в Нью-Йорк; в городе она должна была быть моей девчонкой. Я уже предвидел жуткие сложности с Дином, Мэрилу и всеми остальными – новое время. Новый сезон. Только сначала надо было поработать, чтобы хватило на поездку. Терри же была целиком и полностью за то, чтобы ехать немедленно, имея в кармане лишь те двадцать долларов, что оставались у меня. Мне это не нравилось. И, как последний дурак, я ломал над этой проблемой голову еще два дня, и пока мы по барам и кафетериям читали объявления о найме в диких лос-анжелесских газетах, которых я раньше никогда в жизни не видел, моя двадцатка сохлась до чуть больше десятки. В нашем маленьком гостиничном номере мы были очень счастливы. Посреди ночи я поднимался, поскольку не мог спать, укрывал голое смуглое плечико моей малышки и изучал лос-анжелесскую ночь. Что это были за ночи – жестокие, жаркие, с воем сирен! Прямо через дорогу произошла какая-то заварушка. Захудалая развалина – старые меблированные комнаты – стала местом действия некой трагедии. Внизу подъехала патрульная машина, и легавые допрашивали какого-то седого старика. Изнутри доносились рыдания. Мне было слышно все – вплоть до гудения неоновой рекламы нашей гостиницы. Никогда в жизни мне не было так грустно. Л.А. – самый одинокий и самый жестокий из американских городов; в Нью-Йорке становится неимоверно холодно зимой, но кое-где, в некоторых улочках можно поймать ощущение какого-то сомнительного товарищества. Лос-Анжелес же – просто джунгли.

Южная часть Мэйн-Стрит, где мы с Терри прогуливались, жуя горячие бутерброды, была фантастическим карнавалом огней и дикости. Фараоны в сапогах задерживали людей практически на каждом углу. Самые битовые персонажи страны тусовались по тротуарам – и все это под такими мягкими звездами Южной Калифорнии, которые теряются в буром ореоле того гигантского бивуака посреди пустыни, который и есть, на самом деле, Л.А. В воздухе витал аромат чая, травы, в смысле – марихуаны, вместе с запахами пива и бобов с чили. Роскошные дикие звуки бопа плыли из пивных: они мешались со всяческими ковбойскими песнями и буги-вуги в попури американской ночи. Каждый человек был похож на Хассела. Мимо, хохоча, проходили дикого вида негры в боповых шапочках и с козлиными бородками; за ними – длинноволосые, битые жизнью хипстеры прямиком с Трассы 66 из Нью-Йорка; за ними – старые пустынные крысы с мешками в руках, направлявшиеся к садовым скамейкам на Плазе; за ними – методистские священники с расплзающимися локтями на рукавах и случайный святой «от природы» в сандалиях и с бородищей. Мне хотелось познакомиться с ними всеми, поговорить с каждым, но нам с Терри было слишком некогда, мы старались свести концы с концами.

Мы поехали в Голливуд и попытались устроиться в аптеку на Сансете или на Вайне. Вот это был уголок! Огромные семьи откуда-нибудь из глубинки вылезали из своих колымаг и стояли на тротуарах, вертя головами во все стороны, чтобы углядеть какую-нибудь кинозвезду, а кинозвезды все не появлялись. Когда мимо проезжал лимузин, они жадно кидались к обочине и пригибались, пытаясь заглянуть внутрь: внутри сидел какой-нибудь типчик в темных очках с блондинкой, увешанной драгоценностями:

– Дон Амеш! Дон Амеш!

[6]

– Слушай, я заберу одежду у сестренки, и поедем в Нью-Йорк, – сказала Терри. – Ну, давай же. Поехали. «Если ты не можешь буги, то я научу тебя». – Это была ее песенка, которую она все время напевала. Мы быстро поехали к ее сестре, жившей в одной из мексиканских хижин, построенных из щепок где-то за Аламеда-Авеню. Я остался ждать в темном тупичке на задах кухонь, потому что сестра не должна была меня видеть. Бегали собаки. Эти крысиные тупички освещались маленькими лампочками. Я слышал, как Терри спорит с сестрой в мягкой, теплой ночи. Я был готов ко всему.

Терри вышла и повела меня за руку к Сентрал-Авеню – главному променаду цветных районов Л.А. Что это за дикое место – с притончиками-курятниками, в которые едва помешается музыкальный автомат, а из автомата этого не вылетает ничего, кроме блюза, бопа и джампа. Мы поднялись по грязной лестнице жилого дома, и вошли в комнату подружки Терри Маргарины – та должна была Терри юбку и пару туфель. Маргарина оказалась миленькой мулаткой, ее муж был черным как смоль и добрым. Он сразу вышел купить пинту виски, чтобы принять меня в доме как следует. Я попытался внести свою долю деньгами, но он отказался. У них было двое маленьких детей. Пацанята прыгали на постели – это была их детская. Они обхватили меня своими ручонками и с изумлением разглядывали. Дикая гудящая ночь Сентрал-Авеню – ночь как у Хэмпса в «Аварии на Сентрал-Авеню» – выла и грохотала за окном. Пели на лестничных клетках, пели из окон, хоть провались все в тартарары. Терри забрала свою одежду, и мы попрощались. Потом спустились в один из курятников и стали крутить пластинки в автомате. Парочка черных субъектов пошептала мне на ушко по части чая. Доллар. Я сказал: ладно, тащите. Вошел связной и поманил за собою в подвальный туалет, посреди которого я встал, как олух, а он сказал:

– Подбирай, чувак, подбирай.

– Чего подбирать? – спросил я.

Он уже взял мой доллар. Он боялся показать мне на пол. Куда там пол – голый фундамент. Там лежало что-то похожее на маленькую коричневую кашку. Он был до идиотизма осторожен.

– Надо самому о себе заботиться, последнюю неделю стало совсем не клево. – Я подобрал кашку, которая оказалась сигареткой из коричневой бумаги, вернулся к Терри, и мы отчалили балдеть в свой номер. Ничего не вышло. Внутри был табак «Булл Дурэм». Я пожалел, что так сглупил со своими деньгами.

Нам с Терри надо было абсолютно, окончательно и бесповоротно решить, что делать. И мы решили ехать стопом в Нью-Йорк на оставшиеся деньги. В тот вечер она взяла пятерку у сестры. У нас было долларов тринадцать или чуть меньше, поэтому прежде, чем настало время платить за комнату за тот день, мы собрались и на красной машине отъехали в Аркадию, штат Калифорния, где под снежными шапками гор находится ипподром Санта-Анита. Была уже ночь. Мы направлялись вглубь Американского Континента. Держась за руки, мы прошли несколько миль по дороге, чтобы выбраться из населенного района. Был субботний вечер. Мы стояли под фонарем и голосовали, как вдруг мимо с ревом понеслись

машины, полные молодых пацанов, с развевающимися лентами и вымпелами.

– Йяаа! Йяаа! Мы победили! Победили! – орали они все. Затем оборжали нас, злорадствуя над тем, что парень стоит с девчонкой на дороге. Промчались десятки таких машин, полных молодых рож и молодых глоток, как говорится. Я ненавидел каждого из них в отдельности. Да кто они такие, чтобы ржать над людьми на дороге только потому, что сами они – молодые скоты-старшеклассники, а их родители по воскресеньям за обедом вгрызаются в ростбиф? Кто они такие, чтобы насмехаться над девушкой, невольно попавшей в нехорошие обстоятельства с человеком, который жаждет возлюбить? Мы не обратили на них внимания. И никто благословенный нас не подбросил. Пришлось пешком вернуться в город, а хуже всего – то, что нам нужно было выпить кофе, и мы, к несчастью, пошли в единственное место, которое было открыто, – в школьную стекляшку, и все эти пацаны сидели там и, конечно, узнали нас. Теперь уже они увилели, что Терри – мексиканка, дикая кошка-пачуко, а ее парень – и того хуже.

Гордо задрав свой миленький носик, она выскочила оттуда, и мы пошли с нею бродить в темноте вдоль придорожных канав. Я нес сумки. Мы выдыхали пар в холодный ночной воздух. В конце концов я решил с нею спрятаться от мира еще на одну ночь, и черт с ним, с этим утром. Мы зашли во двор мотеля и где-то за четыре доллара купили себе удобный маленький номер – душ, полотенца, радио на стенке и все дела. Мы крепко прижимались друг к дружке. Мы вели долгие серьезные разговоры, принимали ванну и обсуждали разные вещи сначала при свете, а потом – без. По ходу дела что-то доказывалось, я ее в чем-то убеждал, она это принимала, и в темноте мы заключили пакт, запыхавшиеся, а потом – умиротворенные, как ягнята.

Наутро мы дерзко взялись за претворение своего нового плана. Мы должны были сесть в автобус, доехать до Бейкерсфилда и устроиться на сбор винограда. Проведя вот так несколько недель, мы направимся в Нью-Йорк как полагается – автобусом. Это был чудесный день – наша с Терри поездка в Бейкерсфилд: мы сидели, расслабленно откинувшись на спинки кресел, болтали, смотрели, как мимо проплывают разные местности, и ни о чем не волновались. Приехали в Бейкерсфилд мы ближе к вечеру. План был такой: навестить каждого фруктового оптовика в городе. Терри сказала, что мы сможем жить в палатках прямо на месте. Мысль о том, чтобы жить в палатке и собирать виноград прохладным калифорнийским утром, зацепила меня как надо. Но такой работы не было, а было много суеты: все предлагали нам бессчетные наколки, а работа так и не появилась. Тем не менее, мы поели в китайской закускойной и, подкрепившись, снова принялись за поиски. Через рельсы узкоколейки мы перешли в мексиканский городок. Терри тараторила со своими братьями – спрашивала про работу. Уже настала ночь, и улица городка превратилась в одну сияющую светом лампочку: киношки, фруктовые ларьки, грошовые аркады, мелочные лавки и сотни припаркованных ветхих грузовиков и заляпанных грязью драндулетов. Мексиканские сборщики фруктов целыми семьями бродили по улице, жуя кукурузные хлопья. Терри беседовала со всеми. Я начинал терять надежду. Мне – да и Терри – нужно было выпить, и за тридцать пять центов мы купили кварту калифорнийского портвейна и пошли к железной дороге на товарный двор. Нашли место, где хобо насобирали ящиков, чтобы сидеть вокруг костра. Мы уселись там и стали пить вино. Слева

стояли товарные вагоны, понурые и закопченно-красные под луной, прямо перед нами – огни и аэропортовский пунктир улиц собственно Бейкерсфилда; а справа – громаднейшая алюминиевая коробка склада. Ах, какая была прекрасная ночь, теплая ночь – ночь как раз для того, чтобы пить вино, мечтательно-лунная ночь; ночь, чтобы обниматься с девчонкой, болтать, плевать и держать курс к седьмому небу. Что мы и делали. Она была пьющей дурочкой, не отставала от меня, обошла меня и продолжала болтать до полуночи. Мы так и не сдвинулись никуда с этих ящиков. Время от времени мимо проходили бичи, мексиканские мамы с детишками, подъехал патрульный «воронок», из него вышел поссать коп, но в основном мы оставались одни и сливались душами все сильнее и сильнее – до тех пор, пока сказать друг другу «прощай» вообще не стало ужасно трудно. В полночь мы поднялись и поплелись к шоссе.

У Терри возникла новая идея: мы доедем стопом до Сабиналя, ее родного городка, и поселимся там в гараже у ее брата. Со мной там все будет нормально. На дороге я заставил Терри сесть на мою сумку, чтобы она была похожа на женщину, с которой что-то случилось, и сразу же перед нами остановился грузовик, к которому мы подбежали, торжествующе гогоча. Человек оказался хорошим; грузовик – плохим. Он ревел и медленно карабкался вверх по долине. Мы добрались до Сабиналя рано-рано утром, перед самым восходом. Я допил вино, пока Терри спала, и теперь был соответственно наклюканным. Мы вылезли и стали бродить по тихой тенистой площади калифорнийского городишки – полустанка на местной узкоколейке. Пошли искать приятеля ее брата, который сообщил бы нам, где тот сейчас. Никого не было дома. Когда начала брезжить заря, я растянулся на лужайке возле городской площади и принялся твердить:

– Ты ведь не скажешь, что он делал в Зарослях, правда? Что он делал в Зарослях? Ты ведь не скажешь, правда? Что он делал в Зарослях? – Это было из картины «О мышах и людях», когда Бёрджесс Мередит разговаривает с управляющим на ранчо. Терри хихикала. Что бы я ни делал, ей нравилось. Я мог бы валяться и повторять это до тех пор, пока местные дамы не пойдут в церковь, и ей было бы наплевать. Но я, в конце концов, решил, что нам надо поскорее сваливать, потому что может появиться брат, привел ее в старую гостиницу у железной дороги, и мы уютно улеглись в постель.

Ярким, солнечным утром Терри встала рано и отправилась на поиски брата. Я проспал до двенадцати, а когда выглянул в окно, то вдруг увидел товарняк, едущий по узкоколейке с сотнями хобо, которые удобно расположились на платформах и весело себе катили, подложив под головы котомки, развернув перед носом газеты с комиксами, а некоторые жевали добрый калифорнийский виноград, который можно было рвать прямо на ходу.

– Черт! – завопил я. – У-ууиих! Это в натуре обетованная земля. – Все ени ехали из Фриско; через неделю они таким же роскошным образом отправятся обратно.

Пришла Терри со своими братом и ребенком и с приятелем брата. Брат оказался норовистым горячим мексиканцем, которому вечно хочется выпить, – очень четкий пацан. Его приятель, большой дряблый мексиканец, говорил по-английски без особого акцента, очень громко, и был чересчур услужлив. Я заметил, как он имел виды на Терри. Малыша ее звали Джонни, ему было семь лет: темноглазый и милый. Ну вот мы и приехали, и начался еще один дикий день.

Ее брата звали Рики. У него был «шеви» 38-го года. Мы туда загрузились и отправились в неведомые места.

– Куда мы едем? – спросил я. Объяснял мне его приятель – Понзо, его так все называли. От него воняло. И я выяснил, почему. Он занимался продажей навоза фермерам; у него был грузовик. У Рики в кармане всегда отыскивалось три-четыре доллара, и он ко всему относился бесшабашно. Он постоянно говорил:

– Правильно, чувак, опять двадцать пять – опять двадцать пять, опять двадцать пять! – И рвал с места. Он выжимал из своей мусорной кучи семьдесят миль в час: мы ехали в Мадеру, за Фресно, узнать у каких-то фермеров про навоз.

У Рики с собой был пузырь.

– Сегодня пьем, завтра работаем. Опять двадцать пять, чувак, – на-ка хлебни! – Терри сидела позади со своим малышом; я оглянулся и увидел, как она порозовела от радости, что вернулась домой. Мимо бешено проносилась октябрьская зелень Калифорнии. Я был весь собран, весь кровь с молоком, я снова был готов ехать дальше.

– А куда мы сейчас едем?

– Поедем найдем фермера, у которого там навозу навалом. Завтра снова приедем с грузовиком и заберем. Чувак, мы зашибем кучу бабок. Не волнуйся ни о чем.

– Мы все вместе тут! – завопил Понзо. Я видел, что так везде, куда бы я ни приехал – все там вместе. Мы промчались по свихнувшимся улочкам Фресно и вверх по долине к этим самым фермерам, жившим на дальних выселках. Понзо вышел из машины и стал суматошно торговаться со стариками-мексиканцами; из этого ничего, конечно, не вышло.

– Выпить – вот что нам нужно! – завопил Рики, и мы отчалили в салун на перекрестке. Воскресным днем американцы всегда пьют в салунах на перекрестках; они приводят с собою детей; они треплют языками и хвастаются, потягивая пиво; все прекрасно. Чуть стемнеет, и детишки начинают плакать, а родители уже пьяны. Шатаясь, они возвращаются домой. Повсюду в Америке я пил в салунах на перекрестках с целыми семьями. Детишки жуют кукурузные хлопья, чипсы и играют себе где-то на задворках. Мы тоже так делали: Рики, я, Понзо и Терри сидели за столиком, квасили и орали под музыку; малютка Джонни возился с другими детьми у музыкального автомата. Солнце начало краснеть. Ничего сделано так и не было. А что было вообще делать?

– Маньяна, – сказал Рики. – Маньяна, чувак, все ништь; давай еще пива, чувак, опять двадцать пять, опять двадцать пять!

Мы вывалились наружу и влезли в машину: теперь – в бар на шоссе. Понзо был здоровенным неумным горлопаном, в долине Сан-Хоакин он знал всех и каждого. Из бара на шоссе мы с ним вдвоем отправились на машине искать еще какого-то фермера; вместо этого оказались в мексиканской слободке Мадеры, щупали там девок и пытались снять нескольких для него и Рики. А потом, когда лиловые сумерки опустились на эту виноградную страну, я обнаружил себя тупо сидящим в машине, пока Понзо торговался с каким-то старым мексиканцем прямо на крылечке кухни по поводу арбуза, который тот вырастил у себя на огороде. Арбуз мы получили и тут же съели его, а корки выбросили на обочину прямо перед домом старика. По темневшей улице разгуливали всевозможные милашки. Я спросил:

– Где это мы, к чертовой матери?

– Не волнуйся, чувак, – ответил большой Понзо. – Завтра мы зашибем кучу бабок; а сегодня вечером волноваться не стоит. – Мы поехали обратно, забрали Терри с братом и малышом и двинули во Фресно при свете фонарей вдоль шоссе. Все были голодны как волки. Во Фресно мы, подпрыгивая, перевалили через железнодорожные пути и рванули вглубь диких улочек мексиканского городка. Из окон высывались странные китайцы, разглядывая воскресные ночные улицы; важно расхаживали компании мексиканских чувих в брюках, мамбо ревело во всех музыкальных автоматах, вокруг были развешаны гирлянды огней, как на День Всех Святых. Мы зашли в мексиканский ресторанчик и заказали тако с пюре из бобов пинто, завернутое в тортильи; это было вкусно. Я выложил свою последнюю сияющую пятерку, которая стояла между мной и берегами Нью-Джерси, и заплатил за нас с Терри. Теперь у меня оставалось четыре доллара. Мы с Терри посмотрели друг на друга:

– Где мы будем спать сегодня, бэби?

– Не знаю.

Рики был пьян; теперь он повторял лишь одно:

– Опять двадцать пять, чувак, – опять двадцать пять, – нежным и усталым голосом. Это был долгий день. Никто из нас не соображал, что происходит, что нам предназначено Господом Богом. Бедный маленький Джонни заснул у меня на плече. Мы поехали обратно в Сабиналь. По пути резко притормозили у кабака на Шоссе 99. Рики хотел еще одно – последнее – пиво. За кабаком стояли трейлеры, палатки и несколько развалюх – что-то типа мотеля. Я спросил, сколько стоит, оказалось – два доллара. Я спросил у Терри, как по части остаться, и она ответила, что в самый раз, поскольку у нас на руках теперь ребенок, и его надо устроить поудобнее. Поэтому, выпив несколько кружек пива в кабаке, где мрачные сезонники покачивались в такт какой-то ковбойской банде, мы с Терри и Джонни ушли в номер и приготовились на боковую. Понзо продолжал ошиваться поблизости – ему ночевать было негде; Рики спал у отца в хижине на виноградниках.

– Где ты живешь, Понзо? – спросил я.

– Нигде, чувак. Вообще-то я должен жить с Большой Розой, но вчера ночью она меня выставила. Заберу грузовик и посплю сегодня там.

Тренькали гитары. Мы с Терри смотрели на звезды и целовались.

– Маньяна, – сказала она. – Завтра все будет хорошо, правда, Сал, милый, а?

– Конечно, бэби, маньяна. – Маньяна была всегда. Вся следующую неделю я только это слово и слышал – «маньяла», чудесное слово, возможно, оно и обозначало «небеса».

Маленький Джонни юркнул в кровать как был, в одежде, и заснул; из его башмаков сыпался песок, песок Мадеры. Мы с Терри встали посреди ночи и стряхнули песок с простыней.

Утром я поднялся, умылся и вышел погулять по окрестностям. Мы находились в пяти милях от Сабиналя, посреди хлопковых полей и виноградников. Я спросил у большой толстой женщины, которой принадлежал этот лагерь, не заняты ли какие из палаток. Самая дешевая – за доллар в сутки – была свободна. Я выудил из кармана доллар и перенес вещи туда.

Там были кровать, печка, а на столбе висело треснутое зеркало; это было восхитительно. Чтобы войти, приходилось нагибаться, а внутри сидели моя крошка и ее мальчуган. Мы ждали приезда Рики и Понзо. Они примчались на грузовике с бутылками пива и принялись

кирять прямо в палатке.

– А как по части навоза?

– Сегодня уже поздно. Завтра, чувак, загребем кучу бабок, а сегодня лучше пивка попьем. Как ты насчет пивка, а? – Уговаривать меня не требовалось.

– Опять двадцать пять – опять двадцать пять! – вопил Рики. Я уже начинал понимать, что нашим планам заработать кучу денег на навозе осуществиться не суждено. Грузовик стоял сразу за палаткой. От него несло, как от самого Понзо.

Той ночью мы с Терри легли спать в нашей влажной от росы палатке, полной сладкого ночного воздуха. Я уже совсем засыпал, когда она спросила:

– Ты хочешь меня сейчас любить?

Я ответил:

– А как же Джонни?

– А что Джонни? Он спит. – Но Джонни не спал и ничего не сказал.

На следующий день парни приехали в своем навозном грузовике и сразу же отправились на поиски виски; потом вернулись и здорово повеселились в нашей палатке. Той ночью Понзо сказал, что слишком холодно, и остался спать у нас прямо на земле, завернувшись в большой кусок брезента, вонявший коровьими лепехами. Терри терпеть его не могла; она говорила, что Понзо водится с ее братом только затем, чтобы подлезть поближе к ней.

С нами не должно было произойти ничего, кроме голодной смерти, поэтому утром я пошел по окрестностям спрашивать, нельзя ли где устроиться собирать хлопок. Все отвечали, чтобы я шел на ферму через дорогу от лагеря. Я отправился туда; сам фермер сидел на кухне со своими женщинами. Он вышел, выслушал меня и предупредил, что платит только три доллара за сотню фунтов собранного хлопка. Я представил себе, как собираю в день по триста фунтов, по меньшей мере, и согласился. Из сарая он вытащил для меня какие-то длинные полотняные мешки и сказал, что сбор начинается на самой заре. Я в полном восторге рванул к Терри. По пути какой-то грузовик с виноградом подскочил на ухабе, и из него на горячий асфальт вылетели огромные грозди. Я подобрал их и принес домой. Терри была рада.

– Мы с Джонни пойдем с тобой и будем помогать.

– Еще чего! – фыркнул я. – Не бывать этому!

– Погоди, погоди, хлопок собирать очень трудно. Я тебе покажу.

Мы съели виноград, а вечером появился Рики с буханкой хлеба и фунтом бифштексов, и мы устроили себе пикник. В здоровой палатке рядом с нашей жила большая семья сезонных сборщиков хлопка: дедушка целыми днями сидел на стуле, он был уже слишком стар для работы; сын с дочкой и их дети каждое утро цепочкой переходили через дорогу на поле к моему фермеру и приступали к работе. На следующее утро я пошел с ними. Они сказали, что на заре хлопок тяжелее от росы, и можно заработать больше, чем днем. Они, однако, все равно работали весь день, от зари до зари. Их дед приехал из Небраски в тридцатых годах во время «великой чумы» – это была та же самая пылевая туча, о которой мне рассказывал монтанский ковбой, – со всем семейством в драндулете-грузовичке. С тех пор они так и живут в Калифорнии. Они любили работать. За десять лет сын старика увеличил число своего потомства до четверых, и некоторые из них уже достаточно подросли, чтобы

тоже собирать хлопок. За это время они преуспели: от жалкой нищеты на полях Саймона Легри до какого-то подобия респектабельности, улыбочивой от того, что теперь они жили в палатке получше – и всё. Они крайне гордились своей палаткой.

– А опять в Небраску собираетесь?

– Фи, что там делать? Нам трейлер надо купить, вот что.

Мы согнулись и стали собирать хлопок. Это было замечательно. На той стороне поля стояли палатки, а за ними снова тянулись, покуда хватало глаз, серо-коричневые сухие хлопковые поля – до бурых холмов, изрезанных пересохшими руслами, за которыми в голубом утреннем воздухе высилась увенчанная снежными шапками Сьерра. Это было гораздо лучше, чем мыть тарелки на южной Мэйн-Стрит! Но я совершенно не знал, как следует собирать хлопок. Я тратил слишком много времени на то, чтобы отделить белый клубок от хрусткой коробочки; остальные делали это одним неувлимым движением. Больше того – пальцы мои стали кровоточить; мне требовались перчатки или побольше опыта. Вместе с нами в поле вышла пара пожилых негров. Они собирали хлопок с тем же самым благословенным Господом терпением, какое было у их дедов в довоенной Алабаме; они ровно шли по своим рядкам, согбенные и тоскливые, и мешки у них неуклонно наполнялись. Начала болеть спина. Но все равно было восхитительно опускаться на колени и прятаться в этой земле. Если мне хотелось отдохнуть, я отдыхал, прижавшись лицом к подушке коричневой влажной почвы. Своим пением мне аккомпанировали птицы. Мне казалось, что я нашел себе работу на всю жизнь. Маша мне руками, через все поле жарким сонным полднем пришли Терри и Джонни и расположились рядом. Будь я проклят, если малыш Джонни не работал быстрее меня! – и Терри, разумеется, была раза в два проворнее. Они обгоняли меня и оставляли за собой кучки чистого хлопка, которые я должен был складывать себе в мешок: у Терри кучки были как у настоящих работников, а у Джонни – маленькие, детские. Я с тоской пихал хлопок в мешок. Что же я за старый дед, если не могу прокормить даже собственную задницу – не говоря уже о них? Они провели со мною весь день.

Когда солнце покраснело, мы поплелись домой вместе. На краю поля я выгрузил свою ношу на весы: пятьдесят фунтов, – и получил свои полтора доллара. У одного из сезонных пацанов я попросил велосипед и поехал по 99-му шоссе до гастронома на перекрестке, где купил несколько банок консервированных спагетти с тефтелями, хлеба, масла, кофе и пирог и вернулся с полной сумкой на руле. Мне навстречу на Л.А. неслись машины, а те, что направлялись в сторону Фриско, висели у меня на хвосте. Я не переставая матерился. Я возводил очи горе и молил Бога ниспослать мне лучшей доли в жизни, лучшего шанса сделать что-нибудь для тех маленьких людей, которых любил. Но оттуда никто не обращал на меня никакого внимания. Нашел, чего просить, тоже мне... Душу мою вернула обратно только Терри; на печке в палатке она разогрела еду, и это была самая замечательная еда в моей жизни – так голоден я был и так устал. Вздыхая будто старый негр-сборщик, я растянулся на кровати и закурил сигарету. В прохладной ночи лаяли собаки. Рики и Понзо уже перестали навещать нас по вечерам. Я был этим доволен. Рядышком свернулась калачиком Терри, на груди у меня сидел Джонни; они рисовали зверюшек в моей записной книжке. Огонь нашей палатки ярко светил на пугающем просторе равнины. В придорожном

кабаке блямкала ковбойская музыка и разносилась по всем полям, полная печали. Мне было нормально. Я поцеловал мою крошку, и мы погасили свет.

По утрам палатка прогибалась от росы; я вставал, брал полотенце и зубную щетку и шел умываться в общий туалет мотеля; потом возвращался, натягивал штаны, все уже порванные от стояния на коленях в земле, – Терри их штопала по вечерам, – напяливал на себя изломанную соломенную шляпу, раньше вообще-то служившую Джонни игрушкой, и шел через дорогу со своим полотняным мешком для хлопка.

Каждый день я зарабатывал примерно полтора доллара. Их как раз хватало на продукты, за которыми я ездил по вечерам на велосипеде. Дни катились один за другим. Я и думать забыл про Восток, про Дина с Карло, про эту чертову дорогу. Мы с Джонни все время играли; он любил, когда я подбрасывал его высоко в воздух и опускал на постель. Терри чинила одежду. Я стал человеком земли – именно им я и мечтал стать еще в Патерсоне. Говорили, что в Сабиналь вернулся муж Терри и теперь разыскивает меня; я был готов его встретить. Однажды ночью в придорожном кабаке разбушевались сезонники: они привязали кого-то к дереву и измесили палками насмерть. Я в это время спал и потом слышал только рассказы. Но с того времени всегда держал в палатке при себе здоровенную палку на тот случай, если им придет в голову, что мексиканцы поганят их лагерь. Они, конечно, думали, что я тоже мексиканец, в каком-то смысле я им и был.

Уже наступил октябрь, и ночи стали гораздо холоднее. У семьи сезонников была дровяная печка, и они собирались здесь зимовать. У нас же ничего не было, а кроме этого подходил срок платить за аренду палатки. После горьких раздумий мы с Терри решили, что придется уехать.

– Возвращайся к себе в семью, – сказал я. – Ради всего святого, ведь ты же не можешь шибаться по разным палаткам с таким малышом, как Джонни; бедняжка совсем замерз. – Терри заплакала, потому что я усомнился в ее материнских чувствах; я же совсем не это имел в виду. Когда однажды серым днем на своем грузовичке приехал Понзо, мы решили повидаться с ее семьей, прощупать обстановку. Но меня они не должны были видеть, поэтому я спрячусь на виноградниках. Мы поехали в Сабиналь; грузовик по пути сломался, и в тот же миг с неба хлынуло как из ведра. Мы, чертыхаясь, сидели в этом тарантасе. Понзо вылез наружу и чинил его прямо под дождем. Он, в конце концов, оказался хорошим парнем. Мы решили, что заслужили одну последнюю большую выпивку. Поэтому все отправились в замызганный бар в мексиканской слободке Сабиналя и целый час впитывали в себя пиво. Свою работу на хлопковом поле я уже закончил. Я чувствовал, как меня тянет к себе моя собственная жизнь. Через всю сушу я запулил тетке грошовую открытку и попросил еще пятьдесят долларов.

Мы поехали к фамильной хижине Терри. Хижина стояла на старой дороге, проходившей между виноградников. Когда мы до нее добрались, уже стемнело. Они высадили меня, не доезжая четверти мили, и подъехали к самым дверям. Изнутри лился свет; шестеро других братьев Терри играли на гитарах и пели. Старик пил вино. Пение заглушало крики и споры. Они называли ее шлюхой за то, что бросила своего раздолбая-мужа, уехала в Л.А., а Джонни оставила на них. Старик вопил. Но верх взяла печальная, толстая, смуглая мама, как это обычно бывает в больших семьях феллахов по всему миру, и Терри было позволено

вернуться домой. Братья быстренько начали петь веселые песни. Я съежился на холодном мокром ветру и наблюдал за всем этим из поникших октябрьских виноградников в долине. В голове у меня звучала эта великая песня Билли Холлидэй – «Любимый»; в кустах я устроил себе собственный концерт. «Ты слезы мне осушишь, любя, шепнешь в тишине: "Как я жил без тебя?.." Ты тоже встречи ждешь, к груди меня прижмешь, любимый, о где же ты?..» Дело даже не в словах, а в замечательной гармоничной мелодии и в том, как Билли поет – словно нежно перебирает волосы своего любимого в мягком свете лампы. Завывал ветер. Мне стало холодно.

Вернулись Терри и Понзо, и мы погромыхали в старом грузовике встречать Рики. Рики теперь жил с женщиной Понзо – Большой Розой; мы посигналили ему из грязного проулка. Большая Роза выкинула его вон. Все рушилось. Ту ночь мы провели в грузовике. Терри, конечно, крепко прижималась ко мне и просила, чтобы я не уезжал. Она говорила, что пойдет собирать виноград, и денег хватит нам обоим; а я в это время мог бы жить в сарае фермера Хеффельфингера, ниже по дороге от дома ее семьи. Мне ничего не придется делать – лишь весь день сидеть на травке и жевать виноград.

– Тебе нравится так?

Утром за нами в другом грузовике приехали ее двоюродные родственники. Я вдруг понял, что тысячи мексиканцев по всей округе знали про нас с Терри, и для них это, должно быть, служило сочной и романтической темой разговоров. Родственники были вежливы и по-настоящему обаятельны. Я стоял с ними в кузове, улыбался, говорил приятности, беседовал о том, как мы вели войну и с каким счетом. Всего их было пятеро, и все до единого – милы. Кажется, они принадлежали к другой ветви семейства, которая не суежилась так сильно, как ее брат. Впрочем, мне нравился этот дикий Рики. Он клялся, что придет ко мне в Нью-Йорк. Я представлял себе, как он там откладывает все дела до «маньяны». В тот день он пьяным валялся где-то в полях.

Я слез с грузовика на перекрестке, а родственники повезли Терри домой. От дверей они подали мне сигнал: отца с матерью нет дома, ушли собирать виноград. Поэтому в доме мне можно колбаситься весь день. Хижина состояла из четырех комнат; я не мог вообразить, как здесь размещается все семейство. Над раковиной жужжали мухи. На окнах не было ни жалюзи, ни чего-то другого – совсем как в песне: «Окно – оно разбито, и дождик хлещет внутрь». Терри уже была дома – возилась с горшками. Две ее сестры хихикали, разглядывая меня. На дороге вопили детишки.

Когда из туч моего последнего дня в долине проглянуло покрасневшее солнце, Терри повела меня к сараю фермера Хеффельфингера. У того была преуспевающая ферма выше по дороге. Мы составили вместе ящики, она принесла из дому одеял, и я теперь был устроен, если не считать огромного волосатого тарантула, затаившегося в самом высоком месте под крышей сарая. Терри сказала, что он мне ничего не сделает, если я не буду его трогать. Я лежал на спине и смотрел на него. Потом пошел на кладбище и влез там на дерево. На дереве я спел «Голубые небеса». Терри и Джонни сидели в траве; мы ели виноград. В Калифорнии из виноградины только выдавливаешь зубами сок, а шкурку выплевываешь – это настоящая роскошь. Опустились сумерки. Терри пошла домой ужинать и вернулась в сарай часов в девять с восхитительно вкусными тортильями и бобовым пюре.

На цементном полу сарая я развел костерок – для света. Мы занимались любовью на этих ящиках. Потом Терри встала и сразу побежала в хижину. Отец орал на нее; его было слышно аж из сарая. Чтобы я не замерз, она оставила мне плащ; я накинул его на плечи и при свете луны тайком пошел побродить по виноградникам, посмотреть, что происходит. Я прокрался в самый конец ряда и опустил на колени в теплую грязь. Пятеро, ее братьев мелодично пели по-испански. Над маленькой крышей клонились звезды; из трубы железной печурки столбом поднимался дымок. Пахло бобами и чили. Старик ворчал. Братья продолжали себе заливать дальше. Мать молчала. Джонни с другими детишками хихикали где-то в спальне. Калифорнийский дом; я прятался среди виноградных лоз и во все врубался. Я чувствовал себя миллионом долларов; у меня были приключения посреди сумасшедшей американской ночи.

Терри вышла, хлопнув за собой дверь. Я заговорил с ней прямо на темной дороге:

– Что случилось?

– Ох, мы все время ссоримся. Он хочет, чтобы я завтра же начала работать. Он говорит, что не хочет, чтобы я болталась без дела. Салли, я хочу поехать с тобой в Нью-Йорк.

– Но как?

– Не знаю, милый. Я буду скучать по тебе. Я люблю тебя.

– Но мне надо уезжать.

– Да, да. Мы приляжем еще разок, а потом поедешь. – Мы вернулись в сарай; я любил ее прямо под тарантулом. А что делал тарантул, интересно? Пока костерок гас, мы немного поспали на ящиках. Она ушла в полночь; ее отец был пьян; я слышал, как он ревел; потом, когда он заснул, наступила тишина. Над спящими окрестностями сомкнулись звезды.

Утром фермер Хеффельфингер просунул голову в ворота для лошадей и спросил:

– Ну, как твои дела, молодой человек? – Прекрасно. Ничего, что я тут у вас?

– На здоровье. Ты ходишь с этой мексиканской шлюшкой?

– Она очень хорошая девушка.

– И очень хорошенькая. Бык, наверное, прыгнул слишком далеко. У нее голубые глаза. – Мы немного поговорили о его ферме.

Терри принесла мне завтрак. Моя полотняная сумка уже была уложена, и я был готов ехать в Нью-Йорк, как только заберу свои деньги на почте в Сабинале. Я знал наверняка, что они там меня уже ждут. Я сказал Терри, что уезжаю. Она думала об этом всю ночь и смирилась. Без всяких чувств она поцеловала меня и пошла вниз по проходу между рядами лоз. Через десять шагов мы оба обернулись, потому что любовь – это дуэль, и посмотрели друг на друга в самый последний раз.

– Увидимся в Нью-Йорке, Терри, – сказал я. Через месяц они с братом собирались ехать в туда. Но мы оба знали, что ничего у нее не выйдет. Еще через сотню футов я обернулся и посмотрел ей вслед. Она просто шла назад к хижине и несла в одной руке тарелку из-под моего завтрака. Я склонил голову и смотрел, как она уходит. Ну вот, чувачище, вот ты и снова на дороге.

По шоссе я дошел до Сабиналя, грызя грецкие орехи, которые срывал прямо с деревьев. Потом пошел по узкоколейке, балансируя на рельсе. Миновал водокачку и фабрику. Здесь был конец чего-то. Я зашел на станционный телеграф получить свой перевод из Нью-Йорка.

Там было закрыто. Я выматерился и сел на ступеньки ждать. Вернулся кассир и пригласил меня вовнутрь. Деньги пришли: тетка снова спасла мой ленивый зад.

– Кто выиграет Первенство Мира на следующий год? – спросил меня пожилой тощий кассир. Я вдруг понял, что уже осень, и что я возвращаюсь в Нью-Йорк.

В долгом печальном октябрьском свете этой долины я пошел по путям, надеясь, что меня нагонит какой-нибудь товарняк, и я влезу к этим хобо, и буду жевать вместе с ними виноград и разглядывать комиксы в газетах. Он так меня и не нагнал. Я вышел на шоссе и сразу же сел в машину. Это был самый быстрый и захватывающий перегон в моей жизни. Водитель был скрипачом в калифорнийской ковбойской команде. У него была совершенно новенькая машина, и он делал на ней восемьдесят миль в час.

– Я не пью за рулем, – сказал он и протянул мне пинту. Я отхлебнул и предложил ему. – А-а, какого черта? – решил он и тоже выпил. Из Сабиналя в Лос-Анжелес мы пригнали за поразительных четыре часа – а ведь это 250 миль. Он высадил меня прямо перед «Коламбия Пикчерз» в Голливуде: я как раз успевал забежать и забрать отвергнутую сценарную разработку. Потом купил себе билет на автобус до Питтсбурга. До самого Нью-Йорка мне просто не хватало. Но я решил, что буду беспокоиться об этом, когда доберусь до Питтсбурга.

Автобус отходил в десять, поэтому у меня оставалось еще четыре часа – побродить в одиночестве по Голливуду. Сперва я купил буханку хлеба, салями и сделал себе десяток бутербродов, чтобы протянуть через всю страну. У меня оставался доллар. Я сидел на цементном бордюрике за голливудской автостоянкой и готовил бутерброды. Пока я занимался выполнением столь абсурдной задачи, все небо пронзили большие огни голливудской премьеры – это гудящее от напряжения небо Западного Побережья. Меня обволакивали шумы сумасшедшего города на золотом берегу. Вот вся моя голливудская карьера – это мой последний вечер в Голливуде, а я мажу горчицей хлеб у себя на коленях, сидя за сортиром на автостоянке.

На рассвете мой автобус мчался по аризонской пустыне – Индио, Блайт, Салома (где она танцевала); бескрайние сухие пространства тянулись на юг по самым мексиканским гор. Потом мы резко повернули к горам Аризоны – Флагстафф, городки над обрывами. У меня с собой была книжка, которую я стянул с прилавка в Голливуде – «Большой Мольн» Алена-Фурнье, но мне все равно больше нравилось читать американский пейзаж за окном. Каждый бугорок, каждый подъем, каждый просвет придавали моей тяге к ним какую-то загадочность. Чернильной ночью мы пересекли Нью-Мексико; на серой заре уже были в Далхарте, Техас; выцветшим воскресным днем один за другим пересчитывали плоские городки в Оклахоме; с наступлением ночи вокруг уже стелился Канзас. Автобус ревел. Стоял октябрь, и я возвращался домой. В октябре все возвращаются домой.

В Сент-Луис мы прибыли в полдень. Я прогулялся по берегу Миссиссиппи, поглядел на бревна, что сплавляли с севера, из Монтаны – величественные бревна одиссеи нашей континентальной мечты. Старенькие пароходики, более изрезанные, чем намеревался плотник, украшавший их резьбой, и иссушенные непогодой, глубоко сидели в жидкой грязи, кишевшей крысами. Над долиной Миссиссиппи высились громадные полуденные облака. Той ночью автобус с ревом несся по кукурузным полям Индианы; луна призрачно освещала собранные гурты; День Всех Святых уже совсем близко. Я познакомился с девушкой, и мы обнимались с нею всю дорогу до Индианаполиса. Она была близорука. Когда мы вылезли поесть, мне пришлось за руку вести ее к раздаче. Она заплатила за меня; все мои бутерброды уже кончились. За это я рассказывал ей нескончаемые истории. Она ехала из штата Вашингтон, где все лето собирала яблоки. А жила на ферме, на севере штата Нью-Йорк. Она пригласила меня приехать к ней туда. Мы все равно сбили с ней стрелку в нью-йоркской гостинице. Вышла она в Колумбусе, Огайо, а я всю дорогу до Питтсбурга проспал. Никогда так не уставал за последние годы. Мне еще предстояло ехать стопом до Нью-Йорка триста шестьдесят пять миль, а в кармане оставалось десять центов. Чтобы выбраться из Питтсбурга, я прошел пять миль и за два перегона – на грузовике с яблоками и в большом трейлере – мягкой дождливой ночью индейского лета добрался до Гаррисбурга. Я срезал углы напропалую. Мне хотелось скорее попасть домой.

В ту ночь я встретил Саскуиханнского Призрака. Призрак был усохшим старичком с бумажным пакетом в руках: он утверждал, что направляется в «Канадию». Скомандовав мне следовать за ним, он пошел очень быстро и сказал, что впереди есть мост, по которому можно перейти на ту сторону. Ему было под шестьдесят; он трещал, не умолкая, – о еде, которую ел, о том, сколько масла ему дали к блинчикам, сколько кусков хлеба, как старики позвали его с крылечка дома для престарелых в Мэриленде и пригласили пожить у них в субботу и воскресенье, как перед уходом он хорошо помылся в теплой ванне, как он нашел на обочине в Виргинии совсем новенькую шляпу, которая сейчас красуется у него на голове, как он заходил в каждое отделение Красного Креста в городе и показывал им свои документы участника Первой Мировой войны, о том, почему Красный Крест в Гаррисбурге недостоин своего названия, и как он сам ухитряется прожить в этом трудном мире. Насколько я понял, это был просто такой полуреспектабельный хобо, который бродит пешком по всей Восточной Глубинке, заходя во все конторы Красного Креста и иногда

побираясь на углу в центре какого-нибудь городишки. Мы с ним оба были бродягами. Мы прошли миль семь вдоль скорбной Саскуиханны. Эта река вселяет ужас. По обеим сторонам там высятся утесы, заросшие кустарником, – будто мохнатые привидения склоняются над неведомыми водами. Чернильная ночь обволакивает все вокруг. Иногда из депо на другой стороне реки небо озаряется вспышкой из топки локомотива, которая освещает эти жуткие утесы. Человечек сказал, что у него в пакете есть очень красивый ремень, и мы остановились, чтобы он смог его оттуда выудить.

– Здесь у меня где-то есть красивый ремешок... достал во Фредерике, штат Мэриленд. Черт, неужели я его оставил на прилавке во Фредериксбурге?

– В смысле – во Фредерике?

– Нет-нет, во Фредериксбурге, штат Виргиния! – Он постоянно говорил о Фредерике, штат Мэриленд, и Фредериксбурге, штат Виргиния. Он шел по самой дороге, напрямик в зубы встречному движению, и несколько раз его чуть не сбили. Я трюхал по обочине, в канаве. В любую минуту бедный маленький безумец мог мертвым прилететь ко мне. Мы так и не нашли этот его мост. Я оставил его под железнодорожным переездом; там же сменил рубашку и надел два свитера – я был весь потный после такой пробежки; мои прискорбные труды освещались огнями придорожного кабака. По темной дороге прошествовало целое семейство: они спросили, что это я такое делаю. Что самое странное – в этой пенсильванской крестовне тенор-сакс выдувал очень клевый блюз; я слушал его и стонал сквозь зубы. Дождь припустил сильнее. Какой-то человек снова подвез меня до Гаррисбурга, сказав, что я вышел не на ту дорогу. Я вдруг увидел, как под грустным фонарным столбом стоит мой маленький хобо, вытянув вперед руку о отставленном большим пальцем; бедолага, жалкий, потерявшийся бывший мальчишка, а теперь – надломленный призрак в глухомани, где невозможно отыскать ни пенни. Я рассказал о нем водителю, и тот остановился и сказал старику:

– Эй, приятель, послушай, ты сейчас идешь на запад, а не на восток.

– Чего? – переспросил маленький призрак. – Ты что, хочешь сказать, что я не знаю здесь дороги? Я в этих местах хожу уже много лет. Я иду в Канадию.

– Так это дорога не в Канаду, это дорога на Питтсбург и Чикаго. – Человечек разозлился на нас и ушел. Последнее, что я видел, – это как на ходу, подскакивая, растворяется во тьме скорбных Аллегений белое пятнышко его пакета.

Я считал, что вся глубинка Америки лежит на Западе, до тех пор, пока Саскуиханнский Призрак не показал мне, что это не так. Нет, на Востоке тоже есть Глубинка: та же самая, по которой в повозке, запряженной быками, таскался Бен Франклин в те дни, когда служил почтмейстером, та же самая, какой была, когда Джордж Вашингтон без удержу сражался с индейцами, когда Дэниел Бун рассказывал сказки под лампами Пенсильвании и обещал отыскать Проход, когда Брэдфорд проложил свою дорогу, и люди буйно отмечали это событие в своих бревенчатых хижинах. Для маленького человека нет огромных пространств Аризоны, а есть лишь заросшая кустами глухомань восточной Пенсильвании, Мэриленда и Виргинии, задворки, проселки и асфальтированные дороги, вьющиеся между скорбных рек вроде Саскуиханны, Мононгахелы, старого Потомака и Монокаки.

Ту ночь в Гаррисбурге мне пришлось провести на вокзальной скамейке; на рассвете служители вышвырнули меня вон. Ну не истинно ли, что начинаешь жизнь славным ребеночком, верящим во все, что происходит под крышей отчего дома? А потом наступает день Лаодицей, когда узнаёшь, что ты сир, убог, нищ, слеп и наг, и с харей отвратительного недовольного призрака ты, содрогаясь, отправляешься бродить по кошмару жизни.

Измученный, я вывалился из здания вокзала: держать себя в руках я больше не мог. Вместо утра я видел перед собою только какую-то белизну – белизну могилы. Я проголодался до смерти. Все, что у меня осталось в смысле калорий, – капли от кашля, которые я покупал много месяцев назад еще в Шелтоне, Небраска; я их потихоньку сосал, потому что в них был сахар. Просить милостыню я не умел. Спотыкаясь, я выбрался из города – сил у меня едва оставалось на то, чтобы добрести до окраины. Я был уверен, что если проведу еще хоть ночь в Гаррисбурге, меня арестуют. Проклятый город! В конце концов, меня посадил к себе изможденного вида костлявый мужик, который верил в пользу управляемого голодания. Когда, уже катясь на восток, я сказал ему, что умираю от голода, он ответил: – Прекрасно, прекрасно, лучшего тебе и не нужно. Я сам три дня не ел. И доживу до ста пятидесяти лет. – Это был просто маньяк какой-то, мешок с костями, разболтанная кукла, сломанная палка. Лучше бы уж я поехал с каким-нибудь толстяком, задыхающимся от жира, – но он сказал бы мне: «Давай-ка остановимся у этого ресторана и поедем свинных отбивных с бобами». Так нет же, именно сегодня меня угораздило сесть к этому маньяку, который верит в лечебное голодание. Через сотню миль он, правда, подобрел и откуда-то сзади извлек хлеб с маслом. Бутерброды были спрятаны среди образцов его товара. Он торговал по всей Пенсильвании кранами и прочей водопроводной ерундой. Его хлеб с маслом я сожрал. А потом вдруг начал смеяться. Я сидел в машине один, пока он в Аллентауне ходил звонить по делу, и хохотал. Боже, как мне осточертела жизнь. Но этот псих привез меня домой, в Нью-Йорк.

Я вдруг очутился на Таймс-Сквер. Я пропутешествовал по всему Американскому Континенту восемь тысяч миль и теперь снова стоял на Таймс-Сквер; и к тому же – прямо в самой середине часа пик, глядя своими невинными, привыкшими к дороге глазами на абсолютное безумие и фантастическую суматоху Нью-Йорка с его миллионами и миллионами вечного жулья, что крутится ради лишнего доллара среди таких же, как и они сами, с их безумной мечтой – хапать, хватать, давать, вздыхать, подышать – с тем, чтобы потом их похоронили в этих ужасных кладбищенских городищах за Городом на Лонг-Айленде. Высокие башни земли – другого края земли, того места, где родилась Бумажная Америка. Я стоял у входа в подземку, пытаюсь собрать в кулак достаточно мужества, чтобы поднять прекрасный длинный бычок, но лишь стоило мне нагнуться, как мимо пронеслись толпы народу и закрывали его от меня. Наконец, его раздавили. Чтобы поехать домой автобусом, у меня не было денег. Патерсон довольно далеко от Таймс-Сквер. Вы можете себе представить, как я пешком иду в Нью-Джерси – эти последние мили по Линкольн-Тоннелю или по мосту Вашингтона? Темнело. Где Хассел? Я пошарил по площади: Хассела здесь не было, он сидел за решеткой на острове Рикера. Где Дин? Где все? Где жизнь? У меня был свой дом, куда можно вернуться, место, чтобы преклонить голову, подсчитать потери и прикинуть приобретения – я знал, что и они тоже где-то были. Пришлось

поклонить четверть доллара на автобус. Я наткнулся на греческого священника, стоявшего аа углом. Нервно глядя вбок, тот сунул мне двадцать пять центов и незамедлительно дернул к своему автобусу.

Когда я добрался до дому, то съел все, что было в леднике. Тетка встала и посмотрела на меня.

– Бедный маленький Сальваторе, – сказала она по-итальянски. – Ты исхудал, исхудал. Где же ты был все это время? – На меня было надето две рубашки и два свитера; в полотняной сумке лежали изодранные штаны с хлопковых полей и разбитые остатки башмаков-гуарачей. На те деньги, что я посылал тетке из Калифорнии, мы решили купить новый электрический холодильник – во всей нашей семье это был бы первый. Она легла спать, а я не мог уснуть допоздна и просто курил в постели. На столе лежала моя полузаконченная рукопись. Октябрь, дом и работа снова. Первые холодные ветры громыхали в оконное стекло – я успел как раз вовремя. Ко мне домой приходил Дин, несколько раз ночевал здесь, дожидаясь меня; целыми днями беседовал с теткой, пока та трудилась над большим лоскутным ковром, сотканным из одежды всего семейства, накопившейся за много лет, – теперь он был завершен и постелен на пол у меня в спальне, такой же сложный и богатый, как само течение времени; а потом Дин ушел – всего за два дня до моего возвращения, уехал в Сан-Франциско, и дороги наши, возможно. Пересеклись где-нибудь в Пенсильвании или в Огайо. У него там была своя жизнь: Камилла только что получила квартиру. Мне так и не пришло в голову поискать ее, пока я жил в Милл-Сити. Теперь было уже слишком поздно, и с Дином мы тоже разминулись.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прошло больше года, прежде чем я увидел Дина снова. Все это время я сидел дома, окончил книгу и пошел учиться как демобилизовавшийся из армии, по новому Биллю о Правах. На Рождество 1948 года мы с тетушкой, нагрузившись подарками, отправились в Виргинию навестить моего брата. Дину я писал, и он мне ответил, что снова собирается на Восток; а я сказал ему, что если так, то между Рождеством и Новым Годом он сможет меня найти в Тестаменте, штат Виргиния. И вот однажды, когда вся наша южная родня сидела в тестаментской гостиной – все такие сухопарые мужчины и женщины с глазами, в которых виднеется вечный южный чернозем, – и тихими жалобными голосами переговаривалась о погоде, об урожае, пускаясь во всякие утомительные перечисления: у кого кто родился, у кого новый дом и так далее, – перед домом на грунтовой обочине остановился заляпанный грязью «гудзон-49». Я понятия не имел, кто это может быть. На крыльцо устало поднялся молодой парень, мускулистый и обтрепанный, одетый в майку, небритый, с покрасневшими глазами, и позвонил. Я открыл ему и вдруг понял, что это Дин. Он приехал из самого Сан-Франциско прямо к дверям моего брата Рокко в Виргинию, причем за поразительно короткое время, потому что свое последнее письмо с инструкциями, где меня искать, я отправлял ему совсем недавно. В машине можно было разглядеть еще две спящие фигуры.

– Вот дьявольщина! Дин! А кто еще там в машине?

– При-вет, при-вет, чувак, там Мэрилу с Эдом Данкелем. Нам надо где-то немедленно помыться, мы устали, как собаки.

– Но как же вы сюда так быстро доехали?

– Эх, если б ты знал, как этот «гудзон» летает!

– Где ты его взял?

– Купил на сбережения. Я работал на железной дороге и зашибал в месяц по четыре сотни. На весь следующий час в доме воцарилась полнейшая неразбериха. Моя южная родня не соображала ни что происходит, ни кто такие Дин, Мэрилу и Эд Данкель: они просто тупо пялились на нас. Тетушка и братец Роки отправились совещаться на кухню. Всего в этом южном домишке находилось теперь одиннадцать человек. Мало того, брат как раз решил из этого дома съезжать, и половину всей его мебели уже вывезли: они с женой и ребенком перебирались поближе к самому городку Тестамент. Они купили себе в гостиную новый гарнитур, а старый должен был переехать домой к моей тетке в Патерсон, хотя мы еще не решили, как именно это сделаем. Когда Дин услышал о переезде, то немедленно предложил свои услуги и свой «гудзон». Мы с ним вдвоем бы перевезли всю мебель в Патерсон за две быстрых ездки, а во второй раз аахватили бы с собой и тетушку. Это сэкономил бы нам кучу денег и уберегло от лишних хлопот. На том и порешили. Моя невестка накрыла на стол, и трое потасканных путешественников уселись есть. Мэрилу не спала с самого Денвера. Сейчас она казалась мне старше и еще красивее.

Я узнал, что Дин жил счастливо с Камиллой в Сан-Франциско с той самой осени 1947 года; он устроился на железную дорогу и стал хорошо зарабатывать. У них родилась миленькая малышка Эми Мориарти. А потом как-то раз он шел по улице, и у него съехала крыша. Он увидел, что продается этот самый «гудзон-49», и рванул в банк снимать все свои бабки. Купил он его не глядя. С ним был Эд Данкель. Теперь у них не осталось ни гроша. Дин

утихомирил страхи Камиллы и сказал, что вернется через месяц:

– Я поеду в Нью-Йорк и привезу с собой Сала.

Ей такая перспектива не слишком-то понравилась.

– Но зачем это все? Почему ты со мной так поступаешь?

– Ничего, ничего, дорогая, э-э... кхм... Сал так просил и умолял, чтобы я приехал и забрал его, и мне совершенно необходимо... ну, не будем же мы с тобой сейчас пускаться во все эти объяснения – но я скажу тебе, почему... Нет, послушай, я скажу, почему. – И он сказал ей, почему, и, конечно же, смысла никакого в этом не было.

Здоровый длинный Эд Данкель тоже работал на железной дороге. Они с Дином, то есть, ничего пока не делали, потому что все экипажи значительно сокращали, и надо было дать поработать тем, кто постарше. Эд познакомился с девчонкой по имени Галатеея, она жила в Сан-Франциско на свои сбережения. И вот два этих безмозглых скота решили прихватить девчонку с собой на Восток, чтобы та за них платила. Эд ее и убалтывал, и умолял; та ни в какую не соглашалась, пока он на ней не женится. За несколько суматошных дней Эд Данкель женился на Галатеее, причем Дин бегал и доставал все необходимые бумаги, и за пару дней до Рождества они выкатились из Сан-Франциско в сторону Л.А. на семидесяти в час по бесснежной южной дороге. В Л.А. они выбрали в бюро путешествий какого-то моряка и взяли его с собой за то, что тот купил им бензина на пятнадцать долларов. Он ехал в Индиану. Еще они выбрали женщину с умственно-отсталой дочерью до Аризоны за четыре доллара на бензин. Дин посадил дочь-идiotку рядом с собой на переднее сиденье; он врубился в нее и потом мне говорил:

– Все путем, чувак! Такая маленькая – и уже такая оторва. Мы с нею всю дорогу болтали – про пожары, и про то, как пустыня превращается в рай, и про ее попугая, который ругается по-испански.

Высадив этих пассажиров, они поехали в Тусон. Всю дорогу Галатеея Данкель, новая жена Эда, не переставала канючить, что она устала, что она хочет спать в мотеле. Если бы такое продолжалось и дальше, они бы истратили все ее деньги задолго до Виргинии. Две ночи она вынуждала их останавливаться и выбрасывала на ветер целые десятки за номера. Когда они доехали до Тусона, она обанкротилась совсем. Дин с Эдом слиняли от нее в вестибюле гостиницы и поехали дальше одни, вместе с моряком и без всяких угрызений совести.

Эд Данкель был высоким спокойным парнем, который никогда много не размышлял и был полностью готов сделать все, о чем бы Дин его ни попросил; а в ту пору Дин был слишком занят, чтобы размениваться по мелочам. Он с ревом проносился по Лас-Крусесу, Нью-Мексико, когда на него вдруг нашло взрывное желание повидать свою первую женушку Мэрилу. Та жила в Денвере. Он развернул машину на север, невзирая на хилые протесты моряка, и под вечер влетел в Денвер. Побегал по округе и нашел свою Мэрилу в гостинице. Десять часов они дико занимались любовью. Все снова решилось: они остаются вместе, Мэрилу – единственная девчонка, которую Дин по-настоящему когда-либо любил. Ему просто худо стало от раскаянья, когда он снова увидел ее лицо, – как и прежде, он валялся у нее в ногах и умолял о радостях ее бытия. Она Дина поняла; она гладила его по волосам; она знала, что тот полоумный. Чтобы ублажить моряка, Дин свел его с какой-то девчонкой в номере над баром, где постоянно пьянствовала вся старая бильярдная тусовка. Но моряк

девчонку послал и на самом деле свалил куда-то в ночь, и они его больше никогда не видели: очевидно, уехал в свою Индиану автобусом.

Дин, Мэрилу и Эд Данкель с ревом понеслись по Колфаксу на восток и дальше, по канзасским равнинам. На них обрушились мощные бураны. Ночью в Миссури Дину приходилось ехать, высунувшись наружу, обмотав голову шарфом и нацепив лыжные очки, которые делали его похожим на монаха, что всматривается в снежные манускрипты: ветровые стекла покрывала дюймовая корка льда. Он ехал по родной земле своих предков, даже не задумываясь об этом. Утром машину занесло на обледеневшем склоне, и они грохнулись в кювет. Какой-то фермер предложил их вытащить. Они свернули с дороги, подобрав автостопщика, который пообещал им доллар, если они довезут его до Мемфиса. В Мемфисе он зашел к себе домой, послонялся там в поисках этого самого доллара, потом напился и сказал, что не может его найти. Они поехали через Теннесси дальше; после аварии их подшипники слегка побились. До этого Дин выжимал девяносто; теперь же приходилось постоянно держаться семидесяти, или весь двигатель просто зажужжал бы под откос. Они умудрились перевалить через Большие Туманные Горы зимой. Когда они подъехали к дверям моего брата, то ничего не ели уже больше суток – если не считать карамелек и сырных крекеров.

И вот все поглощали еду, а Дин с бутербродом в руке то склонялся, то прыгал перед большим фонографом, слушая пластинку с диким бопом, которую я только что купил: она называлась «Охота», и Декстер Гордон с Уорделлом Грэем давали там такой копоты перед вопившей аудиторией, что пластинка звучала фантастически безумно. Южная родня только переглядывалась да в ужасе качала головами.

– И что это за друзья у Сала? – спросили они у моего брата. Тот и сам не знал, что им на это сказать. Южане вообще не переваривают никакого сумасбродства, а в особенности – как у Дина. Он же не обращал на них ни малейшего внимания. Сумасбродство в Дине расцвело довольно зловещим цветочком. Даже я себе этого не представлял, пока он, я, Мэрилу и Данкель не вышли из дому, чтобы немножко «обкатать "гудзон"», и вот тогда мы впервые остались одни и могли говорить, о чем хотели. Дин схватился за руль, переключился на вторую, на минуту задумался на ходу, а потом, кажется, вдруг на что-то решился и рванул на полной скорости прямо по дороге, весь охваченный яростью своего решения.

– Ну, ладно, детки, – сказал он, почесывая нос и подавшись в напряжении вперед, вытаскивая из бардачка сигареты и раскачиваясь при этом взад и вперед на полном ходу: – Пришло время решить, что мы будем делать всю следующую неделю. Это существенно, существенно. Кгхм! – Он увернулся от фургона с впряженным мулом: внутри трясся старый негр. – Да! – завопил Дин. – Да! Врубитесь в него! Только прикиньте его душу – давайте чуть-чуть остановимся и прикинем. – И он сбавил скорость, чтобы мы все могли обернуться и посмотреть на этого черного старикана, который кряхтел себе по дороге. – Да-да, вы только врубитесь в него хорошенько: что там у него за мысли в башке – я бы свою последнюю руку отдал за то, чтобы это узнать; вот бы влезть к нему внутрь и посмотреть, о чем этот бедный олух размышляет, – спорим, про то, какова редька уродилась, да про колбасу. Сал, ты этого не знаешь, но я как-то целый год жил с одним фермером в

Арканзасе, когда мне было лет одиннадцать. Он меня жутко работать заставлял, однажды я даже свежевал дохлую лошадь. В Арканзасе не был с Рождества сорок третьего – вот уже пять лет, как за нами с Беном Гэвином гонялся мужик с ружьем, у которого мы машину пытались увести; я все это тебе говорю, чтобы ты понял, что про Юг я могу кой-чего порассказать. Я это дело знаю – в том смысле, чувак, что в Юг я врубаюсь, я его знаю вдоль и поперек – и врубался в твои письма про него. Вот так-то вот, – сказал он, утихая и почти совсем остановив машину, но вдруг снова дернул с места под семьдесят и сгорбился над баранкой. Не отрываясь, он глядел перед собой. Мэрилу безмятежно улыбалась. Это был новый и законченный Дин, уже возмужавший. Я сказал себе: Боже мой, он изменился. Ярость выплескивалась у него из глаз, когда он рассказывал о вещах, которые ненавидел; она сменялась великим сиянием радости, когда он вдруг становился счастлив; каждый мускул его подергивался в нетерпении жить и двигаться.

– Ох, что бы я мог тебе порассказать, чувак, – говорил он, тыча меня в бок. – Чувак, мы просто абсолютно должны найти время... Что случилось с Карло? Мы все поедem к нему, дорогие мои, вот завтра же и поедem. Ну, Мэрилу, сейчас надыбаем себе кусок хлеба с мясом на обед в Нью-Йорк. Сколько у тебя денег, Сал? Мы всё сложим назад, всю мебель миссис П., а сами усядемся плотненько спереди и будем рассказывать друг другу всякие штуки, куда будем гнать в Нью-Йорк. Ты, Мэрилу, попочка, сядешь рядом со мною, потом Сал, потом Эд, у окна, большой Эд будет спасать нас от сквозняков, на сей раз посредством своего халата. А после этого не жизнь у нас начнется, а малина, потому что время уже пришло, а мы все знаем, что такое время! – Он яростно поскреб подбородок, вильнул машиной вбок, обогнал три грузовика подряд и ворвался в центр Тестаменты, шаря глазами по сторонам и подмечая все в радиусе 130 градусов, даже не поворачивая головы. Бах – и вот он нашел стоянку, не успели мы и глазом моргнуть, и вот мы уже стоим у тротуара. Он выпрыгнул из машины. Яростно суетнулся в здание вокзала; мы покорно шли следом. Купил сигарет. В своих движениях он стал совершенно безумен: казалось, он делает все сразу и одновременно. Именно так он тряс головой – вверх, вниз и немного вбок; так дергались его сильные руки, так быстро он ходил, садился, закидывал ногу на ногу, вставал, потирал руки, поддергивал штаны, поднимал глаза и говорил: «Э-м,» – и внезапно сощурился, чтобы увидеть все и везде; и все это время пихал меня под ребра и говорил, говорил.

В Тестаменте было очень холодно; раньше обычного выпал снег. Дин стоял посреди длинной мрачной главной улицы, что тянулась параллельно железной дороге, одетый лишь в майку и полуспущенные штаны с расстегнутым ремнем, как будто хотел их снять вообще. Потом он подошел и просунул голову внутрь, чтобы сказать что-то Мэрилу; потом попятился, всплеснув перед нею ладонями:

– О да, я знаю! Я же тебя знаю, дорогая! – Смеялся он как шиза: смех начинался низко и заканчивался высоко, будто смех у маньяков в радиоспектаклях, только у Дина он звучал быстрее и больше походил на хихиканье. После этого Дин всегда начинал говорить деловым тоном. Нам незачем было приезжать в центр, но он нашел причины. Он заставил суетиться нас всех – Мэрилу отправил за продуктами на обед, меня за газетой, чтобы разузнать прогноз погоды, Эда за сигарами. Дин обожал курить сигары. Он курил сигару над развернутой газетой и говорил:

– Э-э, наши святейшие американские грязнули в Вашингтоне планируют нам даль-ней-шие неудобства... э-кхем!.. о! – оп! оп! – Тут он подскочил и бросился посмотреть вслед цветной девушке, которая только что прошла мимо вокзала. – Врубайтесь, – произнес он, вяло подняв палец и медленно расплываясь в дурацкой ухмылке, – вот так четкая милашка. Эх! Хмм! – Мы сели в машину и полетели обратно к дому моего брата.

Мое Рождество в этой деревне проходило спокойно, насколько я понял, когда мы вернулись домой, и я увидел новогоднюю елку, подарки, услышал запах жареной индейки и разговоры родственников, – но теперь уж в меня снова вселился бес, и имя этого беса было Дин Мориарти, и я рвался на новый виток по дороге.

2

Мы уложили братнину мебель на заднее сиденье и выехали в темноте, пообещав вернуться через тридцать часов, – за тридцать часов тысячу миль на север и обратно. Дин хотел сделать именно так. Это была крутая поездка, но никто из нас этого не заметил; обогреватель не работал, поэтому ветровое стекло запотело и обледенело; разогнав машину до семидесяти, Дин то и дело высовывался и протирал его тряпкой, очищая дырку, чтобы видеть дорогу:

– Ах, святая дырка!

В его просторном «гудзоне» места было достаточно, чтобы мы все вчетвером спокойно сидели впереди. Колени себе мы укрыли одеялом. Радио не работало. Машина была совершенно новой всего пять дней тому назад, когда ее только купили, а теперь она вся разваливалась. К тому же, за нее был выплачен лишь первый взнос. Так мы ехали на север, в Вашингтон, по 301-му шоссе, прямому и двухрядному, и кроме нас на нем почти никого не было. А Дин все говорил – остальные молчали. Он яростно жестикулировал, чтобы что-нибудь подчеркнуть: иногда перегибался так далеко, что доставал аж до меня, а иногда вообще убирал руки от руля, и все же машина летела прямо вперед как стрела, ни на дюйм не отклоняясь от белой полосы на середине дороги, что разворачивалась, целуя нашу левую переднюю шину.

Дина заставил приехать совершенно бессмысленный набор обстоятельств, и, сходным же образом, я отправился с ним тоже «нипочему». В Нью-Йорке я ходил себе в школу, волочился за девушкой по имени Люсиль – прекрасной итальяночкой с волосами медового цвета, на которой в самом деле собирался жениться. Все эти годы я искал женщину, на которой хотел бы жениться. Я не мог встречаться с девушкой, не задавая себе вопроса: А какой женой она станет? Я рассказал Дину и Мэрилу о Люсиль. Мэрилу хотела узнать про нее все, хотела с нею познакомиться. Мы неслись сквозь Ричмонд, Вашингтон, Балтимор наверх, к Филадельфии по извилистой трассе и разговаривали.

– Я хочу жениться на одной девушке, – говорил я им, – затем, чтобы с нею можно было отдыхать душой, пока мы оба не состаримся. Ведь это не может продолжаться все время – все эти безумства, все эти метания. Мы должны куда-то идти, что-то отыскать.

– Ай, да брось ты, чувак, – сказал Дин. – Я врубался в тебя много лет – по части «дома», «семьи» и всех этих тонких и чудесных штук у тебя в душе. – Это была печальная ночь; но она была еще и веселой ночью. В Филадельфии мы зашли в павильон купить себе гамбургеров на наш последний доллар. Продавец за прилавком – а было три часа ночи – услышал, как мы говорим о деньгах и предложил нам гамбургеры бесплатно, и кофе впридачу, если мы согласимся втиснуться к нему в подсобку и помыть тарелки, поскольку его постоянный работник не пришел. Мы аж подпрыгнули. Эд Данкель сказал, что он старый ловец жемчуга, и засунул свои длинные ручищи в бак с тарелками. Дин стоял с полотенцем и лыбился, как влюбленный теленок, Мэрилу – тоже. Все закончилось тем, что они начали обниматься посреди всех этих кастрюль и сковородок; потом скрылись в темном уголке кладовки. Продавца это не колыхало, коль скоро мы с Эдом мыли посуду. Мы все сделали за пятнадцать минут. Когда начало светать, мы уже мчались сквозь Нью-Джерси, а перед нами, в заснеженной дали поднималась огромная туча Метрополии Нью-Йорк. Дин намотал

на голову свитер, закрыв уши, чтобы не отмерзли. Он оказал, что мы – банда арабов, которые едут взрывать столицу. Мы просвистели сквозь Линкольн-Тоннель и подъехали к Таймс-Сквер: Мэрилу хотелось поглядеть на нее.

– О черт, хорошо бы найти Хассела. Вы смотрите хорошенько, может, увидите. – Мы прочесывали взглядом тротуары. – Старый добрый клевый Хассел. Видел бы ты его в Техасе.

Вот так Дин проехал около четырех тысяч миль из Фриско через Аризону с заездом в Денвер всего за каких-то четыре дня, куда втиснулись бесчисленные приключения, и это было только начало.

Мы приехали ко мне домой в Патерсон и уснули. Первым проснулся я; день уже клонился к вечеру. Дин с Мэрилу спали у меня на кровати, мы с Эдом – на постели моей тетушки. Побитый расстегнутый чемодан Дина распластался на полу, и с него свисали носки. Из аптеки внизу позвали к телефону. Я сбежал по лестнице: звонили из Нового Орлеана. Это был Старый Бык Ли, который туда переехал. Старый Бык Ли хныкал своим пронзительным голосом. Похоже, что к нему домой только что заявила девушка по имени Галатhea Данкель – в поисках парня по имени Эд Данкель; Бык не имел ни малейшего понятия, что это за люди. Галатhea Данкель проигрывала цепко. Я сказал Быку, чтобы он успокоил ее насчет того, что Данкель – с Дином и со мной, и что вероятнее всего мы подберем ее в Новом Орлеане на обратном пути к Побережью. Потом со мною по телефону поговорила сама девушка. Она хотела знать, как там Эд. Она была совершенно обеспокоена его счастьем.

– Как вы добрались из Тусона в Новый Орлеан? – спросил я. Она ответила, что послала домой телеграмму, ей выслали денег, и она поехала автобусом. Она была полна решимости догнать Эда во что бы то ни стало, потому что любила его. Я поднялся наверх и все рассказал Большому Эду. Тот сидел в кресле с очень встревоженным видом – ангел, а не человек, на самом деле.

– Ну, ладно, – сказал Дин, внезапно проснувшись и выпрыгнув из постели, – нам надо поесть – и немедленно. Мэрилу, пошебурши-ка на кухне, посмотри, что там есть. Сал, мы с тобой сейчас сходим вниз и позвоним Карло. Эд, посмотри, чего тут можно сделать по дому. – И я вслед за Дином скатился по лестнице.

Парень, заправлявший лавочкой внизу, сказал:

– Тебе тут только что опять звонили, на этот раз из Сан-Франциско, спрашивали какого-то парня по имени Дин Мориарти. Я сказал, что здесь таких нет. – Дину звонила милейшая Камилла. Этот человек из аптеки, мой хороший друг, длинный, спокойный, посмотрел на меня и почесал в затылке: – М-да, вы что тут – международным борделем заправляете?

Дин маниакально захихикал:

– Врубаюсь, чувак! – Он запертнул в телефонную кабинку и позвонил в Сан-Франциско с оплатой разговора абонентом. Потом мы звякнули Карло домой на Лонг-Айленд и сказали, чтобы он приезжал. Карло появился часа два спустя. Тем временем мы с Дином подготовились к отъезду в Виргинию, чтобы забрать остаток мебели и привезти сюда тетушку. Приехал Карло Маркс с какой-то поэзией подмышкой и уселся на раскладной стульчик, рассматривая нас своими глазами-бусинками. Первые полчаса он вообще отказывался что-либо говорить: во всяком случае, ему не хотелось привязывать себя. С тех дней «Денверской Хандры» он малость поуспокоился; этому способствовала «Дакарская Хандра». В Дакаре, отрастив бороду, он шлялся по закоулкам с местными детишками, которые привели его к колдуну, и тот предсказал ему судьбу. Он показывал фотокарточки безумных улиц с травяными хижинами, хиповых дакарских задворков. Он сказал, что на обратном пути чуть не сиганул с парохода, как Харт Крейн. Дин сидел на полу с музыкальной шкатулкой и с безмерным изумлением слушал песенку, которую та наигрывала – «Прекрасный романс»:

– Маленькие позвякивания кружащихся колокольцев. Ах! Послушайте! Давайте все вместе склонимся и заглянем в самую сердцевину музыкальной шкатулки – пока не постигнем всех ее секретов, звяк-звяк-колокольцы, у-ух... – Эд Данкель тоже сидел на полу; у него были мои барабанные палочки; он вдруг начал выстукивать крохотный ритм под мелодию шкатулки – мы едва могли расслышать его. Все затаили дыхание и слушали:

– Тик... так... тик-тик... так-так... – Дин поднес ладонь к уху; челюсть у него отвалилась; он произнес:

– Ах! У-ух-х!..

Карло наблюдал это глупое безумие сквозь щелочки глаз. Наконец, шлепнул себя по колену и сказал:

– Я должен сделать объявление.

– Да? Правда?

– Каково значение этого путешествия в Нью-Йорк? Что за подлые дела вы тут затеваете? В смысле, чуваки, куда идете вы? Камо грядеши, Америка, в сияющем автомобиле своем в ночи?

– Камо грядеши? – эхом отозвался Дин, раскрыв рот. Мы сидели и не знали, что сказать: говорить больше было не о чем. Можно было только ехать. Дин подпрыгнул и сказал, что мы готовы ехать обратно в Виргинию. Он залез под душ, я приготовил большое блюдо риса со всем, что оставалось в доме, Мэрилу заштопала ему носки – и мы, считай, собрались. Дин, Карло и я влетели в Нью-Йорк. Мы пообещали Карло вернуться к нему через тридцать часов – как раз, чтобы вместе встретить Новый Год. Стояла ночь. Мы оставили его на Таймс-Сквер и поехали назад по такому накладному тоннелю в Нью-Джерси и дальше на юг, по дороге. Сменяя друг друга за баранкой, мы с Дином сделали Виргинию за десять часов.

– Ну вот, теперь мы впервые остались одни и можем говорить хоть целые годы напролет, – сказал Дин. И говорил всю ночь. Как во сне, мы мчались назад сквозь спящий Вашингтон, снова по виргинской глухоти, на рассвете пересекли реку Аппоматтокс и к восьми утра затормозили у дверей моего брата. И все это время Дин пребывал в грандиознейшем возбуждении по поводу всего, что видел, о чем говорил – от каждой подробности каждого проходящего мгновения. Он совершенно рехнулся от своей истинной веры:

– И, разумеется, никто не может нам сказать, что Бога нет. Мы миновали все формы. Ты помнишь, Сал, когда я впервые приехал в Нью-Йорк и хотел, чтобы Чад Кинг обучил меня Ницше? Видишь, как давно это было? Все прекрасно, Бог есть, мы познали время. Еще с древних греков все утверждалось не так. Этого не понять геометрией и геометрическими системами мышления. Всё вот здесь! – Он обхватил палец кулаком; машина преданно обнимала полосу колесами и неслась прямо. – И не только это: мы же оба понимаем, что у меня не нашлось бы столько времени, чтобы объяснить, почему я знаю, и почему ты знаешь, что Бог есть. – В одном месте я застонал по поводу жизненных неурядиц: как бедна моя семья, как бы я хотел помочь Люсиль, которая тоже бедна, и у которой, к тому же, растет дочка. – Неурядицы, видишь ли, – это обобщающее слово для всего, в чем существует Бог. Вся штука в том, чтобы не зависать! У меня голова звенит! – воскликнул он, схватившись за виски. Он выскочил из машины за сигаретами как Граучо Маркс – такой яростной приземленной походочкой с развевающимися фалдами, вот только развеяться у

него было нечему. – Со времен Денвера, Сал, много чего – и еще чего!.. я все думал и думал. Обычно я все время проводил в колонии, я был молодым подонком, я себя утверждал: угонять машины – это мое психологическое выражение, себя показать. Все проблемы с тюрьмой у меня теперь уже выправлены. Насколько я знаю, в тюрьму я уже никогда не попаду. А во всем остальном я не виноват. – мы проехали мимо мальчишки, который швырялся камнями в проезжавшие автомобили. – Только подумай, – сказал Дин. – Однажды он попадет камнем в ветровое стекло, кто-нибудь разобьется и погибнет – и все из-за вот этого пацаненка. Сечешь? Бог существует вне всяких сомнений. Пока мы катим по этой вот дороге, я совершенно убежден, что за нас обо всем позаботятся, – и даже за тебя, который едет и боится этого колеса. – (Я терпеть не мог водить машину и ехал осторожно.) – Эта штука будет ехать сама собой, и ты не слетишь с дороги, а я могу тем временем поспать. Больше того – мы знаем Америку, мы в ней дома: я могу поехать тут в любое место и получить все, что захочу, потому что в любом уголке все одинаково, я знаю людей, я знаю, что они делают. Мы даем и берем, и движемся в невероятно сложной сладости, заворачивая туда и сюда. – В том, что он говорил, не было ничего понятного, но то, что он имел в виду, как-то становилось и чистым, и ясным. Он очень часто произносил слово «чистый». Мне и во сне не могло присниться, что Дин вдруг заделается мистиком. То были первые дни его мистицизма, которые приведут к странной, рваной, филдсовской святости его последующих дней.

Даже моя тетушка с любопытством слушала его вполуха, пока мы с ревом мчались обратно на север, к Нью-Йорку, той же самой ночью, с мебелью сзади. Теперь, когда в машине сидела тетка, Дин пустился рассказывать о своей трудовой жизни в Сан-Франциско. Мы подробно остановились на каждой мелочи, входящей в обязанности тормозного кондуктора, с детальным показом всякий раз, когда проезжали мимо депо, а однажды он даже выскочил из машины, чтобы продемонстрировать, как кондуктор подает сигнал «путь свободен» на стрелке запасного пути. Тетушка удалилась на заднее сиденье и уснула. Из Вашингтона в четыре утра Дин еще раз позвонил Камилле с оплатой разговора во Фриско. Вскоре после этого, когда мы выехали из Вашингтона, нас обогнала патрульная машина со включенной сиреной, и нас оштрафовали за превышение скорости, несмотря на тот факт, что ехали мы не быстрее тридцати. Виноват был калифорнийский номер.

– Вы, парни, что, думаете, можете тут гонять, как вам заблагорассудится, раз из Калифорнии, да? – сказал легавый.

Мы с Дином пошли к столу сержанта у них на посту и попытались объяснить, что у нас нет денег. Они ответили, что если мы не выкатим штраф, Дину придется просидеть ночь в тюрьме. Конечно, деньги у моей тетки были, пятнадцать долларов, всего у нее была двадцатка, и все должно было закончиться прекрасно. И в самом деле, пока мы спорили с фараонами, один вышел поглядеть на мою тетушку, которая сидела в машине, закутанная в одеяло. Она его тоже увидела.

– Не беспокойтесь, я не маруха. Если хотите обыскать машину, так давайте. Я еду домой с моим племянником, а мебель эта – не краденая; это мебель моей племянницы, у нее только что родился ребенок, и она переезжает в новый дом. – Это поразило Шерлока, и он вернулся на пост. Тетке пришлось заплатить за Дина штраф, иначе мы бы застряли в

Вашингтоне; у меня прав не было. Он пообещал вернуть деньги, и на самом деле их вернул – ровно через полтора года, к приятному удивлению моей тетушки. Тетушка – уважаемая женщина, зависшая в этом печальном мире, и знала она этот мир очень хорошо. Она рассказала нам про фараона:

– Он спрятался за дерево, чтобы разглядеть, как я выгляжу. Я сказала ему... я сказала ему, чтобы он обыскал машину, если хочет. Мне нечего стыдиться. – Она знала, что это Дину есть чего стыдиться, да и мне тоже – единственно из-за того, что я с ним вместе, и мы с Дином с грустью приняли это.

Моя тетушка однажды сказала, что мир никогда не обретет мира, пока мужчины не упадут к ногам своих женщин и не попросят прощения. Но Дин это и так знал – он возвращался к этому множество раз.

– Я просил и умолял Мэрилу дать мне мирного, милого понимания чистой любви меж нами, чтобы напрочь отбросить все дрязги, – и она это понимает; стоит ее разуму устремиться к чему-то другому – и она на меня обрушивается; она никогда не поймет, как сильно я люблю ее, она своими пальцами вяжет мне проклятье.

– По правде сказать, мы все не понимаем наших женщин – вот в чем дело; мы обвиняем их, а это все – наша собственная вина, – ответил я.

– Но это все не так просто, – предостерег Дин. – Мир настанет внезапно, мы и не поймем, когда он придет, – видишь, чувак? – Упрямо и мрачно он гнал машину по Нью-Джерси; на заре, пока он спал на заднем сиденье, я въехал в Патерсон. Мы были дома в восемь и нашли там Мэрилу и Эда Данкеля – они сидели и докуривали бычки из пепельниц: они ничего не ели с тех самых пор, как мы с Дином уехали. Тетушка купила продуктов и приготовила грандиозный завтрак.

И вот троице с Запада настало время подыскивать себе новое жилье на Манхэттене. У Карло была квартирка на Йорк-Авеню – туда они и перебрались в тот же вечер. Мы с Дино проспали весь день, а проснувшись, обнаружили, что в канун Нового Года Нью-Йорк – в плену у сильнейшей снежной бури. Эд Данкель сидел в моем кресле и рассказывал о прошлом Новом Годе:

– Дело было в Чикаго. Я был на мели. Сидел на подоконнике у себя в номере на Норт-Кларк-Стрит, а из булочной внизу к моим ноздрям поднимался восхитительнейший запах. У меня не оставалось ни цента, но я спустился и поговорил там с девушкой. Она бесплатно дала мне хлеба и кофейного печенья. Я поднялся к себе в комнату и все съел. Просидел в номере всю ночь. В Фармингтоне, в Уте, как-то раз, когда я работал вместе с Эдом Уоллом – ну, ты же знаешь Эда Уолла, сын денверского ранчера – так вот, сплю я как-то и вдруг вижу свою покойную матушку, стоит в углу, а вокруг нее такой свет разливается. Я говорю: «Мама!» – а она исчезла. У меня все время видения бывают.

– А что ты собираешься делать с Галатеей?

– А-а, посмотрим. Вот только доедем до Нового Орлеана. Как ты думаешь, а? – Он начинал обращаться ко мне за советами; одного Дина ему уже не хватало. Но, размышляя о Галатее, он уже влюбился в нее.

– Что ты с собой собираешься делать, Эд? – спросил я.

– Не знаю, – ответил он. – Живу себе. Врубаюсь в жизнь. – Он повторил эту фразу Дина дважды. Направления у него никакого не было. Он сидел и вспоминал о той ночи в Чикаго, о горячем кофейном печенье и одинокой комнате.

Снаружи кружило. В Нью-Йорке должна была проходить большая праздничная попойка; мы все шли туда. Дин уложил свой побитый чемодан, поставил его в машину, и мы отчалили в эту великую ночь. Тетушка была счастлива от мысли, что мой братец приедет к ней на следующей неделе; она сидела со своей газетой и ждала полночной радиопередачи с Таймс-Сквер. Мы с ревом мчались в Нью-Йорк, и нас слегка заносило на льду. Когда за рулем был Дин, я совсем не боялся: он мог управиться с машиной при любых обстоятельствах. Радио уже починили, и теперь дикий боп гнал нас вперед, навстречу ночи. Я не знал, к чему нас это все приведет; мне было наплевать.

И вот примерно в это время мне стала не давать покоя одна странная штука. А именно: я кое-что забыл. Перед тем, как появился Дин, я собирался принять какое-то решение, а теперь его начисто вышибло у меня из головы, но оно все же болталось на кончике языка моего разума. Я щелкал пальцами, пытаюсь вспомнить его. Я даже упоминал о нем в разговоре. Больше того, сейчас я уже не мог сказать, решением ли оно было или же просто мыслью, которую я забыл. Оно не отпускало и ошеломляло меня, оно меня печалило. Оно как-то соотносилось со Странником в Саване. Карло Маркс и я однажды сели вместе на два стула друг напротив друга, соприкасаясь коленями, и я рассказал ему про свой сон о какой-то странной арабской фигуре, которая гналась за мною со пустыне; я пытался от нее убежать, а она, в конце концов, настигла меня, не успел я добежать до Спасительного Града.

– Кто это был? – спросил меня Карло. Мы стали об этом размышлять. Я предположил, что это был я сам, одетый в саван. Не то. Что-то, кто-то, какой-то дух преследовал нас всех по пустыне жизни и неизбежно настигал нас прежде, чем мы достигали небес. Естественно, теперь, оглядываясь назад, я могу сказать лишь одно: то была смерть; смерть настигает нас перед самыми небесами. Единственное, чего мы жаждем, пока живем, что заставляет нас вздыхать, стенать и испытывать в различных видах сладкую тошноту, – так это воспоминание о некоем утраченном блаженстве, которое, вероятно, мы пережили еще во чреве матери, и которое может быть воспроизведено лишь (хотя мы никак не желаем допустить этого) в смерти. Но кому же охота умирать? В суматохе событий я продолжал думать об этом где-то в самой глубине разума. Я сказал об этом Дину, и тот немедленно опознал здесь обычное стремление к чистой смерти; и поскольку ни один из нас не будет жить заново, он, вполне справедливо, не желал иметь с этим ничего общего, и я с ним в тот раз согласился.

Мы отправились искать компанию моих нью-йоркских друзей. Там тоже цветут сумасшедшие цветочки. Сначала поехали к Тому Сэйбруку. Том – грустный симпатичный парень, славный, щедрый и сговорчивый; только изредка на него внезапно находят приступы депрессии, и он стремглав убегает, не сказав никому ни слова. В ту ночь он был вне себя от радости:

– Сал, где ты нашел этих совершенно чудесных людей? Я никогда таких не встречал.

– Я нашел их на Западе.

Дин был в ударе: он поставил джазовую пластинку, сграбастал Мэрилу, прижал ее к себе и прыгал под музыку, отскакивая от нее как мячик. Та тоже от него отскакивала. У них была настоящая любовная пляска. Пришел Иэн МакАртур с огромной толпой. Начались наши новогодние праздники, продолжавшиеся три дня и три ночи. В «гудзон» набивались гигантские оравы народу, и мы виляли по заснеженным нью-йоркским улицам с одной вечеринки на другую. На самую большую я привел Люсиль и ее сестру. Когда Люсиль увидела меня с Дином и Мэрилу, лицо ее потемнело – она ощутила безумие, которое те в меня вкачивали.

– Ты мне не нравишься, когда ты с ними.

– А-а, да все в порядке, это же просто оттяг. Мы живем лишь раз. Мы просто веселимся.

– Нет, это грустно, и мне это не нравится.

Потом Мэрилу начала меня обхаживать: она сказала, что Дин собирается остаться с Камиллой, а она хочет, чтобы я поехал с ней.

– Поехали с нами в Сан-Франциско. Будем жить вместе. Я буду тебе хорошей девчонкой. –

Но я знал, что Дин любит Мэрилу, и еще знал, что Мэрилу делает это, только для того, чтобы Люсиль взревновала, а мне это было совершенно ни к чему. И все же... и все же я облизывался на эту сочную блондинку. Когда Люсиль увидела, как Мэрилу затаскивает меня в укромные уголки, шепчет мне на ушко и насильно меня целует, она приняла приглашение Дина прокатиться на машине; но они там лишь поговорили, да выпили немного южного самогона, который я оставил в бардачке. Все перепуталось и все рушилось. Я знал, что мои отношения с Люсиль долго не протянут. Она хотела, чтобы я жил «по-ейному». Она была замужем за портовым грузчиком, который очень плохо к ней

относился. Я хотел на ней жениться, удочерить ее маленькую и все такое, если она с ним разведется; но денег не хватало даже на то, чтобы оформить развод, и все это было полной безнадегой, а кроме того Люсиль никогда бы не поняла меня, потому что мне нравится слишком многое сразу, я всегда путаюсь и зависаю на бегу от одной падающей звезды к другой – и, в конце ковцев, сам падаю вниз. Такова ночь, и вот что она с тобою делает. Мне нечего было никому предлагать, кроме собственного смятения.

Попойки были гигантскими; в одной подвальной квартире на Западных 90-х улицах скопилась, по меньшей мере, сотня человек. Людей вытесняло в подвальные отсеки рядом с печами. В каждом углу что-то происходило, на каждой постели, на каждой кушетке – то была не оргия, а обычная нью-йоркская вечеринка с истошными воплями и дикой музыкой по радио. Была даже одна девочка-китаянка. Дин перебежал от группы к группе как Граучо Маркс и врубался во всех. Периодически мы вылетали к машине, чтобы заехать еще за кем-то. Пришел Дамион. Дамион – герой моей нью-йоркской банды так же, как Дин – главный герой западной. Они сразу друг другу не понравились. Девчонка Дамиона вдруг двинула его в челюсть с правой. Тот стоял и покачивался. Она отволокла его домой. Из своей контуры пришли с бутылками кое-какие наши друзья-газетчики. Снаружи бушевал грандиознейший и чудеснейший буран. Эд Данкель познакомился с сестрой Люсиль и вместе с нею исчез: я забыл сказать, что Эд очень обходителен с женщинами. В нем шесть футов росту, он мягкий, любезный, покладистый, прямой и восхитительный. Он подает женщинам пальто. Вот как надо дела делать. В пять утра мы все неслись по задворкам многоквартирного дома и лезли в окно, где шла пьянка. На рассвете снова очутились у Тома Сэйбрука. С народом все было понятно – там пили выдохшееся пиво. Я спал на кушетке, обняв девушку по имени Мона. Целые толпы вваливались из старого бара в Колумбийском студгородке. Все, что только есть в жизни, все лица, что есть у жизни, – все громоздилось в одну-единственную сырую комнату. У Иэна МакАртура веселье продолжалось. Иэн МакАртур – чудесный малый, носит очки и выглядывает из-под них с восхищением. В то время он как раз учился говорить всему «Да!» – совсем как Дин, и с тех пор делать этого так и не прекратил. Под дикие звуки Декстера Гордона и Уорделла Грэя, выдувавших «Охоту», Дин и я играли на кушетке с Мэрилу в «ну-ка догони», а она – далеко не малышка. Дин бегал без майки, в одних брюках, босиком – до тех пор, пока не пришло время прыгать в машину и везти сюда кого-то еще. Происходило сразу все на свете. Мы нашли дикого экстатичного Ролло Гребя и провели остаток ночи у него дома на Лонг-Айленде. Ролло живет в хорошем особняке со своей теткой; когда та умрет, весь дом отойдет ему. А пока она отказывается потакать малейшим его прихотям и ненавидит его друзей. Он притащил о собой всю оборванную банду: Дина, Мэрилу, Эда и меня – и закатил неистовую попойку. Женщина прокралась наверх: она грозила вызвать полицию.

– Заткнись ты, старая кляча! – орал Греб. Как же он вообще может с нею жить? У него было больше книг, чем я видел за всю свою жизнь: целых две библиотеки, две комнаты, загруженные книгами до самого потолка по всем четырем стенам, – да еще и такими книгам, как «Чьи-то там апокрифы» в десяти томах. Он ставил нам оперы Верди и изображал их в лицах – в одной пижаме, совершенно разорванной на спине. Ему было плевать на все абсолютно. Он великий ученый: шатаюсь, он шляется по набережной Нью-Йорка с нотными

манускриптами семнадцатого века подмышкой и орет. Он ползает по улицам, как большой паук. Его возбуждение вылетало у него из глаз клинками дьявольского света. Он выгибал шею в спазмах экстаза. Он шепелявил, корчился, хлопался оземь, стонал и выл, он падал на спину в отчаянии. Он едва мог выдать из себя хоть слово – так возбуждала его жизнь. Дин стоял с ним рядом, склонив голову, и лишь изредка повторял:

– Да... да... да... – Потом отвел меня в угол. – Этот Ролло Греб – замечательнейший, чудеснейший из них всех. Вот что я и пытался тебе сказать: вот каким я хочу быть. Я хочу быть как он. Он никогда не зависает, он идет во все стороны, он все из себя выпускает, он познал время, ему больше нечего делать, кроме как качаться взад и вперед. Чувак, он – конец всему! Видишь – если станешь как он, то, наконец, поймешь это.

– Что поймешь?

– ЭТО! ЭТО! Я расскажу тебе – сейчас нет времени, у нас сейчас нет времени. – Дин рванулся обратно, посмотреть на Ролло Греб еще.

Джордж Ширинг, великий джазовый пианист, как сказал Дин, был в точности как Ролло Греб. Мы с Дином пошли смотреть Ширинга в «Бёрдлэнд», где-то посреди этих долгих безумных праздников. В зале никого не было, мы оказались первыми посетителями, десять часов. Вышел Ширинг, слепой, его за руки подвели к пианино. Это был такой солидного вида англичанин с тугим белым воротничком, полноватый, светловолосый; вокруг него витал мягкий дух английской летней ночи – он исходил от первой журчащей нежной темы, которую тот играл, а бассист почтительно склонялся к нему и бубнил свой бит. Барабанщик Дензил Бест сидел неподвижно, и только кисти его рук шевелились, отщелкивая щетками ритм. А Ширинг стал качаться; его экстатическое лицо раздвинулось в улыбке; он начал раскачиваться на своем стульчике взад и вперед, сперва медленно, потом бит взмыл вверх, и он стал качаться быстрее, с каждым ударом его левая нога подпрыгивала, головой он качал тоже – как-то вбок; он опустил лицо к самым клавишам, отбросил назад волосы, и вся его прическа развалилась, он был весь в испарине. Музыка пошла. Бассист сгорбился и вбирал ее в себя, быстрее и быстрее – просто казалось, оно само идет быстрее и быстрее, вот и все. Ширинг начал брать свои аккорды: они выкатывались из пианино сильными полноводными потоками – становилось страшно, что у человека не хватит времени, чтобы справиться с ними всеми. Они все катились и катились – как море. Толпа орала ему: «Давай!» Дин весь покрылся потом; капли стекали ему на воротник.

– Вот он! Это он! Старый Боже! Старый Бог Ширинг! Да! Да! Да! – И Ширинг чувствовал у себя за спиной этого безумца, мог слышать, как Дин хватается ртом воздух и причитает, он ощущал это, хоть и не видел. – Правильно! – говорил Дин. – Да! – Ширинг улыбался; Ширинг раскачивался.

Вот он поднялся от пианино; пот лил с него ручьями; то были его великие дни 1949 года – еще до того, как он стал прохладно-продажным. Когда он ушел, Дин показал на опустевший стульчик:

– Пустой престол Бога, – сказал он. На пианино лежала труба: ее золотая тень бросала странные блики на бредущий по пустыне караван, нарисованный на стене за барабанами. Бог ушел; и теперь стояло молчание его ухода. То была дождливая ночь. То был миф дождливой ночи. От благоговения у Дина аж глаза на лоб вылезли. Это безумие ни к чему

не приведет. Я не знал, что со мною происходит, и вдруг понял, что все это время мы не курили ничего, кроме травы; Дин купил ее где-то в Нью-Йорке. Это и заставило меня подумать, что все вот-вот настанет – тот момент, когда знаешь всё, и всё навсегда решено.

Я бросил всех и пошел домой отдыхать. Тетка сказала, что я попусту трачу время, болтаясь с такими, как Дин и его банда. Я знал, что и это тоже неправильно. Жизнь есть жизнь, натура есть натура. Мне хотелось лишь совершить еще одно блистательное путешествие к Западному Побережью и вернуться назад к началу весеннего семестра в школе. И что же это оказалось за путешествие! Я поехал лишь прокатиться и посмотреть, на что еще Дин способен, и, наконец, зная, что он все-таки вернется во Фриско к Камилле, я хотел закрутить романчик с Мэрилу. Мы приготовились вновь пересечь кряхтящий континент. Я получил деньги по своему солдатскому чеку и дал Дину восемнадцать долларов, чтобы тот отправил их своей жене; та ждала, когда он вернется, и сидела совсем без денег. Что там себе думала Мэрилу, я не знаю. Эд Данкель, как всегда, лишь плелся следом.

Перед тем, как уехать, мы проводили в квартире у Карло долгие смешные дни. Он бродил в одном халате и толкал полуиронические речи:

– Не то, чтобы я сейчас пытаюсь отобрать у вас ваши маленькие снобские радости, но мне кажется, настало время решать, кто вы есть и что собираетесь делать. – Карло печатал на машинке в какой-то конторе. – Я хочу знать, что должно означать все это сидение дома целыми днями. Что это за базар и что вы намерены делать? Дин, почему ты оставил Камиллу и снял Мэрилу. – Никакого ответа – одни смешочки. – Мэрилу, почему ты вот так ездешь по стране и каковы твои женские намерения в отношении савана? – Такой же ответ. – Эд Данкель, зачем ты бросил свою молодую жену в Тусоне и что делаешь здесь, расслабившаяся на своей большой и толстой заднице? Где твой дом? Где ты работаешь? – Эд Данкель потупился, искренне сбитый с панталыку. – Он одернул на себе халат и сел лицом к нам всем. – Дни гнева еще наступят. Шарик вас долго не продержит. И, больше того, – этот воздушный шарик абстрактен. Вы все полетите кувырком на Западное Побережье и, спотыкаясь, вернетесь в поисках своего камня.

В те дни у Карло выработался такой тон в голосе, который, как он надеялся, звучал, будто Голос Скалы: то есть, по замыслу, он должен был ошеломлять людей, представлявших себе, что с ними говорит скала.

– Драконов к шляпам пристегнули, – пророчествовал он. – Мышей на чердаках спугнули. – Его безумные глаза поблескивали нам. После «Дакарской Хандры» он прошел через ужасный период, который называл «Святой Хандрой» или «Гарлемской Хандрой», когда в середине лета он жил в Гарлеме, а по ночам просыпался в своей одинокой комнатке и слышал, как с неба спускается «великая машина»; и когда бродил по 135-й улице «под водой» вместе со всякой другой рыбой. Это был бунт блистательных идей, снизошедших, чтобы принести просветление его мозгу. Он заставлял Мэрилу садиться к нему на колени, приказывая ей оседлать его. Он говорил Дину:

– Ну чего ты не сядешь и не расслабишься? Почему ты всегда так много прыгаешь? – Дин бегал кругами, сыпля сахар себе в кофе и восклицая:

– Да! Да! Да! – Ночью Эд Данкель спал на подушках, брошенных на пол. Дин с Мэрилу спихнули Карло с кровати, и тот сидел на кухне над рагу из почек, бомоча свои скалистые пророчества. Я приезжал днем и наблюдал все это.

Эд Данкель мне сказал:

– Вчера ночью я прошел до самой Таймс-Сквер, и только я туда пришел, как вдруг сразу понял, что я призрак – то был мой призрак, что шел по тротуару. – Он говорил мне это без всяких пояснений, лишь кивая головой для пущей убедительности. Десять часов спустя, посреди какого-то другого разговора Эд сказал: – Да, это мой призрак шел со тротуару. Дин вдруг склонился ко мне и на полном серьезе произнес:

– Сал, мне нужно у тебя кое-что попросить – это очень важно для меня... вот только как ты это воспримешь... но мы же кореша, правда?

[7]

Мы с Дином приехали обратно на квартиру и нашли Мэрилу в постели. Данкель призраком скитался по Нью-Йорку. Дин рассказал ей, что мы решили. Она ответила, что ее устраивает. Сам я не был так сильно в этом уверен. Мне нужно было доказать, что я это выдержу. Постель служила большому человеку смертным одром и была продавлена посередине. Мэрилу лежала в ложбинке, а мы с Дином по обеим сторонам опирались на задравшиеся кверху края матраса, и не знали, что сказать. Я произнес:

– Да ч-черт, я не могу этого сделать.

– Давай, чувак, ты же обещал! – ответил Дин.

– А как по части Мэрилу? – спросил я. – Ну, Мэрилу, ты-то что думаешь?

– Валяй, – сказала она.

Она обняла меня, и я попытался забыть, что старина Дин рядом. Каждый раз. Когда я представлял себе, как он здесь, в темноте слушает каждый наш звук, мне неудержимо хотелось расхохотаться. Это было ужасно.

– Боюсь, у меня ничего не выйдет. Не сходить ли тебе на минутку на кухню?

Дин так и сделал. Мэрилу была такой милой, но я прошептал:

– Подожди, пока мы не полюбим друг друга в Сан-Франциско; я не могу сейчас вложить в тебя всего сердца. – И я был прав, она это чувствовала. Как будто трое детей на земле пытаются что-то решить посреди ночи, а перед ними вырастает все бремя прошедших столетий. В квартире стояла странная тишина. Я подошел, похлопал Дина по плечу и сказал, чтобы шел к Мэрилу; а сам удалился на кушетку. Я слышал, как Дин блаженствует, болбочет и неистово раскачивается. Только парень, прошедший пять лет в тюрьме, может доходить до таких маниакальных беспомощных крайностей; так умолять у порталов источника мягкости, обезумев от совершенно физического постижения истоков жизненного блаженства; так слепо искать возврата по тому пути, которым пришел. Вот что получается, когда много лет разглядываешь возбуждающие картинки за решеткой – ноги и груди женщин в популярных журналах; оцениваешь твердость стальных темниц в сравнении с мягкостью женщины, которой в них нет. Тюрьма – то место, где обещаешь себе право на жизнь. Дин никогда не видел лица своей матери. Каждая новая девчонка, каждая новая жена, каждый новый ребенок дополняли его унылое оскудение. Где его отец? – старый бичара Дин Мориарти, Жестянщик, что ездил туда-сюда на товарняках, работал при железнодорожных забегаловках подсобным рабочим, шатался и валился наземь в пьянчужных тупичках по ночам, издыхал на угольных отвалах, один за другим терял желтевшие зубы в канавах Запада? Дин имел полное право умирать сладкими смертями от

совершенной любви своей Мэрилу. Мне не хотелось вмешиваться, я всего лишь хотел идти следом.

На заре вернулся Карло и влез в свой халат. В те дни он больше не спал.

– Эх! – завопил он. Он сходил с ума от месива на полу: разбросанные везде штаны, платья, бычки, грязные тарелки, раскрытые книги, – у нас тут был великолепный форум. Каждый день мир кряхтел, вращаясь, а мы продолжали свои отвратительные исследования ночи. Мэрилу ходила вся в синяках после какой-то ссоры с Дином; у того физиономия тоже была исцарапана. Пора было ехать.

Мы примчались ко мне домой, вся орава из десяти человек, забрать мою сумку и позвонить Старому Быку Ли в Новый Орлеан из того самого бара, где мы с Дином много лет назад имели наш первый разговор, когда он пришел ко мне учиться писать. Мы услышали хныканье Быка за восемнадцать сотен миль отсюда:

– Слушайте, парни, что вы хотите, чтобы я сделал с этой вашей Галатеей Данкель? Она здесь уже две недели, прячется у себя в комнате и отказывается разговаривать и с Джейн, и со мной. У вас там есть рядом этот тип Эд Данкель? Ради всего святого, притащите его сюда и избавьте меня от нее. Она спит в нашей лучшей спальне, а деньги у нее уже все кончились. У нас ведь тут не отель – Мы успокоили Быка улюлюканьем и воплями в телефон – здесь были Дин, Мэрилу, Карло, Данкель, я, Иэн МакАртур, его жена, Том Сэйбрук, еще Бог знает кто, все орали и пили пиво прямо у телефонной трубки, а сбитый с толку Бык, надо сказать, пуще всего прочего ненавидел неразбериху.

– Что ж, – сказал он, – может, с вами что-нибудь и станет ясно, когда вы сюда доберетесь – если вы сюда доберетесь вообще. – Я попрощался с тетушкой, пообещал вернуться через две недели и снова снялся в сторону Калифорнии.

В начале нашего путешествия моросило и было таинственно. Я уже видел, что все это будет одной большой сагой тумана.

– Уу-х-хууу! – вопил Дин. – Мы едем! – Он горбился над баранкой и разгонял машину; он вновь оказался в своей стихии, это все могли видеть. Мы были в восторге, мы воображали, что оставили смятение и бессмыслицу позади, а теперь выполняем свою единственную и благородную функцию времени – движемся. И еще как мы двигались! Мы пронесли мимо таинственных белых знаков в ночи, где-то в Нью-Джерси, которые гласили ЮГ (со стрелочкой) и ЗАПАД (со стрелочкой), и поехали на юг. Новый Орлеан! Он жег нам мозги. От грязных снегов «мерзлого города пидаров», как Дин окрестил Нью-Йорк, напрямик к зеленым и речным запахам старого Нового Орлеана на подмываемой попке Америки; Мэрилу, Дин и я сидели впереди и вели задушевную беседу о прекрасности и радости жизни. Дин вдруг стал нежен:

– Да черт подери, посмотрите, все посмотрите мы все должны признать, что в мире все прекрасно, совершенно незачем ни о чем беспокоиться, а фактически же нам следует осознать, что бы для нас означало ПОНИМАТЬ, что мы НА САМОМ ДЕЛЕ НИ О ЧЕМ не беспокоимся. Я прав? – Мы все с ним согласились. – Вот мы едем, все вместе... Что мы делали в Нью-Йорке? Простим же. – У каждого из нас там, позади, что-то пошло враздрай. – Это осталось сзади, далеко, в милях и намерениях. Теперь же мы направляемся в Новый Орлеан врубаться в Старого Быка Ли, разве не четко это будет, слушайте, слушайте, как этот тенор себе мозги выдувает. – Он врубил радио так, что машину затрясло. – Слушайте, что он вам рассказывает, как опускает на вас подлинное успокоение и знание.

Мы все прыгали под музыку и соглашались с ним. Чистота дороги. Белая полоса посередине шоссе разворачивалась и прикинула к левой передней шине словно приклеенная к нашему подрубу. Дин горбил мускулистую спину, обтянутую лишь майкой в этой зимней ночь, и рвал машину по дороге. Он настаивал, чтобы через Балтимор ехал я – ради тренировки: все бы ничего, но они с Мэрилу хотели вести машину, целуясь и придуриваясь. Вот это уже было сумасшествием; радио орало на полную катушку. Дин отбивал барабанные дробы по приборной доске, пока не сделал ней большую вмятину; я тоже. Бедный «гудзон» – медленный пароход в Китай – получил свою порцию туманов. – О, чувак, какой оттяг! – вопил Дин. – А теперь, Мэрилу, слушай хорошенько, милая, ты знаешь, что я – сущий дьявол, я способен делать все сразу, и моя энергия никогда не кончается, – и вот в Сан-Франциско мы по-прежнему должны жить вместе. Я присмотрел местечко как раз для тебя... последняя точка на маршруте зэков в бегах... я буду дома лишь на волосок меньше, чем раз в два дня, зато по двенадцать часов кряду: а, дорогая моя, ты же знаешь, что мы можем сделать за двенадцать часов. А я тем временем буду все так же жить у Камиллы – и ништяк, она ничего не узнает. У нас получится, у нас ведь так уже было. – Для Мэрилу такой расклад был в самый раз, она в натуре собиралась снять с Камиллы скальп. Подразумевалось, что Мэрилу во Фриско переключится на меня, но я уже начинал понимать, что они останутся вместе, а я в одиночестве буду сидеть на собственной заднице на другом краю континента. Но к чему об этом думать, когда впереди лежит золотая земля, и всяческие непредвиденные события таятся, чтобы только удивить тебя и

обрадовать, что ты вообще жив, чтобы их увидеть.

Мы приехали в Вашингтон на рассвете. То был день инаугурации Гарри Трумэна на второй срок. Гигантская выставка нашей военной мощи выстроилась вдоль Пенсильвания-Авеню, по которой мы проплывали в своей потрепанной лодчонке. Там стояли Б-29-ые, торпедные катера, артиллерия, всевозможные военные припасы: они выглядели угрожающе на припорошенной снегом траве; последней стояла обычная спасательная шлюпка, смотревшаяся жалко и глупо. Дин притормозил взглянуть на нее. Он сокрушенно качал головой:

– Что эти люди здесь затеяли? Где-то тут, в городе спит Гарри... Старый добрый Гарри... Чувак из Миссури, как и я... Должно быть, это его лодка.

[8]

– Ее муж, – довольно просто ответил я. Они были чересчур любопытны. Заваривалась какая-то левая каша. Они попытались изобразить из себя доморощенных Холмсов, задавая дважды одни и те же вопросы в расчете на то, что мы проговоримся. Я сказал: – Эти два парня возвращаются к себе на работу на железную дорогу в Калифорнию, это жена того, который поменьше, а я их друг, у меня две недели каникул в колледже.

Фараон осклабился:

– Да-а? А это действительно твой бумажник?

Наконец, гнусный, что сидел внутри, содрал с Дина двадцать пять долларов штрафа. Мы объяснили им, что у нас всего – сорок, чтобы добраться до Побережья; они ответили, что им это без разницы. Когда же Дин стал возмущаться, гнусный пригрозил отправить его обратно в Пенсильванию и предъявить там ему особое обвинение.

– Обвинение в чем?

– Не твое дело. В чем. Ты уж об этом не беспокойся, умник, тоже мне.

Пришлось отдать им четвертной. Но сначала Эд Данкель, самый наш виноватый, вызвался сесть в тюрьму. Дин задумался над этим. Фараон был в ярости.

– Если ты позволишь своему приятелю сесть в тюрьму, я забираю тебя в Пенсильванию немедленно. Ты слышишь, что я сказал? – Нам хотелось побыстрее оттуда свалить. – Еще одно превышение скорости в Виргинии, и машины у вас не будет, – сказал гнусный на прощанье. Дин весь побагровел. Мы молча отъехали. Это очень похоже на приглашение что-нибудь украсть – забирать вот так вот все наши дорожные сбережения. Они знали, что мы сидим на мели, что у нас нет по пути никаких родственников, что мы не можем дать телеграмму, чтобы нам выслали денег. Американская полиция объявила психологическую войну против тех американцев, которые не могут испугать их внушительными бумагами и угрозами. Это просто допотопная, викторианская, грубая полицейская сила: она выглядывает из затянутых паутиной окон и желает влезать во все на свете, она способна сама плодить преступления, если уже существующие ее не удовлетворяют. «Девять строк преступления, одна – скуки,» – как сказал Луи-Фердинанд Селин. Дин настолько вышел из себя, что хотел возвратиться в Виргинию и застрелить этого фараона, как только раздобудет себе пистолет.

– Пенсильвания, – фыркнул он. – Хотел бы я знать, что они могли мне повесить. «БОМЖ», скорее всего, – отнять у меня все деньги и припаять бродяжничество. У этих парней все

легко и просто. А станешь жаловаться, так они же тебя и прихлопнут. – Ничего не оставалось делать, кроме как снова радоваться самим себе и выкинуть эту лажу из головы. Миновав Ричмонд, мы уже почти все забыли и снова стало нормально.

Теперь у нас оставалось пятнадцать долларов на всю дорогу. Придется подбирать автостопщиков и кланчить у них центы на бензин. В виргинской глухомани мы вдруг увидели шедшего по дороге человека. Дин сбавил скорость и остановился. Я обернулся и сказал, что это всего-навсего бродяга, и у него, возможно, у самого нет ни гроша.

– Тогда мы возьмем его просто так, оттянуться, – рассмеялся Дин. Этот тип оказался безумным оборванцем в очках; на ходу он читал какую-то порнуху в бумажной обложке; он нашел книжку в кювете у дороги. Он влез в машину и снова погрузился в чтение. Он был невообразимо грязен и покрыт струпьями. Он сказал, что его зовут Хайман Соломон, и что он прошел по всем США, стучась, а иногда и вламываясь в еврейские двери и требуя денег: «Дайте мне денег на еду, я еврей».

Он сказал, что получалось очень хорошо, и что что ему причитается. Мы спросили его, что такое он читает. Он не знал. Ему в лом было смотреть на титульный лист. Он смотрел лишь на слова, будто нашел истинную Тору там, где ей и следовало быть – в глухомани.

– Видите? Видите? Видите? – клохтал Дин, тыча меня в бок. – Я вам говорил, что это будет оттяг? Чувак, оттягивает всё на свете! – Мы довезли Соломона до самого Тестаменты. Мой брат уже переселился в свой новый дом на другом конце города. Мы же опять стояли на длинной мрачной улице, по самой середине которой тянулись рельсы железной дороги, а унылые недовольные южане скачками неслись мимо мелочных лавок и скобяных магазинов. Соломон сказал:

– Я вижу, вам, молодые люди, нужно немного денег, чтобы продолжить свое путешествие. Вы меня подождите, я схожу зашибу несколько долларов в еврейском доме и поеду с вами до самой Алабамы. – Дин был вне себя от счастья; мы с ним рванулись купить хлеба и сыра, чтобы пожевать в машине. Мэрилу с Эдом остались в «гудзоне». Мы прождали Хаймана Соломона два часа: он где-то раздобывал для нас хлеб, но видно его не было. Солнце багровело, и становилось слишком поздно.

Соломон так и не появился, поэтому мы рванули прочь из Тестаменты.

[9]

– Когда мы туда приедем, ты сможешь вытрясти из нее бабок? Правильно! Прекрасно! Поехали! – И через час, в сумерках, мы уже были в Данне. Подъехали к тому месту, где, как сказал пацан, у его тетки был этот самый бакалейный магазин. То была унылая улочка, упирившаяся в глухую фабричную стену. Лавка там и впрямь была, но никакой тетки не наблюдалось и в помине. Интересно, чего же тогда пацан нам наговорил? Мы спросили его, куда он едет; он и сам не знал. Все это был один большой загон: когда-то, заблудившись в этом захолустье в поисках приключений, он увидел в Данне бакалейную лавку, и теперь она первым делом взбрела ему на безалаберный, горячечный ум. Мы купили ему «горячую собаку», но Дин сказал, что взять с собой его мы не сможем, поскольку нам нужно место, чтобы спать самим и подвозить тех, кто мог бы купить нам немного бензина. Мы оставили его в Данне перед самой темнотой.

Я вел машину через Южную Каролину и за Мейкон, штат Джорджия, пока Дин, Мэрилу и Эд спали. Совершенно один, среди ночи, я думал о своем и удерживал машину на белой полосе святой дороги. Что я делаю? Куда еду? Скоро я это узнаю. За Мейконом я почувствовал такую собачью усталость, что разбудил Дина. Мы вышли из машины подышать, как вдруг оба заторчали от радости, осознав, что вокруг – душистая зеленая трава, запахи свежего навоза и теплых вод.

– Мы на Юге! Мы удрали от зимы! – Слабый отблеск зари осветил зеленые побеги у обочины. Я вдохнул полной грудью; во тьме взвыл локомотив на Мобил. Мы тоже туда ехали. Я снял рубашку и прыгал от радости. Десятью милями дальше Дин подъехал к бензоколонке, заметил, что служитель крепко спит за своим столом, выскочил, тихонько наполнил бак, стараясь, чтобы не звякнул колокольчик, и тайком укатил, как араб, – с баком, наполненным долларов на пять на нужды нашего паломничества.

Я уснул и проснулся от сумасшедших ликующих звуков музыки, разговора Дина и Мэрилу и от огромной зеленой земли, что разворачивалась вокруг.

– Где мы?

– Только что проехали самый кончик Флориды, чувак, – Фломатон называется. – Флорида! Мы скатывались к прибрежным равнинам и к Мобилу; впереди парили в вышине огромные облака Мексиканского Залива. Прошло всего тридцать два часа с тех пор, как мы распрощались со всеми в грязных снегах Севера. Мы остановились у заправки, где Дин с Мэрилу поиграли вокруг цистерн в чехарду, а Данкель зашел внутрь и, особо не таясь, спер три пачки сигарет. У нас не осталось ни шиша. Въезжая в Мобил по длинному прибрежному шоссе, мы все сняли зимнюю одежду и ловили кайф от южного тепла. Вот тогда Дин и начал рассказывать историю своей жизни, и когда уже за Мобилом встретился с препятствием в виде столкнувшихся на перекрестке машин, то вместо того, чтобы осторожно проскользнуть мимо, промчался напрямик по подъездной дорожке бензоколонки и понесся дальше, даже не почувствовав, что мчится со своей обычной на континенте скоростью семьдесят миль в час. Позади у нас остались лишь разинутые вслед рты. Он же продолжал свой рассказ: – Истинная правда, я начал, когда мне было девять, с девочкой по имени Милли Мэйфэйр за гаражом Рода на Гранд-Стрит – на этой же улице и Карло жил в Денвере. Это когда папаша мой еще немного подрабатывал в кузнице. Помню, как тетка вопила мне из окна: «Что это вы там делаете за гаражом, а?» Ах, милая Мэрилу, если б я тебя тогда знал! У-ух! Какой милашкой ты наверное была в девять лет! – Он маниакально захихикал, он сунул свой палец ей в рот и облизал его; он взял ее за руку и провел ею по всему своему телу. Она же просто сидела, безмятежно улыбаясь.

Большой длинный Эд Данкель все время смотрел в окно, разговаривая сам с собою:

– Да, сэр, той ночью я думал, что я призрак. – Еще он не переставал вопрошать себя, что ему скажет в Новом Орлеане Галатея Данкель.

Дин продолжал:

– Однажды я проехал на товарняке из Нью-Мексико до самого Л.А. – мне было одиннадцать лет, я потерял отца на боковой ветке, мы с ним были на стоянке у хобо. Я пошел с мужиком по имени Большой Рыжий, а папаша мой валялся пьяный в вагоне – поезд покатился, мы с Рыжим не успели – я папашу своего после этого много месяцев не видал. Я поехал на

дальнем товарняке аж до самой Калифорнии – просто летел, а не ехал, первым классом, не товарняк, а какой-то зиппер в пустыне. Всю дорогу провисел на сцепках – можете себе представить, как это опасно, а я ведь был совсем пацан, я этого не знал; под одной рукой зажата буханка хлеба, а другой цепляюсь за тормозную рукоять. Я не выдумываю, это правда. Когда я приехал в Л.А., то так изголодался по молоку и сметане, что устроился к молочнику и первым делом выпил две кварты густой сметаны, и меня стошнило.

– Бедный Дин, – сказала Мэрилу и поцеловала его. Он гордо смотрел вперед. Он ее любил. Мы вдруг поехали вдоль самых голубых вод Залива, и одновременно по радио началась моментально безумная штука: шоу «Цыплячий Джазец Гумбо» из Нового Орлеана, все эти уматные джазовые пластинки, цветная музыка, и диск-жокей все время говорил: «Ни о чем не переживайте!» В ночи перед собою мы радостно видели Новый Орлеан. Дин потирал над рулем руки:

– Ну уж вот теперь-то мы оттянемся! – В начинавшихся сумерках мы въехали в гудящие кварталы Нового Орлеана. – О, я чую людей! – завопил Дин, высунувшись из окна и втягивая носом воздух. – Ах! Боже мой! Жизнь! – Он обогнал трамвай. – Да! – Он рванул машину вперед и стал озираться по сторонам в поисках девчонок. – Только взгляните на нее! – Воздух в Новом Орлеане был так сладок, что, казалось, опускался сверху разноцветными мягкими шелковыми платками, можно было почуять реку и действительно почуять людей – и грязь, и черную патоку, и каждое тропическое испарение, почуять все это собственным носом, нежданно извлеченным из сухих льдов северной зимы. Мы подскакивали на сиденьях. – И в нее врубитесь! – вопил Дин, тыча пальцем в другую женщину. – О, как я люблю, люблю, люблю женщин! Женщины изумительны! Я люблю женщин! – Он плевался прямо из окна; он стонал; он хватался за голову. По лбу у него катились огромные капли пота от одного лишь возбуждения и усталости.

Мы запрыгнули с машиной на паром в Алжир и так поехали через Миссиссиппи на пароходе. – Теперь нам всем нужно вылезти наружу и врубиться в реку и в людей, и понюхать мир, – сказал Дин, суется со своими темными очками и сигаретами и выскакивая из машины, как чертик из табакерки. Мы вылезли следом. Мы висли на перилах и рассматривали великого отца вод, катящего вниз из сердцевины Америки, словно поток разбитых душ, – таща на себе и бревна Монтаны, и грязь Дакоты, и доли Айовы, и то, что утонуло у Три-Форкс, где тайну сначала скрывал лед. Дымный Новый Орлеан отступал по одну сторону; старый сонный Алжир с его покоробленными окраинами стучался о нас по другую. Под горячим солнцем позднего дня негры загружали топки парома, пылавшие красным и разогревавшие наши шины, которые уже начинали пахнуть. Дин врубался в кочегаров, прыгая то вниз, то вверх по трапам в этой жаре. Он носился и по палубе, и наверху, его мешковатые штаны болтались, полуспущенные, на животе. Неожиданно я увидел, как он напряженно вытягивается на мостике. Я уже готов был к тому, что он взмоет вверх прямо с крыла. По всему судну разносился его безумный смех: «Хии-хии-хии-хии-хии!» Мэрилу была с ним. Он в один миг схватил все сразу, вернулся с полной картиной, прыгнул в кабину, когда все остальные еще только гудели, чтобы выезжать, мы выскользнули, проскочив две-три машины в очень узком месте, и оказались на просторе, мчащимися по Алжиру.

– Куда? Куда? – вопил Дин.

Сначала мы решили привести себя в порядок на заправочной станции и разузнать, где живет Бык. В дремотном речном закате играли дети; мимо проходили девчонки в цветастых платках и хлопчатобумажных блузках и с голыми ногами. Дин побежал вверх по улице, чтобы увидеть все сразу. Он оглядывался; он кивал; он скреб себя по животу. Большой Эд сидел в машине, надвинув шляпу на глаза, и улыбался Дину. Я сидел на капоте. Мэрилу ушла в женский сортир. От кустистых берегов, где бесконечно малые людишки удили палками рыбу, и от сонных болот дельты, что тянулись вдоль красневшей земли, поднималось безымянное ворчание громадной горбатой реки, которая своим напрягшимся главным руслом, словно кольцом змея, охватывала городок. Похоже было, что погруженный в дрему Алжир со всеми своими роями пчел и хибарками людей однажды будет подчистую смыт с этого плоского полуострова. Солнце клонилось книзу, насекомые зудели, ужасные воды стонали.

Мы отправились к дому Старого Быка Ли за город, к самой насыпи у реки. Он стоял на дороге, что вела через заболоченные поля, – не дом, а обветшалая куча с провалами террас, опоясывавших его вокруг, и с плакучими ивами во дворе, трава вымахала в три фута высотой, древние заборы завалились, сараи просели. Видно никого не было. Мы втянулись в самый двор и увидели на заднем крыльце ванны для стирки. Я вылез из машины и подошел к раздвижным дверям. В проеме стояла Джейн Ли и, прикрыв глаза козырьком ладони, смотрела на солнце.

– Джейн, – сказал я. – Это я. Это мы.

Она поняла.

– Да, я знаю. Быка сейчас здесь нет. Там что – пожар, что ли? – Мы оба посмотрели в сторону солнца.

– Ты имеешь в виду закат?

– Какой там, к черту, закат? Я слышала оттуда сирены. Ты разве не видишь такого странного зарева? – Это было где-то в стороне Нового Орлеана: облака действительно выглядели как-то странно.

– Я ничего не вижу, – ответил я.

Джейн презрительно фыркнула:

– Парадайз – все такой же.

Вот так мы и встретились после четырех лет разлуки. Джейн когда-то жила со мной и моей женой в Нью-Йорке.

– А Галатhea Данкель здесь? – спросил я. Джейн все еще пыталась разглядеть свой пожар; в те дни она глотала по три трубочки бензедриновых бумажек в день. Лицо ее, когда-то пухлое, германское и миленькое, стало каменным, красным и изможденным. В Новом Орлеане она заразилась полиомелитом и теперь прихрамывала. Дин с компанией робко вылезли из машины и более-менее пообвыклись. Галатhea Данкель вышла из своего величественного уединения в глубине дома, чтобы встретить своего мучителя. Галатhea оказалась девушкой серьезной. Она была бледна и, похоже, все время плакала. Большой Эд взъерошил пятерней шевелюру и сказал:

– Привет. – Она смотрела на него, не отводя взгляда:

– Где ты был? Зачем ты так со мною поступил? – Она метнула в Дина злобный взгляд: расклад она явно знала. Дин не обратил на нее совершенно никакого внимания: сейчас он хотел только поесть; он спросил у Джейн, нет ли чего-нибудь. Конфузы начались незамедлительно.

[10]

– О, Сал, ты, наконец, сюда добрался; давай зайдём внутрь и выпьем.

Чтобы рассказать про Старого Быка Ли, понадобилась бы целая ночь; достаточно будет лишь упомянуть, что он был учителем, да еще можно сказать, что он имел полное право учить, поскольку сам всю жизнь учился; а учился он тому, что считал «фактами жизни», и учился им не потому, что приходилось, а потому, что ему хотелось. В свое время он протащил свое тощее тело по всем Соединенным Штатам, по большей части Европы и по Северной Африке лишь затем, чтобы посмотреть, что там творится; в тридцатых годах в Югославии он женился на русской белогвардейской графине, только чтобы выцарапать ее из лап фашистов; сохранились его фотографии со всей международной кокаиновой тусовкой тридцатых годов – это такая банда людей с дикими волосами, опирающихся друг на друга; на других фотографиях он стоит в панаме и озирает улицы Алжира;

белогвардейскую графиню он больше никогда в жизни не видел. Он травил крыс в Чикаго, торчал за стойкой бара в Нью-Йорке, разносил повестки в Ньюарке. В Париже он сидел за столиком в кафе и наблюдал, как мимо проплывают недовольные физиономии французов. В Афинах он выглядывал из своего «ouzo» на тех, кого называл «самым уродливым народом в мире». В Стамбуле пробирался сквозь толпы курильщиков опиума и торговцев коврами в поисках своих фактов. В отелях Англии читал Шпенглера и маркиза де Сада. В Чикаго планировал совершить налет на турецкие бани, задержался на пару минут дольше, чем нужно, чтобы выпить, закончил это дело всего с двумя долларами в кармане и вынужден был уносить оттуда ноги. Все эти вещи он проделывал просто ради накопления жизненного опыта. Теперь его последним курсом образования стало пристрастие к наркотикам. Теперь он жил в Новом Орлеане, шлялся по улицам с разными подозрительными типами и торчал в барах для подпольных связников.

Вот одна странная история про его дни в колледже, которая кое-что в нем проясняет: как-то днем он пригласил друзей на коктейль в свои хорошо обставленные комнаты, как вдруг выскочил его ручной хорек и укусил одного элегантного беззащитного гомика за лодыжку, и все, вопя, ломанулись из комнаты. Старый Бык подскочил, схватил свой дробовик и, сказав «Он снова учуял эту старую крысу», шарахнул в стенку, проделав в ней дыру для пятидесяти таких крыс. А на стене висела картина – вид мерзкой развалюхи на мысе Кейп-Код. Друзья спрашивали его: «Зачем у тебя тут болтается эта мерзость?» – а Бык им отвечал: «Мне нравится, потому что она мерзкая». Вся его жизнь текла в такой вот струе. Однажды я постучался к нему домой в трущобах на 60-й улице в Нью-Йорке, он открыл дверь в котелке, жилете, под которым ничего не было, и длинных полосатых пижонских брюках; в руках у него была кастрюлька, где он пытался растолочь конопляное семя, чтобы потом набивать им папиросы. Еще он экспериментировал с кипячением кодеинового сиропа от кашля – получалась черная размазня, и ничего не выходило. Он проводил долгие часы с

Шекспиром – он называл его «Бессмертным Бардом» – на коленях. В Новом Орлеане он стал проводить такие же долгие часы с Кодексами Майя, и, хотя он не переставал говорить, книга все время лежала перед ним раскрытой. Я однажды спросил:

– Что с нами станет, когда мы умрем? – А он ответил:

– Когда умираешь, то ты просто мертвый и всё. – У него в комнате висел набор цепей, которые, как он говорил, нужны ему при работе с психоаналитиком; они экспериментировали с наркоанализом и обнаружили, что в Старом Быке – семь совершенно различных личностей, которые чем дальше, тем гаже и гаже становятся – до тех пор, пока он не превращается в буйного идиота, и его надо сдерживать цепями. Верхней личностью в нем был английский лорд, нижней – этот самый идиот. Где-то на полпути он был старым негром, который стоял в очереди вместе со всеми и говорил: «Некоторые – подонки, некоторые – нет, вот и весь расклад».

Еще у Быка был такой сентиментальный закидон по поводу старых добрых деньков Америки, особенно в 1910 году, когда в любой аптеке без рецепта можно было купить морфия, а китайцы курили опий прямо у себя на подоконниках по вечерам, и вся страна была дикой, скандальной и свободной, и свободы было много, и она была любого вида для всех и каждого. Пуще всего он ненавидел вашингтонскую бюрократию; на втором месте стояли либералы; потом – легавые. Все время он беспрестанно говорил и учил других. Джейн сидела у его ног; я тоже; и Дин, и даже Карло Маркс. Мы все учились у него. Он был серым, невзрачным парнем, из тех, кого обычно не замечаешь на улице, если не взглянешь пристальнее и не увидишь безумный костлявый череп с его странной молоджавостью – этакий канзасский проповедник со своими экзотическими феноменальными гееннами и таинствами. В Вене он изучал медицину; он изучал антропологию, читал все подряд; а теперь приступал к труду всей своей жизни – к изучению самих вещей на улицах бытия и ночи. Он сидел в своем кресле; Джейн вносила напитки, мартини. Шторы на окнах у его кресла всегда были задернуты, ночью и днем; это был его уголок дома. На коленях у него лежали Кодексы Майя и пневматическое ружье, из которого он время от времени сшибал трубочки из-под бензедрина у противоположной стены. Я бегал взад-вперед, выставляя ему новые. Мы все постреливали по ним за разговором. Быку очень хотелось узнать причину нашего путешествия. Он вглядывался нам в лица и шмыгал носом: фумп, – звук как в пустой бочке.

– Ну, Дин, я хочу, чтобы ты присел на минуточку и рассказал мне, чего ты добиваешься, ездя вот так вот по всей стране.

В ответ Дин мог лишь залиться румянцем и сказать:

– Н-ну, ты же сам знаешь, как это бывает.

– Сал, а ты зачем на побережье едешь?

– Да я всего на несколько дней. Я вернусь в школу.

– А каков расклад с этим Эдом Данкелем? Что он за тип? – В тот момент Эд в спальне мирился с Галатеей; это не заняло у него много времени. Мы не знали, что рассказать Быку об Эде. Видя, что мы и про самих себя-то ничего не знаем, он извлек три палочки чаю и велел нам раскумариваться, ужин скоро будет готов.

– Нет ничего лучше в мире, чтобы нагнать аппетит. Я однажды съел с лотка отвратительный гамбург под траву, и он показался мне вкуснейшей штукой на свете. На той неделе я только вернулся из Хьюстона, ездил к Дэйлу узнать, как там наш черноглазый горошек. Сплю я как-то утром в мотеле, как вдруг меня прямо выбрасывает из постели. Этот чертов придурок только что застрелил в соседней комнате свою жену. Все стоят вокруг, разинув рты, а парень сел себе в машину и укатил, оставив дробовик для шерифа на полу. Они его-таки поймали в Хуме, пьяного вусмерть. Человеку уже небезопасно ездить по стране без ружья. – Он откинул полу своей куртки и показал нам револьвер. Потом выдвинул ящик и засветил весь остальной арсенал. Однажды в Нью-Йорке у него под кроватью хранился автомат. – У меня теперь есть кое-что получше – немецкий газовый пистолет «Шейнтот»; вы посмотрите на этого красавца, у меня только один патрон есть. Я мог бы вырубить им сотню мужиков, а потом еще успел бы удрать. Вот только плохо, что один патрон всего.

– Надеюсь, меня рядом не будет, когда ты станешь его пробовать, – сказала Джейн из кухни. – А откуда ты вообще знаешь, что это газовый патрон? – Бык фыркнул: он никогда не обращал внимания на ее подколки, но слышал их. Его отношения с женой были страннее некуда; они разговаривали друг с другом до поздней ночи; слово иметь любил Бык, он говорил и говорил своим жутким монотонным голосом, она пыталась вклиниться и никак не могла; под утро он уставал, и тогда Джейн говорила, а он слушал, шмыгая носом: фуип. Она любила этого человека до умопомрачения, но как-то бредово; между ними никогда не было никаких околичностей – прямой разговор и очень глубокое товарищество, которое никому из нас и присниться не могло. Некая любопытная черствость и холодность между ними была, на самом деле. Просто хохмой, с помощью которой они передавали друг другу собственный набор тончайших вибраций. Любовь – это всё; Джейн никогда не отходила от Быка дальше, чем на десять футов и никогда не пропускала ни единого его слова, а он, надо заметить, говорил очень тихим голосом.

Мы с Динем наперебой орали о грандиозной ночи в Новом Орлеане и хотели, чтобы Бык показал нам, что к чему. Он тут же нас обломил:

– Новый Орлеан – очень скучный городишко. В цветную часть запрещено ходить по закону. Бары – невыносимо тоскливы.

Я сказал:

– Но должны же в городе быть какие-нибудь идеальные бары.

– Идеального бара в Америке не существует. Идеальный бар – это нечто за пределами наших познаний. Вот в девятьсот десятом бар был таким местом, куда мужчины ходили во время или после работы повидать друг друга, и все, что там было, – это длинная стойка, медные поручни, плевательницы, пианист для музыки, пара зеркал и бочки с виски по десять центов за порцию вместе с бочками пива по пять за кружку. А теперь там лишь хром, пьяные бабы, пидары, злые бармены, суетливые владельцы, которые маячат у дверей, да трясутся по поводу своих кожаных стульев и полиции; там стоит ор, когда не нужно, а когда заходит кто-нибудь посторонний – мертвая тишина.

Мы заспорили о барах.

– Хорошо, – сказал он. – Сегодня вечером я возьму вас в Новый Орлеан и покажу, что я имел в виду. – И он специально потащил нас по самым скучным барам. Мы оставили Джейн с детьми, когда покончили с ужином: она читала объявления о найме в новоорлеанской «Таймс-Пикайюн». Я спросил, не ищет ли она работу; она лишь ответила, что это самая интересная часть газеты. Бык поехал с нами в город, не переставая говорить.

– Не бери в голову, Дин, мы туда доберемся, я надеюсь; оп-ля, вот и паром, вот только прямо в реку нас везти не надо. – Он держался по-прежнему. А вот Дин стал похуже, как сам Бык мне признался. – Мне кажется, он стремится к своему идеалу в судьбе, что является принудительным психозом, разбавленным растравленными язвами психопатической безответственности и жестокости. – Он искоса глянул на Дина. – Если ты поедешь в Калифорнию с этим психом, то у тебя ничего не выйдет. Не остаться ли тебе со мной в Новом Орлеане? Завалимся в Гретну, поставим там на лошадок, расслабимся у меня во дворе. У меня есть хороший набор ножей, я сейчас строю мишень. А в городе, к тому же, попадаются довольно сочные куколки, если ты по ним сейчас встречаешь. – Он шмыгнул носом. Мы были как раз на пароме, и Дин выскочил из машины повисеть на перилах. Я пошел за ним, а Бык остался сидеть в машине, шмыгая носом: фумп. Той ночью над бурными водами и темным плавником висело мистическое видение тумана; а на той стороне ярко-оранжево тлел Новый Орлеан, и у кромки его темнело несколько кораблей – несколько призрачно окутанных дымкой каравелл с испанскими балкончиками и изукрашенными полютами, – пока не приближался и не убеждался в том, что это всего-навсего старые сухогрузы из Швеции и Панамы. Огни парома ярко горели в темноте; те же самые негры махали лопатами и пели. Старина Дылда Хазард как-то работал на алжирском пароме палубным матросом; я вспомнил о нем и подумал о Джине с Миссиссиппи; и пока река истекала из середины Америки под светом звезд, я знал. Я знал, как одержимый, что всё, что сам когда-либо знал и еще только узнаю, – Едино. Странно сказать, но той ночью, когда мы с Быком Ли ехали на пароме, девчонка совершила там самоубийство – прыгнула с палубы; это случилось или сразу до, или сразу после нас; на следующий день мы прочли об этом в газетах.

Мы прошвырнулись со Старым Быком по всем скучным барам Французского Квартала и вернулись домой в полночь. Той ночью Мэрилу зарядилась всем, чем только можно: она попробовала чаёк, колеса, бенни, кир и даже попросила Старого Быка задвинуть ее М, чего, конечно, делать он не стал; вместо этого он налил ей мартини. Она настолько пропиталась всевозможной химией, что ее замкнуло, и она тупо стояла на крыльце со мною вместе. У Быка было дивное крыльцо. Оно опоясывало весь дом; в лунном свете, рядом с ивами дом походил на старинный южный особняк, выдавший лучшие дни. Внутри Джейн сидела в гостиной и читала объявления о найме; Бык ширялся в ванной, перетянув руку старым черным галстуком и зажав его кончики в зубах, тыча иглой в многострадальную руку с тысячей дырок я ней; Эд Данкель распростерся с Галатеей на массивной хозяйской постели, которой Старый Бык с Джейн так и не воспользовались; Дин забивал косяк; а мы с Мэрилу изображали южных аристократов.

– Ах, мисс Лу, вы сегодня вечером выглядите очень мило и очаровательно. – Ах, благодарю вас, Кроуфорд, как приятно слышать то, что вы говорите.

По всей перекошенной террасе, не переставая, хлопали двери: то участники нашей грустной драмы в американской ночи выскакивали посмотреть, где все остальные. Наконец, я в одиночестве отправился прогуляться к дамбе. Я хотел посидеть на грязном берегу и хорошенько врубиться в реку Миссиссиппи; вместо этого пришлось смотреть на нее, уткнувшись носом в колючую проволоку. Что получается, когда начинаете отгораживать народ от его рек?

– Бюрократия! – говорит Старый Бык; он сидит с Кафкой на коленях, над ним горит лампа, он шмыгает носом: фумп. Его старый дом поскрипывает. А мимо, по черной реке ночи проплывает бревно из Монтаны. – Ничего, кроме бюрократии. И еще профсоюзы! Профсоюзы в особенности! – Но темный смех раздастся снова.

Он и раздался наутро, когда я вскочил спозаранку и обнаружил Старого Быка с Дином на заднем дворе. На Дине была его старая роба с бензоколонки: он помогал Быку. Бык притащил здоровый брус плотного трухлявого дерева и отчаянно орудовал клещами, вытаскивая маленькие гвоздики, загнанные туда. Мы смотрели на гвоздики: их там были миллионы; они кишели червями.

– Когда я вытащу отсюда все гвозди, то построю себе полку, которая продержится тысячу лет! – говорил Бык, и каждая косточка его сотрясалась от возбуждения. – Как, Сал, ты разве не знал, что полки, которые сейчас делают, либо трескаются под весом всяких безделушек через полгода, либо вообще рушатся? То же самое и с домами, и с одеждой. Эти сволочи изобрели пластмассу, из нее могли бы строить дома, которые будут стоять вечно. И шины. Американцы каждый год миллионами убивают себя на из-за дефективных резиновых шин, которые раскаляются на дороге и взрываются. Они могли бы делать шины, которые никогда не взорвутся. То же самое с зубным порошком. Есть такая особая резинка, которую они изобрели, – если ребенком ее пожует, всю жизнь не будет ни одной дырки в зубе. То же с одеждой. Они могут делать одежду, которая не снашивается вечно. А предпочитают выпускать дешевку, чтобы всем приходилось вкалывать, пробивать карточки на проходной и организовываться в унылые союзы; чтобы все остальные барахтались, пока в Вашингтоне и Москве хавают что только можно. – Он поднял перед собою трухлявый брус. – Ведь из этого получится превосходная полка, как ты думаешь?

Стояло раннее утро, энергия его была ключом. Бедняга ввел столько мусора в свою систему, что большую часть дня мог выдержать, только сидя в кресле с зажженной в полдень лампой, но утром он был великолепен. Мы начали метать ножи в мишень. Он сказал, что видел в Тунисе одного араба, который мог попасть в глаз человеку с сорока футов. Это свернуло разговор на его тетку, которая в тридцатых годах отправилась в Касбу: – Она была с группой туристов, и у них был гид. А у нее на мизинце – кольцо с брильянтом. Она оперлась о стенку, чтобы минутку передохнуть, как вдруг какой-то ай-раб бросился к ней и отхватил у нее кольцо вместе с мизинцем, не успела она и рта раскрыть, бедняжка. Она вдруг поняла, что у нее больше нет мизинца. Хи-хи-хи-хи-хи! – Когда он смеялся, то сжимал губы, и смех шел издалека, из живота; он сгибался пополам и опускался на колени. Смеялся он долго. – Эй, Джейн! – ликующе завопил он. – Я только что рассказывал Дину и Салу про мою тетку в Касбе!

– Я слышала, – ответила та из дверей кухни милым теплым утром у Залива. Над головой плыли огромные прекрасные облака, облака долины, заставлявшие ощутить всю громаду старой святой развалюхи-Америки – из уст в уста и от кончика до кончика. Бык был весь полон силы и соков.

– Слушай, а я тебе рассказывал про папашу Дэйла? Смешнее этого старикана ты в жизни бы не встретил. У него был парез, а парез съедает всю переднюю часть мозга, и поэтому ни за что не отвечаешь, что бы ни взбрело тебе на ум. У него был дом в Техасе, и плотники работали там круглые сутки – делали новые пристройки. Он подскакивал посреди ночи и говорил: «Я не хочу здесь этого проклятого крыла, перенесите его вот сюда». Плотникам приходилось все сносить и начинать крыло заново. Потом старику это наскучивало, и он

говорил: «Черт подери, хочу в Мэн!» Садился в машину и гнал сотню миль в час – за ним следом по ветру только цыплячий пух летел от такой скорости. Тормозил прямо посреди какого-нибудь тexasского городка лишь затем, чтобы выйти и купить виски. Застрявшие машины вокруг него сигналили, а он вылетал из машины и вопил: «Прекратите этот чертов гам, ах вы, банда фволочи!» Он шепелявил; когда парез, начинаешь шевелить... то есть, шепелявить. Как-то ночью он примчался ко мне домой в Цинциннати, подудел под окнами и сказал: «Вылезай, поехали в Техас, Дэйла повидаем». Он как раз возвращался из Мэна. Хвастался, что купил дом... О, мы в колледже даже рассказ про него написали, там такое жуткое кораблекрушение, и люди в воде хватаются за борта шлюпки, а старик сидит в ней с мачете и кромсает им пальцы: «Убирайтефь, банда фволочи, это моя флюпка, черт бы ваф подрал!» Ох, он был ужасен! Я мог бы тебе целый день про него истории рассказывать. Слушай, какой денек четкий, а?

Так оно и было. От дамбы дули нежнейшие ветерки: за этим стоило ехать в такую даль. Мы вслед за Быком зашли в дом измерить стену для будущей полки. Он показал нам обеденный стол, который тоже сколотил сам. Стол был из плахи шести дюймов толщиной. – Вот стол, который простоит тысячу лет! – сказал Бык, маниакально вытягиваясь к нам всем своим худым лицом. Он постучал по столу.

По вечерам он сидел за этим столом, ковыряя еду и швыряя косточки котам. У него жило семь котов.

– Я люблю котов. Особенно тех, которые мяукают, когда их держишь над ванной. – Он очень хотел показать нам, но в ванной как раз кто-то заперся. – Что ж, – сказал он, – сейчас не получится. Да, еще я тут сражался с соседями. – Он рассказал нам о соседях: это была огромная компания с нахальными детьми, которые через поваленный штакетник швырялись камнями в Доди и Рэя, а иногда и в самого Быка. Тот велел им прекратить; их старик выскочил и заорал что-то по-португальски. Бык зашел в дом, вынес свой дробовик и встал, скромненько так на него опершись; под широкими полями шляпы по лицу его бродила самодовольная ухмылка, все тело застенчиво и змеино изгибалось, а он ждал – неправдоподобный, тощий, одинокий клоун под облаками небесными. Португалец при виде его мог бы решить, что ему заживо явился кто-то из древнего злого сна.

Мы рыскали по двору, ища, чем бы еще заняться. Там был гигантский забор, которым Бык отгораживался от несносных соседей, но его так никогда и не достроили – задача оказалась слишком непосильной. Бык шатал его взад-вперед, чтобы показать, какой он крепкий. Неожиданно он устал, утихомирился, ушел в дом и скрылся в ванной сделать себе предобеденный укол. Вышел успокоенный и со стеклянными глазами, сел под свою зажженную лампу. Солнечный свет слабо тыкался в задернутую штору.

– Слушайте, а почему бы вам, парни, не испытать мой оргонный аккумулятор? Это вошьет в ваши кости немного соку. Я, например, всегда подхватываюсь и рву со скоростью девяносто миль в час в ближайший бардак, хо-хо-хо! – Это был его «смешной» смех – когда он на самом деле не смеялся. Оргонный аккумулятор – обычный ящик, достаточно большой, чтобы внутри поместился человек, сидящий на стуле: слой дерева, слой металла и еще один слой дерева собирают оргоны из атмосферы и удерживают их достаточно долго для того, чтобы человеческое тело впитало их в себя больше, чем составляет его обычную

долю. По Райху, органы – это вибраторные атмосферные атомы жизненного принципа. Люди болеют раком потому, что у них ааканчиваются органы. Старый Бык считал, что его органный аккумулятор станет лучше, если дерево, использованное в нем, будет как можно более органическим, поэтому привязывал к своей мистической уборной листья и веточки с кустарников в дельте. Кабинка стояла на жарком плоском дворе – облупленная машина, убранная гроздьями маниакальных затей. Старый Бык разоблачался и заходил внутрь посидеть и потаращиться на собственный пупок.

– Слушай, Сал, а давай после обеда съездим-ка с тобою, да поставим на лошадку к букашке в Гретну? – Он был великолепен. После обеда он задремал в своем кресле с пневматическим ружьем на коленях, и маленький Рэй во сне обхватил его шею ручонками. Милое зрелище – папа с сыном, папа, который определенно никогда бы не зачал сына, если бы нашлось, что делать и о чем говорить. Вздрогнув, он проснулся и уставился на меня. Целую минуту он не мог сообразить, кто я такой.

– Зачем ты едешь на Побережье, Сал? – спросил он и мгновенно заснул снова.

Днем мы отправились в Гретну вдвоем с Быком. Мы поехали в его стареньком «шеви». У Дина «Гудзон» был длинным и прилизанным; «шеви» Быка был высок и разболтан. Совсем как в 1910-м. Точка букмекеров располагалась неподалеку от набережной в большом кожаном-хромированном баре, который другой стороной выходил в громадный зал, где на стене вывешивались номера и ставки. Вокруг слонялись луизианского вида личности с «Беговыми Формулярами». Мы с Быком выпили пива, и Бык как ни в чем ни бывало подошел к игральному автомату и сунул в щель полдолларовую монету. Счетчики отщелкивали: «Банк» – «Банк» – «Банк» – а последний «Банк» лишь чуть-чуть повисел и соскочил обратно в «вишенку». Он проиграл сотню или даже больше лишь на какой-то волосок.

– Дьявол! – завопил Бык. – Они эти штуки отрегулировали специально. Это же видно было. У меня был банк, а механизм нарочно соскочил. Ну что тут поделаешь? – Мы изучили «Беговой Формуляр». Я много лет не играл на тотализаторе, и было забавно видеть всякие новые имена. Одну лошадь там звали Большой Папка, и я впал из-за этого во временный транс, подумав о своем отце, который играл со мною в лошадок. Я только собирался сообщить об этом Быку, как тот сказал:

– Ну, я думаю попробовать вот этого Эбенового Корсара.

Тут я смог, наконец, промолвить:

– Большой Папка напомнил мне об отце.

Он размышлял всего какую-то секунду, его ясные голубые глаза гипнотичеоки замкнулись на моих – так, что я не мог сказать, ни о чем он думает, ни где он вообще. Потом он подошел и поставил на Эбенового Корсара. Выиграл Большой Папка, который оплачивался пятьдесят к одному.

– Дьявольщина! – сказал Бык. – Следовало быть умнее, у меня уже был такой случай. Ох, неужели мы никогда ничему не научимся?

– Ты о чем?

– О Большом Папке – вот о чем. У тебя было видение, мой мальчик, видение. Только проклятые дураки не обращают внимания на видения. Откуда ты знаешь, что твой отец, сам

заядлый игрок, не попытался мгновенно сообщить тебе, что Большой Папка выиграет заезд? Имя возбудило в тебе чувство, а он воспользовался именем и вступил с тобой в контакт. Вот о чем я думал, когда ты про это упомянул. Мой двоюродный брат в Миссури однажды поставил на лошадь с именем, которое напомнило ему о матери, лошадь выиграла и принесла хороший приз. То же самое произошло и сейчас. – Он покачал головой. – А-а, поехали. Сегодня последний раз, когда я с тобой играю на скачках; все эти видения меня отвлекают. – В машине, когда мы ехали назад в его старый дом, он сказал: – Человечество когда-нибудь поймет, что мы, на самом деле, находимся в постоянном контакте с мертвыми и с другим миром, каким бы он ни был; прямо сейчас мы могли бы предсказать, если бы только напрягли достаточно умственной воли, что случится в последующую сотню лет, и могли бы предпринять шаги, чтобы избежать всевозможных катастроф. Когда человек умирает, он переживает мутацию мозга, о которой мы пока ничего не знаем, но однажды она станет совершенно ясной, если ученые поймут намек. Пока же эти сволочи заинтересованы лишь в том, смогут ли они взорвать весь наш мир.

Мы рассказали про это Джейн, Та лишь фыркнула:

– По мне, так это звучит глупо. – Она махала веником по всей кухне. Бык ушел в ванную делать свой дневной укол.

Прямо на дороге Дин с Эдом Данкелем играли в баскетбол мячиком Доди, приколотив к фонарному столбу ведерко. Я присоединился. Потом мы перешли к атлетическим подвигам. Дин совершенно меня изумил. Он велел нам с Эдом держать железный прут на уровне пояса, а сам прыгал через него без разбега, поджимая ноги.

– Давайте выше. – Мы поднимали прут, пока тот не оказался на высоте груди. И все же Дин прыгал через него очень легко.

Потом он попробовал прыгать в длину и сделал, по меньшей мере, футов двадцать, а то и больше. Потом мы с ним бегали наперегонки по дороге. Я могу сделать сотню аа 10 и 5. Он обошел меня как ветер. Пока мы бежали, у меня возникло безумное видение Дина, бегущего вот так через всю свою жизнь: худое лицо вытолкнуто навстречу жизни, руки ходят ходуном, лоб потеет, ноги мелькают, как у Граучо Маркса, он вопит:

– Да! Да, чувак, конечно, ты можешь! – Но ведь никому за ним не угнаться, и это правда.

Потом из дому вышел Бык с парой ножей и стал показывать нам, как обезоружить в темном переулке потенциального гоп-стопщика с финкой. Я, со своей стороны, тоже показал ему очень хороший прием: падаешь на землю перед противником, захватываешь его лодыжками и валишь наземь, перехватывая ему запястья полным нельсоном. Он сказал, что это довольно хороший прием. Еще он показал кое-что из джиу-джитсу. Маленькая Доди позвала маму на крыльцо и сказала:

– Посмотри, какие дяди глупые. – Она была такой миленькой нахалкой, что Дин не мог оторвать от нее глаз.

– У-ух! Вот погодите, она вырастет. Вы можете себе представить, как она срезает всю Канал-стрит своими хорошенькими глазками? Ах! Ох! – И он втягивал сквозь зубы воздух. Мы провели безумный день в центре Нового Орлеана, гуляли с Данкелями. Дин в тот день окончательно свихнулся. Когда он увидел в депо грузовые поезда Техасской и Новоорлеанской Линии, то захотел показать мне все сразу:

– Ты станешь тормозным кондуктором, не успею я тебе всего объяснить! – Он, я и Эд Данкель перебежали пути и прыгнули на поезд в трех разных местах; Мэрилу с Галатеей остались ждать нас в машине. Мы проехали с полмили прямо к пирсам, маша стрелочникам и кондукторам. Они показали мне, как правильно спрыгивать с поезда: сначала опускаешь толчковую ногу, потом состав пусть пройдет чуть дальше, ты разворачиваешься и опускаешь вторую ногу. Мне показали вагоны-холодильники, ледники, в них хорошо ехать зимней ночью, когда весь поезд пустой.

– Помнишь, я рассказывал тебе о перегоне из Нью-Мексико в Л.А.? – крикнул Дин. – Вот так я и висел...

Мы вернулись к девчонкам через час, и они, конечно же, разозлились. Эд с Галатеей решили снять в городе квартиру, остаться здесь и устроиться на работу. Бык не возражал – ему уже осточертела вся наша толпа. С самого начала приглашение приехать было мне одному. В передней комнате, где спали Дин с Мэрилу, стоял кавардак, кофейные пятна, трубочки из-под бенни, разбросанные по всему полу; больше того, это была рабочая комната Быка, и он поэтому не мог закончить свои полки. Бедную Джейн постоянно отвлекала непрекращающаяся беготня и прыжки Дина. Мы ждали, пока придет мой следующий солдатский чек: его мне должна была переслать тетушка. После этого мы бы снова сорвались с места втроем – Дин, Мэрилу и я. Когда чек пришел, я понял, что мне до смерти не хочется так вдруг покидать чудесный дом Быка, но Дин весь прямо исходил энергией и готов был нестись дальше.

В грустных красных сумерках мы, наконец, расселись в машине, а Джейн, Доди, маленький Рэй, Бык, Эд и Галатея стояли вокруг в высокой траве и улыбались. Это было прощание. В последний момент Дин с Быком затеяли разборки из-за денег: Дин хотел занять; Бык ответил, что об этом не может быть и речи. Это чувство уходило корнями еще в тexasские времена. Пройдоха Дин противопоставлял себя людям постепенно. Он маниакально хихикал и чихать на все хотел, он потирал себе ширинку, лез пальцем в платье к Мэрилу, смачно шлепал ее по коленке, пускал ртом пузыри и говорил:

– Дорогая моя, и ты знаешь, и я знаю, что между нами все пучком, наконец, превыше отдаленнейших абстрактных определений в терминах метафизики или в любых других терминах, которые ты захочешь уточнить, или мило навязать, или же внять... – И так далее, и летела дальше машина, и мы снова снялись в Калифорнию.

Что это за чувство, когда уезжаешь от людей, а они становятся на равнине все меньше и меньше, пока их пылинки не рассеиваются у тебя на глазах? – это слишком огромный мир высится сводом над нами, и это прощание. Но мы склоняемся вперед, навстречу новому безумству под небесами.

Мы колесили по Алжиру в застарелом знойном воздухе, обратно на паром, опять к заляпанному грязью бугристым старым судам на той стороне реки, снова на Канал и прочь из города, по двухрядному шоссе на Батон-Руж в лиловой темноте; оттуда повернули на запад, переехали через Миссиссиппи в местечке под названием Порт-Аллен. Порт-Аллен – где река вся пахнет дождем и розами в едва проглядной туманной тьме, где мы вывернули с кругового разъезда и вдруг в желтом свете фар увидели под мостом эту огромную черную массу и вновь пересекли вечность. Что такое река Миссиссиппи? глыба, омываемая дождливой ночью, легкое шлепанье с покатых берегов Миссури, растворение, бег прилива по вечному руслу, дань коричневой пене, путешествие вдоль бесконечных дол, и деревьев, и дамб, дальше вниз, дальше, мимо Мемфиса, Гринвилля, Юдоры, Виксбурга, Нэтчеза, Порт-Аллена и мимо Порт-Орлеана, и мимо Порты Дельта, мимо Поташа, Венеции и Великого Залива Ночи, и прочь.

Настроив радио на программу тайн и поглядывая в окно – где я увидел вывеску «ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КРАСКОЙ КУПЕРА», на что и ответил: «Ладно, буду», – мы катили по луизианским равнинам сквозь ночь, игравшую с нами в жмурки, – через Лоутелл, Юнис, Киндер и Де-Квинси, западные рахитичные городишки, все больше напоминавшие рукава дельты по мере того, как мы приближались к Сабине. В Старых Опелузах я зашел в бакалейную лавку купить хлеба и сыра, пока Дин позаботится о бензине и масле. Сараюшка да и только – было слышно, как в задней комнате семейство ужинает. Я подождал с минуту: там продолжали разговаривать. Я взял хлеба, сыра и выскользнул из дверей. У нас едва хватало денег, чтобы добраться до Фриско. Тем временем Дин прихватил с бензоколонки блок сигарет, и мы полностью затарились на дорогу – бензин, масло, курево и провизия. Жулику всё мало. Дин направил машину прямо по дороге.

Где-то под Старксом в небе перед собой мы увидели громадное красное зарево; интересно, что это, подумали мы; а через минуту уже проезжали мимо. За деревьями был пожар; на шоссе стояло множество машин. Там могли просто жарить рыбу, но, с другой стороны, это могло оказаться чем угодно. У Дьюивилла местность стала чужой и темной. Мы вдруг оказались посреди болот.

– Чувак, ты можешь себе вообразить: вдруг в этих болотах мы натыкаемся на джазовую точку, а там клевые черные мужики стонут блюзы под гитару, потягивают змеиный сок и делают нам ручкой?

– Да!

Вокруг везде были тайны. Машины шла по грунтовке, насыпанной прямо по болотам; кюветы были сплошь увиты виноградными лозами. Мы проехали мимо привидения: то был негр в белой рубашке, он шел по дороге, воздев руки к чернильной тверди. Должно быть, молился или призывал проклятья. Мы пронеслись рядом: я обернулся и увидел в заднем стекле его белые глаза.

– Фу-у! – выдохнул Дин. – Осторожнее. В этих местах лучше не останавливаться. – Но в одном месте мы застряли на перекрестке и все равно остановились. Дин выключил фары. Нас окружали громадные леса с деревьями, оплетенными лианами; почти слышно было, как среди них скользят миллионы мокасиновых змей. Мерцал лишь красный глазок питания на приборной доске «гудзона». Мэрилу поскуливала от страха. Мы начали хохотать как маньяки, чтобы поугаять ее. Мы и сами боялись. Нам хотелось выбраться из этого обиталища змей, из этой уходящей из-под ног трясины тьмы, нам хотелось снова вылететь на знакомую американскую почву, к животноводческим городкам. В воздухе стоял запах нефти и мертвой воды. Это была рукопись ночи, прочесть которую мы не могли. Ухала сова. Мы попытались счастья на одной из боковых дорог и довольно скоро переехали через старую и злую реку Сабину, из-за которой здесь возникли все эти болота. Пораженные, мы смотрели на огромные структуры света впереди:

– Техас! Это Техас! Нефтяной городок Бомонт! – Гигантские цистерны и очистители городами громоздились в благоухавшем нефтью воздухе.

– Я рада, что мы оттуда выбрались, – сказала Мэрилу. – Давайте опять включим программу с детективами.

Мы пронеслись сквозь Бомонт, над рекой Тринити в Либерти и прямиков на Хьюстон.

Теперь Дин взялся рассказывать о своих хьюстонских деньках в 47-м:

[11]

[12]

По пустым улицам Хьюстона в четыре утра вдруг проревел пацан на мотоцикле, весь осыпанный блестящими пуговицами, украшенный зипперами, в мотоциклетных очках, в тесной черной куртке, техасский поэт ночи, девчонка цеплялась ему за спину как ребенок индейцев, волосы развевались, они мчали вперед, распевая: «Хьюстон, Остин, Форт-Уорт, Даллас – иногда Канзас-Сити – а иногда старый Энтоун, ах-хаааа!» Превратившись в точку света, они исчезли из виду.

– У-ух! Врубите в эту клевую девчонку у него на ремне. Дунули. – И Дин попытался их догнать. – А ведь четко было бы, если б можно было всем нам собраться и вжарить со всякими милыми, четкими и славными людьми – и никаких разборок, никаких детских протестов, никаких неверное понятых детских обид, ничего? Ах! но мы познали время. – Он склонился перед этой мыслью и прибавил скорости.

За Хьюстоном вся его энергия, какой бы неистощимой она ни казалась, выдохлась, и за руль сел я. Только я за него взялся, как пошел дождь. Теперь мы были на огромной техасской равнине, и, как сказал Дин: «Все едешь и едешь – а завтра ночью опять в Техасе». Лило. Я проехал сквозь запущенный скотоводческий городок по его грязной главной улице и оказался в тупике. Эге, дальше-то что делать? Они оба спали. Я развернулся и пополз обратно. На улицах ни души, не горит ни один фонарь. Вдруг в свете моих фар возник всадник в дождевике. Это был шериф в десятигаллонной шляпе с обвисшими под потоками воды полями.

– Как проехать в Остин? – Он мне вежливо объяснил, и я отъехал. За городом неожиданно увидел пару фар, светивших мне прямо в лицо. Оп-ля, подумал я, да мы не по той стороне едем; отвернул вправо и оказался в грязи; снова выехал на дорогу. Фары по-прежнему

светили навстречу. В последнее мгновение я понял, что это другой водитель едет не там и не знает этого. Я сбросил скорость до тридцати и съехал в грязь: слава Богу, там было ровно, никаких канав. Под проливным дождем машина-нарушитель сдала чуть назад. Четверо хмурых полевых рабочих, сбежавших от своей работы покуражиться в питейных полях, все в белых рубашках и с грязными бурыми лапами, тупо пялились на меня сквозь ночь. Водитель был пьян как сапожник.

Он спросил:

– К-как ехать в Х-хустон? – Я ткнул большим пальцем себе за спину. Меня как громом поразило в середине мысли, что они сделали это намеренно, чтобы спросить дорогу, как попрошайка, который всегда идет по тротуару тебе навстречу и не дает пройти. Они сокрушенно тарачились себе под ноги, где, позвякивая, катались пустые бутылки. Я завел машину; она застряла в грязи с фут глубиной. В дождливой тexasской глубинке мне оставалось лишь вздохнуть.

– Дин, – сказал я, – проснись.

– Чего?

– Мы засели в грязи.

– Что случилось? – Я рассказал. Он выматерился. Мы надели старые башмаки, свитера и ломанулись под проливной дождь. Я подлез спиной под задний бампер и, тужась, приподнимал машину; Дин заводил цепи под скользкие колеса. Через минуту мы были с головы до ног в грязи. В этом кошмаре мы разбудили Мэрилу и заставили ее заводиться, пока мы толкаем. Измученный «гудзон» не поддавался. Вдруг он вздрогнул и дернул прямо через дорогу. Мэрилу тормознула как раз вовремя, и мы забрались внутрь. Своего мы добились – вся работа заняла полчаса, а мы промокли насквозь и упали духом.

Я заснул, весь заляпанный грязью; а утром, когда проснулся, грязь засохла, а снаружи был снег. Мы приближались к Фредериксбургу на высокогорье. Это была одна из худших зим в Техасе, да и вообще во всей истории Запада, когда скот мёр как мухи под буранами, а снег шел даже в Сан-Франциско и Л.А. Мы были несчастны. Мы жалели, что уехали из Нового Орлеана, от Эда Данкеля. Машину вела Мэрилу; Дин спал. Одну руку она держала на баранке, а другой тянулась ко мне на заднее сиденье. Она ворковала обещания о Сан-Франциско. Я жалко покорялся им. В десять я сел за руль – Дин вырубился на много часов – и ехал несколько сот тягомотных миль через заснеженные кусты и облезлого вида холмы, поросшие полынью. Проезжали ковбои в бейсбольных кепочках и наушниках – искали коров. Вдоль дороги то и дело возникали уютные домики с курящимися трубами. Хорошо бы заехать туда на фасоль с пахтой перед камином.

В Соноре я снова угостился бесплатным сыром и хлебом, пока владелец болтал с толстым ранчером на другом конце лавки. Дин заорал ура, когда узнал об этом: он проголодался. На еду мы не могли истратить ни цента.

– Да-а, да-а, – говорил он, наблюдая, как ранчеры слоняются взад-вперед по главной улице Соноры, – каждый из них – гадский миллионер, тысяча голов скота, работники, постройки, деньги в банке. Если б я здесь жил, я б лучше был идиотом в чистом поле, я б лучше был зайцем, ветки бы глодал, охотился бы на хорошеньких пастушек – хии-хии-хии-хии! Черт! Бам! – Он стукнул себя кулаком. – Да! Правильно! Ох-ох! – Мы уже не понимали, что он

несет. Он сел за руль и пролетел остаток штата Техас, около пятисот миль до самого Эль-Пасо, приехав туда в сумерках и не останавливаясь, если не считать одного раза, когда он снял с себя всю одежду, где – то под Озоной, и голым бегал, прыгая и вопя, по полыни. Машины пронеслись мимо и не видели его. Потом он юркнул в кабину и поехал дальше. – Ну, Сал, ну, Мэрилу, я хочу, чтобы вы оба сейчас сделали то, что делаю я, скиньте с себя бремя всей вашей одежды – к чему нам одежда? Слушайте, что я вам говорю, – и поджарьте на солнышке ваши хорошенькие животики со мною вместе. Давайте! – Мы ехали на запад, к солнцу; оно светило сквозь лобовое стекло. – Раскройте свои животы, пока мы в него едем. – Мэрилу подчинилась, рассусолилась; я тоже. Мы сидели на переднем сиденье, все втроем. Мэрилу достала кольдкрем и намазала им нас, смеху ради. Время от времени мимо пронеслись большие грузовики; водители в высоких кабинах краем глаза замечали обнаженную золотоволосую красавицу, сидящую с двумя голыми мужиками; можно было видеть, как их слегка кидало в сторону, когда они исчезали в нашем зеркальце заднего вида. Мимо катили широкие полынные степи, уже без снега. Скоро мы оказались в окрестностях каньона Пеконс с оранжевыми скалами. Голубые просторы раскрывались в небесах. Мы вылезли из машины обследовать древние индейские развалины. Дин вышел совершенно голым. Мы с Мэрилу набросили куртки. Мы бродили среди старых камней, ухая и завывая. Некие туристы заметили на равнине голого Дина, но не поверили своим глазам и поковыляли себе дальше.

Дин и Мэрилу остановили машину у Ван-Хорна и занимались любовью, пока я спал. Я проснулся как раз, когда мы начали скатываться вниз по громаднейшей долине Рио-Гранде, через Клинт и Ислету к Эль-Пасо. Мэрилу прыгнула на заднее сиденье, я перепрыгнул вперед, и мы покатались. Слева от нас, на той стороне неохватных пространств Рио-Гранде были мавританско-красные вершины мексиканской границы, земли Тарахумаре; мягкие сумерки играли тенями на пиках. Прямо впереди лежали дальние огоньки Эль-Пасо и Хуареса, высеянные в огромнейшую долину – настолько гигантскую, что можно было видеть, как в разные стороны одновременно пыхтят несколько железных дорог, будто именно здесь – Долина Мира. Мы спускались в нее.

– Клинт, Техас! – сказал Дин. Он настроил радио на станцию Клинта. Каждые пятнадцать минут там запускали пластинку; остальное время передавали лишь рекламу заочного курса старших классов. – Эта программа идет по всему Западу, – взволнованно сказал Дин. – Чувак, я, бывало, слушал ее каждый день и каждую ночь в колонии и в тюрьме. Мы все раньше туда писали. Получаешь аттестат по почте, с факсимильной подписью, если пишешь им контрольную. Все молодые пастухи на Западе – плевать, кто – рано или поздно пишут туда: они, кроме этого, больше ничего не слушают; настраиваешь радио в Стерлинге, Колорадо, в Ласке, Вайоминг, плевать, где – и все равно получаешь один Клинт, Техас, Клинт, Техас. А музыка – одни ковбойские хиллбилли и мексиканские песни, абсолютно паршивейшая программа во всей истории страны, и никто не может ничего с этим поделать. У них потрясный передатчик: всю землю повязал. – Мы увидели высокую антенну над хибарами Клинта. – Ох, чувак, что бы я мог тебе порассказать! – вскричал Дин, чуть не плача. Совсем уже нацелившись на Фриско и на Побережье, мы без шиша в кармане приехали в Эль-Пасо, когда стемнело. Нам совершенно необходимо было раздобыть денег

на бензин, а то мы никогда не доедем.

Мы пробовали всё. Мы звонили в бюро путешествий, но в тот вечер на запад никто не ехал. Бюро путешествий – это такое место, куда идешь, чтобы проехать куда-то с оплатой за бензин, это на Западе легально. Там ошиваются всякие ловкачи с обшарпанными чемоданами. Мы съездили на междугороднюю автостанцию «грейхаундов» попытаться убедить кого-нибудь отдать деньги нам вместо того, чтобы ехать на Побережье автобусом. Но мы слишком робели, чтобы к кому-нибудь подойти. Мы печально слонялись вокруг. Снаружи было холодно. Какой-то мальчик из колледжа весь аж вспотел при виде Мэрилу, но старался выглядеть незаинтересованно. Мы с Динем посоветовались, но решили, что сутенерство – не для нас. Вдруг какой-то молодой придурок, видать, только что из исправительной колонии, прицепился к нам, и они с Динем сразу же куда-то намылились:

– Давай, чувак, пошли, треснем кого-нибудь по башке, а деньги заберем.

– Я врубаюсь, чувак! – завопил Дин. Они рванули прочь. На какой-то момент я забеспокоился, но Дину просто захотелось оттянуться по улицам Эль-Пасо вместе с этим пацаном. Мы с Мэрилу остались ждать в машине. Она обвила меня руками.

Я сказал:

– Черт возьми, Лу, подожди, пока мы до Фриско доедем.

– Мне плевать. Дин все равно меня бросит.

– Когда ты возвращаешься в Денвер?

– Не знаю. Мне плевать, что делать. Можно мне с тобой, на Восток?

– Надо будет во Фриско раздобыть денег.

– Я знаю, где там можно устроиться в павильон торговать, а я буду официанткой. Я знаю гостиницу, где можно пожить в кредит. Будем держаться вместе. Ох, как же грустно.

– Почему тебе грустно, маленькая?

– Мне грустно по всему. Ах, черт, вот бы Дин еще не был таким чокнутым. – Дин, подмигивая и хихикая, вернулся и прыгнул в машину.

– Что за безумный кошак этот пацан, ф-фу! Как я в него врубился! Я раньше знал таких парней тысячами, они все одинаковые, мозги у всех работают как часы в униформе, о! бесконечные ответвления, нет времени, нет времени... – И он разогнал машину, сгорбившись над баранкой, и с ревом вылетел из Эль-Пасо. – Придется подбирать стопщиков. Я положительно уверен, что мы их найдем. Оп! оп! это мы. Берегись! – завопил он мотоциклисту, обогнул его, увернулся от грузовика и выпрыгнул за пределы города. За рекой сияли драгоценные огоньки Хуареса, и печальная сухая земля, и драгоценные звезды Чиуауа. Мэрилу наблюдала за Динем, как наблюдала за ним всю дорогу по стране и обратно, краем глаза – с хмурым, понурым видом, так, словно хотела отрезать ему голову и спрятать ее к себе в шкаф, с завистливой и горестной любовью к нему, настолько изумительно верному себе, к такому неистовому, колючему, с безумными повадками, наблюдала с улыбкой нежного помешательства, но вместе с тем и зловещей зависти, страшившей меня в ней, с любовью, которая никогда не принесет плода, и Мэрилу это знала, ибо когда глядела на его сухощавое лицо с полуоткрытым ртом, с его мужской замкнутостью и рассеянностью, она знала, что он слишком безумен. Дин же был убежден, что Мэрилу – шлюха; он по секрету сказал мне, что она патологическая лгунья. Но когда она

за ним вот так наблюдала, во взгляде ее была еще и любовь; а когда Дин это замечал, то всегда обращал на нее свою широкую фальшивую кокетливую улыбку, трепетал ресницами, обнажал жемчужно-белые зубы, хотя всего миг назад лишь грезил в своей собственной вечности. Тогда и Мэрилу, и я оба смеялись – а Дин нимало не смущался, лишь радостно и дурацки ухмылялся, как бы говоря нам: ну разве мы не оттягиваемся все равно? Вот и все. За Эль-Пасо, в темноте, мы заметили маленькую нахохленную фигурку с вытянутым вперед большим пальцем. Это и был наш обещанный стопщик. Мы притормозили рядом.

– Сколько у тебя денег, пацан? – У пацана денег не было вообще: лет семнадцати, бледный, странный, с одной недоразвитой скрюченной рукой и без всякого чемодана.

– Ну не милый ли он? – сказал Дин, оборачиваясь ко мне с напускной серьезностью. – Залезай, приятель, мы заберем тебя... – Пацан сразу же ухватил все свои преимущества. Он сказал, что у него тетка в Туларе, Калифорния, у которой есть бакалейная лавка, и как только мы туда доберемся, он нам возьмет немного денег. Дин от хохота аж сполз с сиденья – так это походило на пацана из Северной Каролины.

– Да! да! – вопил он. – У нас у всех есть тетки; ладно, поехали, посмотрим всех теток, и дядек, и бакалейные лавки, все, что есть вдоль этой дороги!! – Так у нас появился новый пассажир, и притом прекрасный парень, как оказалось. Он не говорил ни слова, он лишь слушал нас. Через минуту разговоров Дина он, должно быть, решил, что сел в машину к психам. Он сказал, что едет стопом из Алабамы в Орегон, где и живет. Мы спросили его, что он делал в Алабаме.

– Ездил навестить дядю: тот говорил, что у него есть для меня работа на лесопилке. Но с работой не вышло, и вот я еду домой.

– Едешь домой, – отозвался Дин, – домой, да, я знаю, мы довезем тебя до дому, ну, до Фриско уж точно, во всяком случае. – Но у нас не было никаких денег. Тогда мне пришло в голову, что можно занять долларов пять у моего друга Хала Хингэма в Тусоне, Аризона. Дин немедленно заявил, что дело решенное, мы едем в Тусон. Туда и свернули.

Ночью мы миновали Лас-Крусес, Нью-Мексико, и на рассвете приехали в Аризону. Я вынырнул из глубокого сна и обнаружил, что все спят, как ягнята, а машина стоит Бог знает где, потому что в запотевшие стекла ничего не видно. Я вышел. Мы стояли в горах; вставал небесный рассвет, прохладные лиловые ветерки, красные горные склоны, изумрудные пастбища в долинах, роса и изменчивые облака из золота, на земле – норки сусликов, кактусы, мескитовые деревья. Пришла моя очередь ехать. Я растолкал Дина и пацана и спустился с горы на сцеплении с выключенным двигателем, чтобы сэкономить горючее. Таким манером я и вкатился в Бенсон, Аризона. Тут я вспомнил, что у меня есть еще карманные часы, которые Рокко только что подарил мне на день рождения, хорошие часы за четыре доллара. На бензоколонке я спросил человека, где тут в Бенсоне ломбард. Оказалось, прямо рядом с заправкой. Я постучал, там кто-то поднялся с постели, и через минуту за свои часы я получил доллар. Он целиком утек в бак. Теперь бензина до Тусона нам хватало. Но тут вдруг появился большой патрульный с пистолетом – не успел я выехать с бензоколонки – и потребовал мои права.

– Права у парня на заднем сиденье, – сказал я. Дин спал вместе с Мэрилу под одеялом. Фараон велел Дину вылезать. Внезапно он выхватил свою пушку и заорал:

– Руки держать вверх!

– Начальник, – услышал я елеинейший и смешной голос Дина, – да я ничего, начальник, я только ширинку застегивал. – Сам фараон чуть не разулыбался. Дин вылез наружу, весь в грязи, ободранный, в майке, почесывая живот, ругаясь, ища везде свои права и бумаги на машину. Легавый обшарил наш багажник. С бумагами все было в порядке.

– Я только проверяю, – сказал он, широко улыбнувшись. – Теперь можете ехать. Бенсон, на самом деле, – неплохой городок; вам может понравиться, особенно если тут позавтракать.

– Да-да-да, – сказал Дин, не обращая на него никакого внимания, и отъехал прочь. Все вздохнули с облегчением. Полицейские подозрительны, когда компании молодых людей приезжают в новых машинах без цента в кармане и вынуждены закладывать часы.

– Ох, да они всегда лезут, – сказал Дин, – но этот был гораздо лучше, чем та крыса в Виргинии. Они стараются арестовать так, чтобы это попало в заголовки, они думают, что в каждой проезжающей машине – какая-нибудь крупная чикагская банда. Им больше делать нечего. – Мы ехали дальше, в Тусон.

Тусон располагается в очень красивой речной пойме среди мескитовых рощ; над ним возвышается заснеженный хребет Каталина. Весь город – одна большая стройплощадка; люди временные, дикие, амбициозные, занятые, веселые; бельевые веревки и трейлеры; суматошные улицы центра, увешанные флагами; все вместе выглядит как-то очень по-калифорнийски. Форт-Лоуэлл-роуд, на которой жил Хингэм, вилась вокруг ласковых деревьев над рекой посреди плоской пустыни. Мы увидели и самого Хингэма, слонявшегося по двору. Он был писателем; он приехал в Аризону работать в тишине и спокойствии над книгой. Это был длинный, мосластый, робкий сатирик, который в разговоре вечно бормотал, отвернувшись в сторону, и всегда говорил смешные вещи. Его жена с ребенком жили с ним в глинобитном домике, выстроенном его отчимом-индейцем. Мать жила напротив в собственном доме. Она была такой вечно возбужденной американкой, которая любит керамику, бусы и книги. Хингэм слышал о Дине по письмам из Нью-Йорка. Мы налетели на него, как ураган, все голодные, даже Альфред, наш калека-автостопщик. На Хингэме был старый свитер, он курил трубку в резком воздухе пустыни. Вышла его мать и пригласила нас на кухню поесть. Мы сварили лапшу в огромном котле.

Потом все поехали на перекресток в винную лавку, где Хингэм обменял чек на пять долларов и отдал деньги мне.

Прощание было кратким.

– Мне определенно было приятно, – сказал Хингэм, глядя в сторону. За деревьями на той стороне песков красным пылала огромная вывеска придорожной закусочной. Хингэм всегда ходил туда выпить пива, когда уставал писать. Он был очень одинок, он хотел вернуться в Нью-Йорк. Было грустно видеть его высокую фигуру, отступавшую в темноту по мере того, как мы отъезжали – совсем как те, другие люди в Нью-Йорке и Новом Орлеане: они неуверенно стоят под неохватными небесами, и всё в них тонет. Куда ехать? что делать? зачем? – спать. Но эта глупая шайка гнала вперед.

За Тусоном на темной дороге мы увидели еще одного автостопщика. Это был сезонник из Бейкерсфилда, Калифорния, который тут же выложил нам свою историю.

– Прок-клятье, я поехал из Бейкерсфилда на машине из бюро путешествий и забыл гит-тару в багажнике другой машины, и ни гит-тара, ни эти ковбоишки больше не появились; я, видите ли, музыкант, и ехал в Аризону играть с «Полынными Парнями» Джонни Маккоу. И вот – ч-черт, видите, я в Аризоне, без гроша, а гит-тару увели. Отвезите меня, парни, в Бейкерсфилд, и я возьму денег у брата. Сколько вы хотите? – Мы хотели ровно столько, чтобы хватило на бензин от Бейкерсфилда до Фриско, около трех долларов. Теперь в машине нас стало пятеро.

– Добрый вечер, мэм, – сказал он, приподняв шляпу перед Мэрилу, и мы покатали дальше. Посреди ночи мы проехали над огнями Палм-Спрингса по горной дороге. На рассвете, по заснеженным перевалам мы пробирались в сторону Мохейва, к подъему на великий перевал Техачапи. Сезонник проснулся и стал рассказывать анекдоты; маленький славный Альфред сидел и улыбался. Сезонник рассказал нам, что знал человека, который простил свою жену за то, что та стреляла в него, и вытащил ее из тюрьмы только ради того, чтобы она стреляла в него вторично. Мы как раз проезжали мимо женской тюрьмы, когда он это рассказывал. Мы видели, как впереди начинается перевал Техачапи. Дин сел за руль и вознес нас прямиком на вершину мира. Мы проехали большой, окутанный пеленой цементный завод в каньоне. Потом начали спускаться. Дин заглушил мотор, выжал сцепление и делая все, что полагается, без помощи акселератора. Я лишь крепче держался. Иногда дорога снова ненамного уходила в гору; он просто обгонял другие машины без единого звука, на чистой инерции. Он знал каждый ритм и каждый взбрык этого первоклассного перехода. Когда надо было повернуть налево, огибая низкую каменную стенку, отгораживавшую это дно мира, он просто отклонялся далеко влево, не выпуская из рук руля, напрягшись, – и так миновал его, а когда новый поворот изогнулся вправо, и на этот раз у нас слева оставался утес, он отклонился вправо, заставив нас с Мэрилу качнуться с ним вместе. Таким макаром мы плыли и летели вниз, в долину Сан-Хоакин. Она раскинулась в миле под нами, самое донышко Калифорнии, зеленая и чудесная на вид с нашей воздушной полки. Мы делали тридцать миль в час, не расходуя топлива.

Мы все вдруг стали очень возбуждены. Дин захотел рассказать мне сразу все, что знал о Бейкерсфилде, пока мы подъезжали к окраинам города. Он показывал мне мебелирашки, где останавливался, железнодорожные гостиницы, бильярдные, столовки, разъезды, на которых спрыгивал с паровоза набрать винограду, китайские ресторанчики, где он ел, скамейки в парках, где он встречался с девчонками, и некие места, где он не делал ничего, а только сидел и ждал. Калифорния Дина – дикая, потная, очень важная, земля одиноких, изгнанных и эксцентричных влюбленных, которые собирается в стаи, земля, где все почему-то похоже на сломленных, симпатичных, декадентских актеров кино.

– Чувак, я целыми часами сидел вот на этом самом стуле перед вот этой аптекой! – Он помнил все – каждую игру в пинокль, каждую женщину, каждую печальную ночь. Как вдруг проехали то место в депо, где мы с Терри сидели на ящиках бичей под луною, пили вино в октябре 1947-го, и я попытался ему об этом рассказать. Но его трясло от возбуждения. –

Вот здесь мы с Данкелем провели целое утро – пили пиво и пытались сделать натуральную клевую официанточку из Ватсонвилля... нет, из Трэйси, да, точно, из Трэйси... а звали ее Эсмеральда... да, чувак, что-то типа этого. – Мэрилу соображала, что будет делать, как только приедет во Фриско. Альфред сказал, что его тетка даст ему в Туларе много денег. Сезонник показывал нам, как проехать к жилищу его брата за городом.

В полдень мы затормозили у маленькой, увитой розами хижины, и сезонник, зайдя внутрь, стал о чем-то разговаривать с какими-то женщинами. Мы ждали его пятнадцать минут. – Я уже начинаю думать, что у парня не больше денег, чем у меня, – сказал Дин. – Мы всё больше зависаем! Возможно, в семье нет никого, кто бы дал ему хоть цент после его дурацкой выходки. – Сезонник вяло вышел из дому и стал показывать дорогу в город. – Прок-клятье, надо все-таки брата найти. – Он начал расспрашивать всех. Вероятно, он чувствовал себя нашим заложником. Наконец, мы приехали в большую булочную, и сезонник вышел к нам со своим братом, одетым в робу: очевидно, тот работал автомехаником где-то внутри. Несколько минут они с братом разговаривали. Мы ждали в машине. Сезонник рассказывал всем родственникам о своих приключениях и о том, как он потерял гитару. Но денег на этот раз ему дали, он отдал их нам, и можно было ехать во Фриско. Мы поблагодарили его и стартанули.

Следующей остановкой был Туларе. Мы ревели вверх по долине. Я лежал на заднем сиденье, совершенно обессиленный, сдавшийся, а где-то днем, пока я дремал, заляпанный грязью «гудзон» промчался мимо палаток за Сабиналем, где я жил, и любил, и работал в призрачном прошлом. Дин твердо склонялся над рулем, гоня нашу карету. Я спал, когда мы, наконец, прибыли в Туларе; а там проснулся, чтобы выслушать безумные подробности. – Сал, проснись! Альфред нашел бакалею своей тетки, но знаешь, что случилось? Его тетка застрелила мужа и села в тюрьму. Магазин закрыт. Мы не получили ни цента. Подумай только. Вот как бывает: сезонник рассказал нам в точности такую же историю, об-лом со всех сторон, события усложняются – ух ты ж черт! – Альфред кусал ногти. Мы свернули с дороги на Орегон в Мадере и попрощались там с маленьким Альфредом. Пожелали ему удачи и попутного ветра домой. Он сказал, что это была лучшая поездка в его жизни. Казалось, всего минуты прошли прежде, чем мы начали скатываться с холмов перед Оклендом, как вдруг увидели перед собою раскинувшийся сказочный белый город Сан-Франциско, на его одиннадцати мистических холмах перед синим Тихим океаном, с его стеной тумана, наползающей с «картофельной грядки» вдалеке, с его дымом и позолотой позднего дня.

[13]

Дин неожиданно стал прощаться. Он рвался увидеть Камиллу и узнать, что тут происходило. Мы с Мэрилу тупо стояли посреди улицы и смотрели, как он уезжает. – Вот видишь, какой он мерзавец? – сказала Мэрилу. – Дин бросит тебя на холоде в любой момент, если ему это выгодно. – Я знаю, – ответил я, оглянувшись на восток и вздохнул. Денег у нас не было. Дин не вспомнил про деньги. – Где остановимся? – Мы немного побродили по узким романтическим улочкам, таща за собою узлы со шмутками. Все вокруг были похожи на побитую массовку, на усохших звездочек кино: разочарованные дублеры, карликовые автогонщики,

язвительные калифорнийские типы с их краесветной печалью, симпатичные декадентские казановы, блондинки из мотелей с припухшими глазами, фарцовщики, сутенеры, шлюхи, массажисты, шестерки – чертова куча, ну как человеку жить с такой бандой?

[14]

В гостинице мы прожили вместе два дня. Я понял, что теперь, когда Дин вышел из кадра, Мэрилу я, на самом деле, не интересую, она лишь пыталась дотянуться до Дина через меня, его кореша. Мы ссорились в номере. Еще мы проводили целые ночи в постели, и я рассказывал ей свои сны. Я рассказывал ей о большом всесветном змее, который лежит, свернувшись, в земле, как червяк в яблоке, но однажды он вспучит на земле холм, который с того времени станет называться Змеиным Холмом, и расстелется по всей равнине во всю свою длину в сотни миль, и будет пожирать все у себя на пути. Я сказал ей, что имя этому змею – Сатана.

– Ой, что же будет? – скулила она; а тем временем прижималась ко мне крепче.

– Святой по имени Доктор Сакс уничтожит его тайными травами, которые вот в этот самый момент сейчас готовит в своем подземном прибежище где-то посреди Америки. Но точно так же может быть явлено, что змей этот – всего лишь оболочка голубок: когда он умрет, громадные облака голубок серого цвета семени выпорхнут наружу и разнесут с собою вести мира по всему миру. – Я лишился разума от голода и горечи.

Однажды ночью Мэрилу исчезла с владелицей ночного клуба. Как договаривались, я ждал ее в подъезде через дорогу, на углу Ларкин и Гири, голодный – как вдруг она вышла из фойе богатого дома напротив со своей подругой, владелицей этого самого ночного клуба, и с сальным стариком явно при деньгах. Первоначально она собиралась лишь зайти навестить подругу. Я сразу увидел, что она за курва. Она даже побоялась подать мне знак, хотя видела меня в том подъезде. Она процокала своими маленькими ножками мимо, нырнула в «кадиллак» – только ее и видели. Теперь у меня никого не оставалось, ничего.

[15]

Таким и нашел меня Дин, когда, наконец, решил, что я достоин спасения. Он забрал меня домой, к Камилле.

– Где Мэрилу, чувак?

– Эта курва сбежала. – После Мэрилу Камилла была облегчением: хорошо воспитанная, вежливая молодая женщина, к тому же, она догадывалась, что те восемнадцать долларов, которые прислал ей Дин, – мои. Но О, куда ушла ты, милая Мэрилу? Несколько дней я отдыхал в доме у Камиллы. Из окна ее гостиной в деревянном доме на Либерти-стрит можно было видеть весь Сан-Франциско, пылающий зеленым и красным в дождливую ночь. Дин совершил самую смешную вещь за всю свою карьеру в те несколько дней, что я у них гостил. Он устроился ходить по кухням и демонстрировать новый вид чудо-печек. Торговец давал ему кипы брошюр и образцы. В первый день Дин был один сплошной ураган энергии. Я сопровождал его по всему городу, пока он объезжал свои стрелки. Идея заключалась в том, чтобы пробиться на официальный обед и посреди него вдруг подскочить и начать демонстрировать свою чудо-печку.

– Чувак, – возбужденно кричал Дин, – это еще полоумнее, чем когда я работал на Сайну. Сайна торговал в Окленде энциклопедиями. Никто не мог от него отделаться. Он произносил долгие речи, он скакал вверх и вниз, он смеялся, он плакал. Однажды мы ворвались с ним в дом одного сезонника, где все как раз готовились идти на похороны. Сайна опустился на колени и стал молиться за спасение усопшей души. Все сезонники разрыдались. Он продал полный комплект энциклопедий. Это был самый безумный парень на свете. Интересно, где он сейчас. Мы, бывало, подбирались поближе к хорошеньким молоденьким дочерям хозяев и щупали их на кухне. Сегодня днем у меня была отпадная домохозяйка в маленькой такой кухоньке – я ее рукой вот так вот, демонстрировал... э-э! кхм! У-ух!

– Валяй в том же духе, Дин, – сказал я. – Может, когда-нибудь станешь мэром Сан-Франциско. – Весь свой треп он разрабатывал заблаговременно, тренируясь по вечерам на нас с Камиллой.

Как-то утром он стоял нагишом у окна и смотрел на город, пока всходило солнце: как будто он когда-нибудь действительно станет языческим мэром Сан-Франциско. Но энергия его выдыхалась. Однажды дождливым днем зашел его хозяин – узнать, чем он занимается. Дин валялся на кушетке.

– Ты пытался продавать эти штуки?

– Не-а, – ответил Дин. – У меня другая работа подкатывает.

– Ну а что ты собираешься делать с образцами?

– Не знаю. – В мертвой тишине торговец собрал свои скорбные кастрюльки и ушел. Мне до смерти все надоело. Дину – тоже.

Но как-то ночью мы вдруг снова свихнулись вместе: пошли посмотреть Слима Гайярда в маленький фрискинский клуб. Слим Гайярд – это высокий худой негр с большими печальными глазами, который всегда говорит: «Хорошо-руни» и «Как по части немного бурбонаруни?» Во Фриско целые жадные толпы молодых полуинтеллектуалов сидели у его ног и слушали, как он играет на пианино, гитаре и бонгах. Когда он разогревается, то

снимает рубашку, майку – и погнали. Он делает и говорит все, что приходит ему в голову. Он может петь «Бетономешалка, Дыр-дыр, Дыр-дыр» – как вдруг замедляет бит, задумавшись, зависает над бонгами, едва касаясь их кожи кончиками пальцев, а все в это время, затаив дыхание, подаются вперед, чтобы расслышать: сначала думаешь, что он будет вот так вот какую-то минуту, но он продолжает иногда чуть ли не по целому часу, извлекая кончиками ногтей еле уловимый шум – все тише и меньше, пока расслышать уже совершенно ничего нельзя, и через открытые двери доносятся шумы с улицы. Потом он медленно поднимается, берет микрофон и говорит, очень медленно говорит:

– Клево-орунни... четко-орунни... привет-орунни... бурбон-орунни... всё-орунни... как там у мальчиков с первого ряда с их девочками-орунни... орунни... ваути... орунируни... – Так продолжается минут пятнадцать, его голос становится все тише и мягче, пока уже совсем ничего не слышно. Его большие печальные глаза обшаривают зал.

Дин встает в передних рядах и говорит:

– Бог! Да! – И сцепляет в молитве руки, и потеет. – Сал, Слим знает время, он познал время. – Слим садится за пианино и берет две ноты, две до, потом еще две, потом одну, потом две – и вдруг большой дородный басист встряхивается и соображает, что Слим играет «До-Джем Блюз», и лупит своим пальцем по струне, и накатывает большой раскатистый бит, и всех начинает раскачивать, а Слим выглядит, как всегда, печально, и они вдувают такой джаз полчаса, а потом Слим звереет, и хватает бонги, и играет выдающиеся скоростные кубинские ритмы, и вопит всякие безумства на испанском, на арабском, на перуанском диалекте, на египетском – на всех языках, которые он знает, а знает он бесчисленное число языков. Наконец, концерт окончен; каждый длится два часа. Слим Гайярд выходит и становится у столба, и смотрит вверх голов, пока люди подходят к нему поговорить. В руку ему всовывают стакан с бурбоном.

– Бурбон-орунни... спасибо-оваути... – Никто не знает, где Слим Гайярд. Дину как-то приснился сон, что у него будет ребенок, что живот его весь раздуло, а сам он лежит на траве в калифорнийской больнице. Под деревом, в группе цветных людей сидит Слим Гайярд. Дин обращает к нему свой материнский отчаявшийся взор. А Слим говорит: «Ну, давай-орунни». Теперь Дин подошел к нему, как подходил бы к своему Богу; он и думал, что Слим – Бог; он шаркнул и поклонился ему, и пригласил его подсесть к нам.

– Хорошо-орунни, – ответил Слим: он подсядет к кому угодно, вот только не может гарантировать, что будет с тобой вместе душой. Дин заказал столик, купил напитки и напряженно сел напротив Слива. Слим грезил вверх его головы. Каждый раз, когда он говорил «орунни», Дин откликнулся: «Да!» Я сидел за одним столиком с двумя безумцами. Ничего не происходило. Для Слива Гайярда весь мир был одним сплошным орунни. Той же самой ночью на Филлморе и Гири я врубился в Абажура. Абажур – это большой цветной парень, который заходит в разные музыкальные салоны Фриско в пальто, шляпе и шарфе, запрыгивает на сцену и начинает петь; на лбу у него набухают вены; он гнется и выпускает каждым мускулом своей души мощный сиренный блюз. Когда он поет, то орет на людей:

– Не помирайте, чтобы попасть на небо, начните с Доктора Перчика и кончайте виски! – Его голос раскатывается вверх всего. Он корчит рожи, он корчится сам, он делает все. Он

подошел к нашему столику, перегнулся к нам и сказал:

– Да! – а потом, шатаясь, вывалился на улицу, чтобы ударить по другим салонам. Потом там еще есть Конни Джордан – полоумный, который поет, размахивая при этом руками, и все заканчивается тем, что он брызжет на всех потом, сшибает микрофон и визжит как баба; потом его можно увидеть поздно ночью, совершенно изможденного, – он слушает дикие джазовые сейшаки в «Уголке Джемсона», расширив круглые глаза и опустив плечи, липко уставившись в пространство; перед ним – стакан с чем-нибудь. Я никогда не видел таких чокнутых музыкантов. Во Фриско джаз лабают все. Там край континента; им на все плевать. Мы с Динем валандались по Сан-Франциско таким вот манером, пока я не получил своего следующего солдатского чека и не собрался возвращаться домой.

Чего я добился, приехав во Фриско, – не знаю. Камилле хотелось, чтобы я уехал; Дину было, так или иначе, все равно. Я купил буханку хлеба, мяса и сделал себе десяток бутербродов, чтобы снова протянуть через всю страну; они все на мне протухли к тому времени, как я доехал до Дакоты. В последний вечер Дин спятил и где-то в городе отыскал Мэрилу, мы забрались в машину и погнали по всему Ричмонду на той стороне Залива, по негритянским джазовым сараям на нефтеразработках. Мэрилу собиралась сесть, а цветной парень выдернул из-под нее стул. Девки приставали к ней в сортире с разными непристойностями. Ко мне тоже приставали. Дин весь извелся. Это был конец; мне хотелось оттуда выбраться.

На рассвете я сел в свой нью-йоркский автобус и простился с Динем и Мэрилу. Им захотелось моих бутербродов. Я сказал им нет. Мрачный миг. Мы все думали, что больше никогда друг друга не увидим, и нам было наплевать.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Весной 1949 года у меня осталось несколько долларов от солдатских чеков, полученных на образование, и я поехал в Денвер, думая там и остаться. Я видел себя в Средней Америке таким патриархом. Мне было одиноко. Там никого не было – ни Бэйб Роулинс, ни Рэя Роулинса, ни Тима Грэя, ни Роланда Мэйджора, ни Дина Мориарти, ни Карло Маркса, ни Эда Данкеля, ни Роя Джонсона, ни Томми Снарка, никого. Я бродил по Кёртис-стрит и Латимер-стрит, немного подрабатывал на оптовом фруктовом рынке, куда чуть было не устроился в 47-м, – самая тяжелая работа в моей жизни: как-то раз нам с японскими пацанами пришлось вручную толкать по рельсам целый товарный вагон – футов сто, с помощью примитивного домкрата, который с каждым рывком сдвигал эту махину на четверть дюйма. Чихая, я таскал корзины с арбузами по ледяному полу морозильников на раскаленное солнце. Во имя всего святого под звездами, ради чего?

В сумерках я гулял. Я чувствовал себя пылинкой на поверхности печальной красной земли. Я проходил мимо гостиницы «Виндзор», где Дин Мориарти жил со своим отцом во время депрессии тридцатых, и, как и во время оно, я везде искал грустное – существующее лишь в моем воображении. Либо находишь кого-то похожего на твоего отца, в таких местах, как Монтана, либо ищешь отца друга там, где его больше нет.

В сиреневых сумерках я, страдая каждой своей мышцей, бродил среди фонарей 27-й Улицы и Уэлтона в цветном районе Денвера и хотел стать негром, чувствуя, что даже лучшего из того, что предлагает мир белых, не хватит мне для экстаза: мне не доставало жизни, радости, оттяга, тьмы, музыки, не доставало ночи. Я остановился у маленькой хижины, где человек продавал горячий красный чили в бумажных стаканчиках; купив немного, я съел его на ходу в темных таинственных улицах. Я хотел быть денверским мексиканцем или даже бедным, надорвавшимся от работы джапом – кем угодно, только не тем, кем я так беспросветно был: разочаровавшимся «белым человеком». Всю жизнь у меня были амбиции белого; вот почему я оставил такую хорошую женщину, как Терри из долины Сан-Хоакин. Я миновал темные веранды мексиканских и негритянских домов; там звучали тихие голоса, иногда мелькало сумрачное колено какой-нибудь таинственной прелестницы, да темные мужские лица за изгородями из розовых кустов. Маленькие детишки сидели в древних креслах-качалках, точно мудрецы. Мимо прошла компания цветных женщин, и одна из молоденьких отделилась от остальных, материнского вида, и быстро подошла ко мне – «Привет, Джо!» – как вдруг увидела, что перед нею вовсе не Джо, и, зардевшись, отскочила. Хотел бы я быть этим самым Джо. Но я оставался всего лишь собой, Салом Парадайзом, что, печальный, гуляет в этой неистовой тьме, в этой непереносимо сладкой ночи, желая обменяться мирами со счастливыми, чистосердечными, экстатичными неграми Америки. Дранные дворы напомнили мне о Дине и Мэрилу, которые так хорошо знали эти закоулки с самого детства. Как же я хотел отыскать их.

На углу 23-ей и Уэлтона играли в софтбол под лучами прожекторов, которые, к тому же, освещали цистерну с бензином. Огромная возбужденная толпа редела при каждом пасе. На поле были странные молодые герои всех сортов – белые, цветные, мексиканцы, чистые индейцы, – они играли с трогательной серьезностью. Детишки в спортивной форме гоняют мяч на асфальте – только и всего. Никогда за всю свою жизнь я, как спортсмен, не позволял

себе играть вот так – перед семьями, перед подружками, перед соседскими пацанами, ночью, под фонарями; игра всегда проходила в колледже, с большой помпой, с напыщенными лицами: никакой мальчишеской человеческой радости, как здесь. Теперь уже было слишком поздно. Рядом со мною сидел старик-негр, который, судя по всему, ходил смотреть игру каждый вечер. По другую сторону сидел старый белый бич; затем – семейство мексиканцев, потом какие-то девчонки, какие-то мальчишки – все человечество, целая куча. О, что за грусть фонарей в ту ночь! Молодой подающий был вылитый Дин. Хорошенькая блондинка в толпе – точь в точь Мэрилу. То была Денверская Ночь; и я в ней лишь умирал.

Город Денвер, горой Денвер —

Я лишь умирал

Через дорогу негритянские семьи сидели прямо у себя на ступеньках, разговаривали и смотрели в звездное небо сквозь кроны деревьев; они просто отдыхали, расслабившись в этой мягкости, и лишь иногда бросали взгляд на площадку. Тем временем по улице проезжало много машин, они останавливались на перекрестке, когда загорался красный свет. Все было в возбуждении, и воздух наполнился вибрациями действительно радостной жизни, которая ничего не ведает о разочаровании, о «белых горестях» и обо всем прочем. У старого негра в кармане была банка пива, которую он стал открывать: а белый старик с завистью пожирал эту банку глазами и шарил у себя в карманах, пытаясь определить, сможет ли и он тоже купить себе такую. Как я умирал! Я ушел оттуда.

Я отправился повидать одну знакомую богатую девушку. Наутро она выудила из шелкового чулка стодолларовую бумажку и сказала:

– Ты говорил о поездке во Фриско; раз так, то бери, поезжай и развлекайся. – Так все мои проблемы были решены, за одиннадцать долларов на бензин я получил в бюро путешествий место в машине до Фриско и полетел через всю землю.

Машину вели два парня; они сказали, что они сутенеры. Два других парня были пассажирами, как и я. Мы сидели очень плотно и размышляли о конечной цели нашего путешествия. Через перевал Берто мы выехали на огромное плато, к Табернэшу, Траблсому, Креммингу; по проходу Кроличьи Уши спустились к Стимбоут-Спрингс и вырвались наружу; пыльный крюк в пятьдесят миль; затем – Крэйт и Большая Американская Пустыня. Когда мы пересекали границу Колорадо и Юты, в небесах я узрел Господа Бога в виде громадных, золотых, пылавших на солнце облаков над пустыней; казалось, они показывали на меня пальцем и говорили: «Проезжай вот здесь и едь дальше – и ты на дороге к небесам». Но увы и ах, меня больше интересовали какие-то полусгнившие от старости крытые фургоны и бильярдные столы, зачем-то торчавшие посреди невадской пустыни вокруг ларька с кока-колой, а еще там были хижинки с выгоревшими вывесками, все еще хлопавшими на призрачном, таинственном, пустынном ветру; они гласили: «Здесь жил Билл Гремучая Змея» или «Здесь много лет обитала беззубая Энни». Да, вперед! В Солт-Лейк-Сити сутенеры проверили своих девочек, и мы поехали дальше. Не успел я толком ничего понять, как снова увидел перед собой сказочный град Сан-Франциско, раскинувшийся вдоль бухты посреди ночи. Я немедленно побежал к Дину. Теперь у него был свой маленький домик. Я просто весь сгорал от нетерпения узнать, что он замышляет,

и что сейчас произойдет, ибо за мной больше ничего не оставалось, все мои мосты уже сгорели, и мне было вообще на все начхать. Я постучался к нему в два часа ночи.

2

Он вышел к двери совершенно голым – ему было все равно, там мог стоять хоть сам Президент. Он принимал мир как есть, в сыром виде.

– Сал! – вскричал он с неподдельным ужасом. – Вот уж не думал, что ты действительно рискнешь. Ты, наконец, сам ко мне приехал!

– Ага. – ответил я. – Во мне все развалилось. Как у тебя-то дела?

– Не очень, не очень. Но нам с тобой надо про миллион вещей поговорить. Сал, на-ко-нец-то пришло время, когда мы можем поговорить и все между собой уладить. – Мы с ним пришли к соглашению, что такое время в самом деле наступило, и вошли в дом. Мой приезд оказался чем-то вроде появления чужого и злого ангела в обители белоснежных ягнят, поскольку мы с Дином начали взволнованно перебивать друг друга прямо внизу, на кухне, что вызвало откуда-то сверху женские всхлипы. Что бы я ни сказал Дину, ответом да это было дикое, свистящее, содрогающееся «Да!». Камилла уже знала, что произойдет. Очевидно, Дин несколько месяцев был тих, теперь же ангел прибыл, и он сходил с ума вновь.

– Что с нею такое? – прошептал я.

Он ответил:

– Она все хуже и хуже, чувак, она плачет и капризничает, не хочет меня выпускать посмотреть Слима Гайярда, злится всякий раз, когда я задерживаюсь, а когда я остаюсь дома, не хочет со мной разговаривать и говорит, что я изверг. – Он побежал наверх успокоить ее. Я слышал, как Камилла вопила:

– Ты лжешь, лжешь, лжешь! – Я тем временем воспользовался возможностью обследовать этот их дивный домик. То был двухэтажный скособоченный затрапезного вида деревянный коттедж посреди многоквартирных домов на самой верхушке Русского Холма с видом на залив; в нем было четыре комнаты – три наверху и что-то вроде огромной кухни внизу. Из кухни дверь открывалась на заросший травой двор, где были натянуты бельевые веревки. В глубине кухни находилась кладовка, где старые башмаки Дина до сих пор покрывала техасская грязь – с той самой ночи, когда «гудзон» застрял на реке Бразос. «Гудзона», конечно, больше не было: Дин не смог больше ничего за него выплачивать. Теперь у него вообще не было автомобиля. Зато случайно на подходе был их второй ребенок. Ужасно было слышать, как Камилла так всхлипывает. Мы не могли этого вынести и вышли за пивом, и принесли его обратно в кухню. Камилла, наконец, уснула – или же пролежала всю ночь, отсутствующе глядя во тьму. Я не имел ни малейшего понятия, что, на самом деле, здесь не так, если не считать того, что, возможно, Дин все-таки свел ее с ума.

После того, как я уехал из Фриско в последний раз, он снова помешался на Мэрилу и целыми месяцами осаждал ее квартиру на Дивизадеро, где каждую ночь у нее был новый моряк, а он подглядывал в щель почтового ящика, откуда виднелась ее постель. Так он видел Мэрилу по утрам – разметавшуюся с каким-нибудь мальчиком. Он выслеживал ее по всему городу. Он хотел абсолютных доказательств тому, что она – шлюха. Он любил ее, он трясся над нею. В конце концов, ему в руки попала «плохая зеленка», как ее называют свои: ботва, зеленая, необработанная марихуана – довольно случайно, и он выкурил ее слишком много.

– В первый день, – рассказывал он, – я лежал в постели, одеревеневший, как доска, и не мог ни пошевелиться, ни слово сказать: я просто смотрел прямо вверх широко открытыми глазами. Я слышал у себя в голове зуд и видел всякие чудесные видения в техноколоре – я чувствовал себя прекрасно. На второй день ко мне все пришло – ВСЕ, что я когда-то сделал, узнал, прочел, услышал или только предположил, вернулось ко мне и перетасовало себя у меня в мозгу по совершенно новой логике, а поскольку в своих внутренних делах я не мог придумать ничего, что бы могло мне угодить и удержать то изумление и благодарность, что я чувствовал, то я лишь продолжал повторять: «Да, да, да, да». Не громко. Просто «да» – очень тихо, спокойно, и такие зеленые чайные глюки длились до третьего дня. К тому времени я уже все понял, вся моя жизнь была предрешена, я знал, что люблю Мэрилу, я знал, что должен найти своего отца, где бы он ни был, и спасти его, я знал, что ты мой кореш и так далее, я знал, какой великий человек Карло. Я знал тысячи вещей обо всех и везде. Потом, на третий день, у меня начались жуткие ломки, цепь кошмаров наяву – они были такие абсолютно ужасные, омерзительные и зеленые, что я просто стонал, обхватив колени руками: «Ох, ох, ох, ах, ох...» Меня услышали соседи и вызвали врача. Камилла с малышкой как раз уехали к родственникам. Все соседи забеспокоились. Они зашли сюда и нашли меня на кровати с руками, раскинутыми навсегда. Сал, я взял немного этого чая и помчался к Мэрилу. И ты знаешь, что с этой тупой коробкой произошло то же самое? – те же самые видения, та же самая логика, то же самое окончательное решение по поводу всего, взгляд на все истины в одном болезненном куске, который приводит к кошмарам и к боли – бр-р-ах! И тогда я понял, что люблю ее настолько сильно, что хочу ее убить. Я прибежал домой и стал биться головой о стену. Помчался к Эду Данкелю: они с Галатеей снова во Фриско; разузнал у него про парня, у которого, насколько мы знали, был пистолет, побежал к Мэрилу, заглянул в щель для газет, она спала с каким-то парнем, мне пришлось отступить и засомневаться, через час я вернулся, вломился внутрь, она была одна – и я отдал ей пистолет и велел ей убить меня. Она держала пистолет в руке невероятно долго. Я просил ее о сладком пакте смерти. Она не желала. Я сказал, что один из нас должен умереть. Она сказала нет. Я бился головой о стену. Чувак, я был совершенно не в себе. Она тебе сама расскажет, она меня отговорила.

– А потом что случилось?

– Это было много месяцев назад – после того, как ты уехал. Она, наконец, вышла за перекупщика подержанных машин, этот козел пообещал убить меня, как только найдет, и если надо, то мне придется защищаться и убить его, и я тогда пойду в Сан-Квентин, потому что, Сал, еще одна лажа – любая – с моей стороны, и я сяду в Сан-Квентин пожизненно – и тогда мне копец. Плохо с рукой и все дела. – Он показал мне свою руку. В возбуждении я даже не заметил, что с его рукой произошла ужасная штука. – Я дал Мэрилу в лоб двадцать шестого февраля в шесть часов вечера – точнее, десять минут седьмого, поскольку помню, что мне надо было успеть на свой товарняк через час двадцать минут – это был последний раз, когда мы виделись, последний раз, когда мы все решили, и теперь слушай сюда: мой большой палец лишь отскочил у нее ото лба, и у нее даже синяка не осталось, она только посмеялась, а я сломал себе большой палец в запястье, и жуткий доктор ставил мне кости на место – это было трудно, и потребовалось накладывать три отдельных гипса, и в общей

сложности двадцать три часа нужно было сидеть на жестких скамейках и ждать, и так далее, а в последнем гипсе через кончик пальца надо было пропускать штифт для вытяжки, поэтому когда в апреле гипс сняли, этот штифт внес мне в кость инфекцию, и у меня развился остеомиелит, который перерос в хронический, и после операции, которая не удалась, и целого месяца в гипсе в результате пришлось делать ампутацию и срезать кусочек с самого что ни на есть кончика.

Он размотал повязки и показал мне палец. Под ногтем не было около полудюйма мяса. – Становилось все хуже и хуже. Нужно было кормить Камиллу и Эми, и приходилось работать как можно быстрее – я был формовщиком в «Файерстоуне», обрабатывал подновленные шины, а потом грузил их с пола вверх, на машины, а весом они по сто пятьдесят фунтов каждая, а я мог работать лишь одной здоровой рукой, а больную постоянно ударял – и снова ломал ее, и опять мне ее вправляли, и она вся воспалилась и распухла. Поэтому теперь вот я сижу с ребенком, а Камилла работает. Видишь? Какой мандраж-пассаж, у меня классификация три-А, у джазового маньяка Мориарти попочка бобо, его жена каждый день делает ему укол пенициллина от больного пальчика, от этого высыпает крапивница, потому что у него аллергия. Должно быть, он за месяц принял шестьдесят тысяч доз сока Флеминга. Каждые четыре часа он должен совать вот в этот рот одну таблетку, чтобы бороться с аллергией от этого сока. Он должен глотать кодеин с аспирином, чтобы пальчик не болел. Ему надо лечь на операцию, чтобы вскрыть нарывающую кисту на ноге. В следующий понедельник он должен подняться в шесть утра, чтобы почистить зубки. Со своей ножкой он должен ходить к доктору дважды в неделю – лечиться. Каждую ночь он должен принимать сироп от кашля. Он должен постоянно сопеть и сморкаться, чтобы прочищать нос, который провалился под самой седловиной – там, где ему несколько лет назад сделали операцию. Он потерял большой палец на своей бросковой руке. Величайший метатель мяча на семьдесят ярдов в истории исправительной колонии штата Нью-Мексико. И все же – и все же я никогда не чувствовал себя лучше, и прекраснее, и счастливее от того, что есть мир, что можно видеть, как славные детишки играют на солнышке, и я так рад видеть тебя, мой прекрасный, клевый, замечательный Сал, и я знаю, знаю, что все будет хорошо. Ты увидишь ее завтра, мою обалденную, дорогую, прекрасную дочурку, она уже может стоять без поддержки по полминуты зараз, она весит двадцать два фунта, а в длину она двадцать девять дюймов. Я только что вычислил, что она на тридцать один с четвертью процент англичанка, на двадцать семь с половиной процентов ирландка, на двадцать пять процентов немка, на восемь и три четверти процента голландка, на семь с половиной процентов шотландка и на все сто процентов изумительна. – Он любовно поздравил меня с книгой, которую я закончил, и которую теперь приняли издатели. – Мы познали жизнь, Сал, мы становимся старше, каждый из нас, понемножечку, и мы начинаем постигать вещи. То, что ты рассказываешь мне о своей жизни, я понимаю хорошо, я всегда врубался в твои чувства, а сейчас ты на самом деле готов зацепиться за настоящую замечательную девчонку, если только сможешь найти ее, и взрастить ее, и сделать ее разум своей душой – как это так старался сделать я со всеми своими проклятыми бабами. Говно! говно! говно! – завопил он.

А утром Камилла вышвырнула вон нас обоих, с чемоданами и всем прочим. Все началось, когда мы позвали Роя Джонсона, старого денверца Роя, и заставили его зайти выпить пива, пока Дин сидел с ребенком, мыл посуду и стирал на заднем дворе, но из-за своего возбуждения делал все это кое-как. Джонсон согласился отвезти нас в Милл-Сити поискать Реми Бонкёра. С работы в приемной у доктора вернулась Камилла и посмотрела на нас печальным взглядом женщины, задерганной жизнью. Я пытался показать этой одержимой женщине, что у меня нет никаких гадких намерений касательно ее домашней жизни, поэтому поздоровался с нею и заговорил как можно сердечнее, но она знала, что это провокация, возможно даже, заимствованная мною у самого Дина, поэтому лишь коротко улыбнулась в ответ. Наутро была ужасная сцена: она, рыдая, лежала на постели, и посреди всего этого мне вдруг приспичило в туалет, а пройти туда можно было только через ее комнату.

– Дин, Дин! – возопил я. – Где тут ближайший бар?

– Бар? – изумленно переспросил он; он как раз мыл руки над кухонной раковиной внизу. Дин решил, что я хочу надраться. Я рассказал ему о своей дилемме, и он ответил: – Валяй, она так постоянно делает. – Нет, так я не мог. Я выскочил искать бар; обежал четыре квартала вверх и вниз по всему Русскому Холму и не обнаружил ничего, кроме прачечных-автоматов, химчисток, киосков с газировкой и салонов красоты. Я вернулся к ним в скособоченный домик. Они орали друг на друга, а я с жалкой улыбочкой протиснулся мимо и заперся в ванной. Через несколько мгновений Камилла уже сбрасывала все вещи Дина на пол в гостиной и приказывала ему собираться. К своему изумлению, над диваном я заметил портрет Галатеи Данкель в полный рост. Я вдруг понял, что все эти женщины проводили вместе целые месяцы своего одиночества и своей женскости, болтая о безумии собственных мужей. Маниакальное хихиканье Дина раздавалось по всему дому вместе с ревом ребенка. Вот он уже заскользил по комнатам, словно Граучо Маркс, а его сломанный большой палец, замотанный в огромную белую повязку, торчал, будто бакен, неподвижный среди свистопляски волн. Снова я увидел его жалкий побитый чемодан, из которого высывались носки и грязное белье; он склонился над ним, закидывая внутрь все, что мог найти. Потом достал другой чемодан – улетнейший во всех США. Он сделан из картона с таким рисунком, что похоже на кожу, сверху приклеено нечто вроде застежек. По самому верху чемодан был располосован насквозь: Дин быстро обмотал его веревкой. Потом схватил свой морской баул и начал скидывать вещи туда. Я тоже стал набивать сумку, и, пока Камилла лежала на кровати, повторяя:

– Лжец! Лжец! Лжец! – мы выежочили из дома и заковыляли вниз по улице к ближайшему фуникулеру – масса мужчин и чемоданов с этим гигантским замотанным пальцем, торчавшим в воздухе.

Этот палец стал символом окончательного развития Дина. Теперь ему уже было же только совершенно на все плевать (как и прежде), но, к тому же, его теперь заботило абсолютно все в принципе: то есть, ему было все едино: он был частью мира и ничего с этим не мог поделать. Он остановил меня посреди улицы:

– Ну, чувак, что тебя. Вероятно, все это действительно достало: только приехал, как в первый же день тебя вышвыривают вон, и ты не можешь сообразить, чего натворил, и так

далее – вместе со всеми этими жуткими аксессуарами – хи-хи-хи! – но ты посмотри на меня. Пожалуйста, Сал, посмотри на меня.

Я посмотрел на него. На нем была майка, драные штаны болтались ниже пупа, растоптанные башмаки; он не брился, его волосы были дики и взъерошены, глаза налиты кровью, а этот грандиозный перевязанный палец торчал прямо в воздух на уровне сердца (ему приходилось его все время так держать); по его физиономии гуляла глупейшая ухмылка, какую только можно увидеть. Он топтался по кругу и зыркал по сторонам: – Что видят мои очи? Ах – голубое небо. Лонгфелло! – Он покачивался и моргал. Он тер глаза. – Вместе с окнами – ты хоть раз врубался в окна? Давай поговорим об окнах. Мне приходилось видеть действительно сумасшедшие окна. Которые корчили мне рожи, а на некоторых были опущены жалюзи, и они мне подмигивали. – Он выудил у себя из сумки «Парижские тайны» Эжена Сю и, заправив спереди майку в штаны, начал с педантичным видом читать, не сходя с угла. – Ну, в натуре, Сал, давай врубаться во все, пока идем... – Через минуту он уже забыл об этом и стал тупо озираться. Я радовался, что приехал: я был ему необходим.

– Почему Камилла тебя вышвырнула? Что ты собираешься делать?

– А? – переспросил он. – А? А? – Мы напрягли мозги, пытаюсь решить, куда пойти и что делать. Я понял, что решать придется мне. Бедный, бедный Дин – сам дьявол никогда не падал ниже: ввалившийся в идиотизм, с нарывающим пальцем, окруженный раздолбанными чемоданами своей сиротской горячечной жизни по всей Америке и обратно бесчисленное число раз, расхристанная птица.

– Пошли пешком в Нью-Йорк, – сказал он, – а по дороге будем всем запасаться – да-а. – Я вынул свою наличность и пересчитал; показал ему.

– У меня здесь, – сказал я, – сумма в восемьдесят три доллара с мелочью, и если ты пойдешь со мною в Нью-Йорк, то пошли – а после этого пошли в Италию.

– В Италию? – переспросил он. Его глаза вспыхнули. – В Италию, да-а... а как мы туда доберемся, дорогой мой Сал?

Я стал прикидывать.

– Я заработаю немного денег, получу тысячу долларов от издателей. Поедем врубимся в этих безумных женщин в Риме, в Париже, во всех прочих местах; посидим в кафе прямо на тротуарах; поживем в борделях. Чего бы нам не съездить с тобою в Италию?

– Ну да-а, – протянул Дин, а потом вдруг понял, что я не шучу, и впервые искоса посмотрел на меня, поскольку прежде я никогда не давал никаких обещаний относительно его обременительного существования, и его взгляд был взглядом человека, который в последний момент взвешивает свои шансы на то, чтобы выиграть спор. В его глазах читались торжество и пренебрежение – то был дьявольский взгляд: Дин, не отрываясь, смотрел мне прямо в глаза очень долго. Я тоже посмотрел ему в глаза и покраснел.

– В чем дело? – спросил я. Спрашивая, я чувствовал себя жалким. Он ничего не ответил, но продолжал коситься на меня так же настороженно и надменно.

Я попытался вспомнить все, что он сделал за свою жизнь: не было ли там чего-нибудь, что возбудило бы в нем сейчас такую подозрительность. Решительно и твердо я повторил то, что уже сказал:

– Поехали со мною в Нью-Йорк; у меня есть деньги. – Я взглянул на него: глаза у меня слезились от смущения. Он по-прежнему глядел на меня, не отрываясь. Теперь его глаза были пусты и смотрели сквозь меня. Вероятно, это был поворотный пункт в нашей дружбе – когда он осознал, что я в самом деле потратил несколько часов на размышления о нем и о его бедах, и теперь он пытался поместить это в свои невообразимо запутанные и изуродованные категории мышления. Что-то в нас обоих щелкнуло. Во мне то была внезапная забота о человеке на много лет младше меня – на пять, – чья судьба переплеталась с моею на всем протяжении последних лет; о том, что происходило в нем, могу судить лишь из того, что он потом сделал. Он крайне обрадовался и сказал, что все улажено.

– Что у тебя был за взгляд? – спросил я. Ему стало досадно, что я спрашиваю, и он нахмурился. Вообще, Дин редко хмурился. Мы оба чувствовали себя сбитыми с толку и в чем-то неуверенными. Мы стояли на вершине холма в Сан-Франциско прекрасным солнечным днем; наши тени падали на тротуар. Из многоквартирного дома по соседству цепочкой вышли одиннадцать греков – мужчин и женщин, – немедленно выстроились на залитом солнцем тротуаре, а еще один попятился и заулыбался им из-за фотоаппарата. Мы, разинув рты, смотрели на этих древних людей – они выдавали замуж одну из дочерей, возможно, тысячную в непрерывной цепи темных поколений, неизменно улыбавшихся на солнце. Они были хорошо одеты – и странны. Мы с Дином с таким же успехом могли бы сейчас стоять где-нибудь на Кипре. В искрившемся воздухе у нас над головами летали чайки.

– Ну что, – произнес Дин очень робко и нежно, – пойдём?

– Да, – ответил я, – поехали в Италию. – И вот мы подобрали свои баулы: он, здоровой рукой, – чемодан, я – все остальное, – и заковыляли к остановке фуникулера; во мгновение ока скатились с холма, и наши ноги болтались над самой мостовой, а мы сидели на дребезжавшей полке – пара сломленных героев западной ночи.

3

Первым делом мы отправились в бар на Маркет-стрит и все там решили: что будем держаться вместе и останемся корешами, куда не умрем. Дин был очень тих: он весь ушел в себя, глядя на старых бродяг в салуне, которые напомнили ему об отце.

– Думаю, он в Денвере – на этот раз нам абсолютно необходимо разыскать его, он может сидеть в тюрьме, он может снова тусоваться по Латимер-стрит, но его надо найти.

Договорились?

О чем разговор? мы сделаем все, чего никогда не делали, в прошлом мы были слишком глупы, чтобы заниматься этим. Затем мы пообещали себе два дня оттяга в Сан-Франциско прежде, чем отправиться в путь, а ехать, по уговору, мы должны были, конечно, через бюро путешествий, платя водителям за бензин и экономя как можно больше. Дин утверждал, что Мэрилу ему больше не нужна, хоть он по-прежнему ее и любит. Мы решили, что в Нью-Йорке он себе кого-нибудь найдет.

Дин надел свой костюм в узенькую полоску, спортивную рубашку, мы за десять центов запахали все наше барахло в камеру хранения на автостанции и отправились на стрелку с Роем Джонсоном, который согласился быть нашим водилой на время двухдневного оттяга во Фриско. Мы с Роем договорились об этом по телефону. Вскоре он подъехал на угол Маркет и Третьей и подобрал нас. Рой теперь жил во Фриско, служил в конторе и был женат на маленькой привлекательной блондинке по имени Дороти. Дин по секрету сказал мне, что у нее очень длинный нос – по какой-то непонятной причине это в ней его сильно доставало, хотя на самом деле нос у нее был вовсе не длинным. Рой Джонсон – тощий, смуглый, симпатичный пацан с остреньким личиком и тщательно причесанными волосами, которые он постоянно откидывает с висков назад. Во всех делах он был чрезвычайно обстоятелен и постоянно улыбался. Очевидно было, что они с женой поругались из-за этих поездок с нами по городу, а он, решившись доказать ей, кто в доме мужчина (жили они в небольшой комнатухе), все-таки сдержал слово, данное нам, но с последствиями: его умственная дилемма разрешилась горьким молчанием. Он возил нас с Дином по всему Фриско в любое время дня и ночи и ни разу не произнес ни слова: лишь проскакивал на красный свет, да резко разворачивался на двух колесах, и это яснее слов говорило нам, каким напрягам мы его подвергли. Он метался между вызовом своей молодой жене и вызовом жожаку своей старой денверской бильярдной тусовки. Дин был доволен, такая езда его, разумеется, ничуть не волновала. Мы не обращали на Роя совершенно никакого внимания, сидели сзади и трепались.

Дальше надо было съездить в Милл-Сити и попробовать отыскать Реми Бонкёра. С некоторым удивлением я заметил, что старого парохода «Адмирал Фриби» в бухте больше нет; а потом, конечно, и Реми не оказалось в его задрипанной комнатенке на дне каньона. Вместо него дверь нам открыла красивая цветная девушка; мы с Дином долго с нею разговаривали. Рой Джонсон ждал нас в машине, читая «Парижские тайны» Эжена Сю. Я в последний раз бросил взгляд на Милл-Сити и понял, что бессмысленно пытаться раскопать замороженное прошлое; вместо этого мы режили съездить к Галатее Данкель разузнать насчет ночлега. Эд снова ее бросил, уехал в Денвер, и будь я проклят, если она до сих пор не строила планов вернуть его обратно. Мы застали ее сидящей, скрестив ноги, на каком-то

восточном ковре в пустой четырехкомнатной квартире в начале Мишн-стрит с колодой гадательных карт. Просто паинька. Я увидел прискорбные знаки того, что Эд здесь некоторое время обитал, а потом свалил единственно лишь из помрачения рассудка и неприятия такой жизни.

– Он вернется, – сказала Галатея. – Этот парень неспособен позаботиться о себе без меня. – Она кинула свирепый взгляд на Дина и Роя Джонсона. – На сей раз это дело рук Томми Снарка. Пока он не приехал, Эд был совершенно счастлив и работал, и мы ходили гулять и прекрасно проводили время. Дин, ты это знаешь. А потом они сидели целыми часами в ванной – Эд в ванне, а Снарки на унитазах, – и всё говорили, говорили и говорили – такие глупости.

Дин рассмеялся. Много лет он был главным пророком этой компании, а теперь вот они у него научились. Томми Снарк отрастил бороду и приехал во Фриско искать Эда Данкеля своими большими жалостливыми голубыми глазами; а случилось то, что (на самом деле, и это не брехня) с Томми в Денвере произошел несчастный случай – ему отрезало мизинец, и он получил кругленькую сумму денег. Безо всякой видимой причины они решили послать Галатею подальше и уехать в Портленд, штат Мэн, где у Снарка, по его словам, жила тетка. Поэтому теперь они были либо проездом в Денвере, либо уже в Портленде.

– Когда у Тома кончатся деньги, Эд вернется, – говорила Галатея, глядя в свои карты. – Придурок проклятый – ни черта не понимает и никогда в жизни не понимал. А понять-то нужно только то, что я его люблю.

Галатея была похожа на дочь греков с солнечным фотоаппаратом, когда сидела вот так на ковре: ее длинные волосы спускались до самого пола, она усердно тасовала колоду. Мне она начинала нравиться. Мы даже решили выйти в тот вечер в город и послушать джаз, а Дин должен был прихватить блондинку шести футов ростом, которая жила по соседству, – Мари.

Вечером Галатея, Дин и я зашли за Мари. У этой девушки была квартира в полуподвале, маленькая дочь и старая автомашина, которая едва могла передвигаться: нам с Дином приходилось толкать ее по улице, пока девчонки жали на стартер. Мы приехали к Галатее, все расселись по комнате – Мари, ее дочь, Галатея, Рой Джонсон, его жена Дороти – все хмурые посреди пухлой мягкой мебели; я стоял в углу, соблюдая нейтралитет во всех здешних проблемах, а Дин торчал посередине, воздев свой раздутый палец в воздух на уровне груди, и хихикал.

– Че-орт возьми, – сказал он, – мы все теряем свои пальцы... хау-хау-хау.

– Дин, зачем ты так глупо себя ведешь? – спросила Галатея. – Звонила Камилла и сказала, что ты ее бросил. Ты разве не понимаешь, что у тебя растет дочь?

– Это не он ее бросил, а она ему дала под зад! – сказал я, нарушив собственный нейтралитет. Они мерзко взглянули на меня; Дин ухмыльнулся. – А чего вы ожидаете от бедного парня вот с таким пальцем? – добавил я. Все посмотрели на меня: в особенности – Дороти Джонсон, которая просто сравняла меня с землей. Передо мною было не что иное, как кружок кройки и шитья, а в центре его стоял подсудимый Дин – виновный, возможно, во всем, что вообще было не так. Я выглянул в окошко и посмотрел на кипевшую ночную жизнь Мишн-стрит; мне хотелось сдвинуться с места и послушать великолепный джаз Фриско –

причем не забывают: то была моя вторая ночь в этом городе.

– Я думаю, что Мэрилу очень и очень мудро поступила, что бросила тебя, Дин, – сказала Галатея. – Уже много лет, как у тебя нет никакого чувства ответственности ни за кого. Ты совершил так много ужасного, что я даже не знаю, что тебе сказать.

Вот в этом-то и было все дело, и все сидели и смотрели на Дина исподлобья ненавидящими глазами, а он стоял на ковре в самой середине их и хихикал – просто хихикал. Еще он слегка приплясывал. Его повязка все время пачкалась, она уже начала трепаться по краям и развязываться. Я вдруг понял, что Дин, благодаря своей невообразимо огромной череде грехов, становится Придурком, Блаженным, по самой своей участи – Святым.

– Ты не думаешь абсолютно ни о ком, кроме себя и своего проклятого оттяга. Тебя заботит лишь то, что болтается у тебя между ног, да еще сколько денег или удовольствий ты можешь получить от людей, а после этого ты их просто отшвыриваешь в сторону. Мало того – ты еще и ведешь себя очень глупо. Тебе никогда не приходит в голову, что жизнь – это серьезно, и что есть люди, которые пытаются прожить ее с толком вместо того, чтобы все время валять дурака.

Вот кем был Дин – СВЯТЫМ ШУТОМ.

– Камилла сегодня вечером вся аж исплакалась, но ни на миг не пожалела, она сказала, что ни за что в жизни не хочет тебя больше видеть, и еще сказала, что на сей раз это окончательно. А ты, однако, стоишь здесь и строишь глупые рожи, и мне кажется, что в душе тебе глубоко на всех плевать.

Вот это уже было неправдой; я знал наверняка и мог бы им рассказать. Но не видел смысла в том, чтобы пытаться это сделать. Меня тянуло подойти, обнять Дина за плечи и сказать: Послушайте, вы все; зарубите себе на носу одну вещь – у этого парня тоже бывают свои неприятности: и еще одно – он никогда не жалуется и дьявольски вас потешает хотя бы тем, что остается самим собой, а если вам этого недостаточно, то поставьте его к стенке, ведь вам и так этого, очевидно, хочется до зуда...

Однако, Галатея Данкель единственная во всей компании не боялась Дина: она могла сидеть совершенно спокойно, не пряча лицо, и отчитывать его перед всеми остальными. Бывало, раньше, в Денвере, Дин заставлял всех сидеть в темноте с девчонками и просто говорил, и говорил, и говорил, и голос у него тогда был гипнотическим и странным, и рассказывали, что девчонок он привлекал к себе только лишь силой убеждения и смыслом того, о чем говорил. Но тогда ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Теперь все его ученики женились, а жены учеников вызвали его перед собою на ковер за распущенность и за ту жизнь, которую он помог осуществить в реальности. Я слушал, что будет дальше.

– Вот теперь ты едешь о Салом на Восток, – продолжала Галатея, – и чего ты рассчитываешь этим поступком добиться? Камилле, значит, придется сидеть дома с ребенком, когда ты уедешь, – а как она сможет сохранить работу? – и она не желает больше тебя видеть, и я не могу ее за это упрекнуть. Если встретишь по дороге Эда, передай ему, чтобы возвращался, а не то я его убью.

Вот так вот все просто. То была самая печальная ночь. Я чувствовал себя как будто с посторонними братьями и сестрами в каком-то достойном сожаления сне. Затем всех окутало полнейшее молчание; если раньше Дин смог бы вытащить нас из него своей

болтовней, то теперь он сам затих, но продолжал стоять перед всеми – оборванный, и сломленный, и дурацкий, под самой лампочкой; его костлявое безумное лицо покрывала испарина, вены набухли, и он все повторял:

– Да, да, да, – как будто в него непрерывно втекали грандиознейшие откровения, и я убежден, что так оно и было, а остальные это лишь подозревали и были поэтому испуганы. Он был БИТЫМ – а это означало корень, душу красоты Битничества. Что он знал? Он испробовал все, что было в его силах, чтобы сказать мне, что именно он знал, и они мне в этом завидовали – завидовали тому, что я с ним рядом, тому, что я его защищаю и пью его, как когда-то пытались они. Потом они посмотрели и на меня. Чем я был – я, посторонний, – что делал я на Западном Побережье в эту прекрасную ночь? Я содрогнулся от этой мысли. – Мы едем в Италию, – сказал я; я умыл руки от всего этого дела. И тут в воздухе, помимо всего прочего, повисло странное ощущение материнской удовлетворенности, ибо девушки в самом деле смотрели на Дина так, как мать обычно смотрит на самое дорогое я самое непутевое свое чадо, и он, со своим унылым пальцем и всеми откровениями, очень хорошо это понимал, и вот поэтому-то и смог в тикающей тишине выйти вон из квартиры не проронив ни единого слова, чтобы подождать нас внизу – как только мы сами решим что-нибудь по части времени. Вот что мы ощущали в этом призраке на мостовой. Я выглянул в окно. Он стоял один в парадном, врубаясь в улицу. Горечь, упреки, советы, нравственность, печаль – все оставалось за ним, а впереди у него была лишь драная и экстазная радость чистого бытия.

– Хватит, Галатея, Мари, пошли вдарим по джазовым точкам и забудем обо всем этом. Когда-нибудь Дин умрет. Что вы тогда сможете ему высказать?

– Чем скорее он умрет, тем лучше, – ответила Галатея, и говорила она почти официально от лица всех присутствовавших в комнате.

– Ну что ж, очень хорошо, – сказал я, – но пока что он еще жив; и я готов поспорить, вы хотите знать, что он сделает дальше – и это потому, что у него есть тайна, которую мы все жаждем раскрыть, и которая напрочь раскалывает ему голову, и если он сойдет с ума – не беспокойтесь, потому что виноваты будете не вы, а Господь Бог.

Они стали на это возражать; они говорили, что я, на самом деле, Дина вовсе не знаю; они говорили, что он – худший негодяй из всех, когда-либо живших на свете, и я это, к собственному сожалению, однажды сам пойму. Мне было забавно, что они вдруг так резко встали на дыбы. Рой Джонсон поднялся на защиту дам и сказал, что знает Дина лучше всех нас, и что Дин – всего лишь очень интересный и подчас забавный прощелыга. Я вышел найти Дина, и мы с ним немного об этом поговорили.

– Эх, чувак, не переживай, все четко и прекрасно. – Он потирал себе живот и облизывал губы.

4

Девчонки спустились, и мы отчалили в нашу великую ночь, снова подталкивая машину по улице.

– Уиииоу! поехали! – закричал Дин, мы прыгнули на заднее сиденье и заблямкали к маленькому местному Гарлему на Фолсом-стрит.

Заслышав дикого тенора-саксофониста, мы выскочили наружу, в теплую безумную ночь – тот вякал через дорогу: «ИИ-ИЯХ! ИИ-ЙЯХ! ИИ-ЙЯХ!» – и ладони хлопали в такт, и народы вопили: «Давай, давай!» Дин уже вприпрыжку мчался на ту сторону, держа свой палец на весу и вопя:

– Дуй, чувак, дуй! – Кучка цветных в выходных костюмах разогревала толпу перед сценой. То был салун с засыпанным опилками полом и крошечной эстрадой, на которой, не снимая шляп, сгрудились эти парни – они лабали поперх головами, сумасшедшее местечко; чокнутые расхлябанные тетеньки ошивались в толпе, иногда чуть ли не в домашних халатах, в проходах звякали бутылки. В глубине точки, в темном коридорчике за замызганными туалетами, прислонившись к стенам, стояло множество мужчин и женщин, они пили вино, мешая его с виски, и плевали на звезды. Тенор в шляпе выдувал верха изумительной, совершенно свободной идеи, рифф поднимался и опускался, от «Ий-йях!» переходя к еще более безумному «ИИ-ди-лии-йях!» – он шпарил дальше под перекатывавшийся грохот латаных барабанов, в которые колотил зверского вида негр с бычьей шеей – в гробу он все это видал, он хотел лишь покрепче наказать свою траханую кухню – тресь, тра-та-ти-бум, тресь! Музыка ревела, и у тенора это было, и все знали, что у него это есть. Дин в толпе хватался за голову руками, и то была безумная толпа. Они вынуждали тенора держать и давать дальше – и криками, и дикими взглядами, и он распрямлялся от самой земли и вновь заворачивался книзу со своим саксом, воздевая его в ясном крике петлей вверх так, что покрывал всеобщий фурор. Здоровенная негрятенка трясла костями у него под самой дудкой, а он лишь чуть подавался в ее сторону: «Ии! ии! ии!»

Все раскачивались и ревели. Галатея и Мари с бутылками пива в руках взгромоздились на сиденья, трясясь и подпрыгивая. С улицы внутрь вваливались группы цветных парней, в нетерпении спотыкаясь друг о друга.

– Не бросай, чувак! – проревел мужик с сиреной вместо голоса и испустил могучий стон – слышно его было аж до самого Сакраменто, ах-хааа!

– Фуу! – выдохнул Дин. Он потирал себе грудь, живот; с лица у него летели капли пота. Бум, трах! – барабанщик пинками загонял барабаны в погреб и катил потом бит наверх своими убийственными палочками, – тра-та-ти-бум! Крупный толстяк прыгал по сцене, и вся платформа под ним прогибалась и скрипела.

– Йоо! – Пианист лишь бил по клавишам растопыренной пятерней, беря аккорды в интервалах, когда этот великий тенор втягивал в себя воздух перед следующим рывком – китайские гармонии, сотрясавшие пианино до самой последней доски, молоточка и струны, пиуунг! Тенор спрыгнул с платформы и стоял теперь посреди толпы, неистово дую; шляпа сползла ему на глаза; кто-то поправил ее. Он лишь откинулся назад, притопывая ногой, и выпустил хриплый, надрывной рев, глубже вдохнул, поднял сакс и высоко, привольно выдул свой вопль в воздух. Дин стоял перед ним, опустив лицо к самому раструбу, он бил в

ладоши, роняя капли пота прямо на кнопки саксофона, и тенор заметил это и рассмеялся в свою дудку долгим, подрагивающим сумасшедшим хохотком, и все остальные тоже заржали, они всё качались и качались, а тенор, в конце концов, решил сорвать все верха, съежился и долго держал верхнее до, пока остальные громыхали дальше, а крики нарастали, и я уже подумал, что сейчас из ближайшего отделения должны набежать легавые. Дин был в трансе. Глаза саксофониста устремлялись прямо на него: перед ним был безумец, который не только понимал, но любил и жаждал понять больше и гораздо больше того, чем там было, и они начали свою дуэль за это: из сакса вылетало всё – уже не фразы, а лишь крики и крики, от «Бауу!» вниз к «Биип!» и вверх к «ИИИИ!» и вниз к взвизгам и эху обертонов саксофона. Он испробовал всё – вверх, вниз, вбок, верх тормашками, по горизонтали, в тридцать градусов, в сорок – и, наконец, свалился в чьи-то подставленные руки и сдался, а все вокруг толкались и вопили:

– Да! Да! Вот это он залабал! – Дин утирался носовым платком.

Но вот тенор поднялся на эстраду и попросил медленный бит, и грустно взглянул поверх голов в распахнутые двери, и запел «Закрой глаза». Все на минутку примолкло. На теноре был затрепанный замшевый пиджак, лиловая рубашка, растрескавшиеся башмаки и мешковатые неглаженные штаны; ему было все равно. Он походил на негритянского Хассела. Его большие карие глаза были озабочены печалью и пением песен медленно и с долгими, задумчивыми паузами. Но на втором припеве он возбудился, схватил микрофон и прыгнул со сцены, склонившись над ним. Чтобы спеть одну ноту, ему пришлось коснуться верха своих ботинок и вытянуть ее вверх до выдоха, и он выдохнул так много, что зашатался от этого и смог оправиться только лишь к следующей долгой медленной ноте. «Му-у-зы-ка-а-ант!» Он изогнулся назад, устремив лицо в потолок и чуть опустив микрофон. Его трясло, он покачивался. Потом нагнулся вперед, почти падая лицом на микрофон. «Сыгра-а-ай нам пес-ню меч-ты-ы» – посмотрел на улицу, что шумела снаружи, скривил в презрении рот – такая хиповая усмешечка Билли Холидэй – «Когда рядом-м есть ты-ы-ы» – покачнулся вбок – «Праздник любви-и» – с отвращением покачал головой, устав от целого мира – «Может вернуть нас» – куда может он нас вернуть? все ждали; он скорбел – «на-зад». Пианист взял аккорд. «Ты лишь закро-о-о-ой свои милые гла-а-за» – губы его задрожали, он взглянул на нас – на Дина и на меня – с выражением, которое, казалось, говорило: эй вы, чего это мы все делаем здесь, в этом тоскливом буром мире? – и сразу после этого подступил к завершению песни – а чтобы закончить, нужна была долгая подготовка, и за это время можно было отправить послание Гарсии двенадцать раз вокруг света, но кому какая разница? ибо здесь мы имели дело с косточками и мякотью самой бедной битовой жизни в богоужасных трущобах человека – так сказал он и так спел он: «Закрой... свои...» – и выдохнул к самому потолку, сквозь него и к звездам, и выше: «Гла-а-аза-ааа» – и, качнувшись, сошел со сцены, чтобы погрузиться в свои думы. Он сел в уголке в окружении кучки парней и совсем не замечал их. Он смотрел вниз и плакал. Он был величайшим из всех.

Мы с Дином подошли к нему поговорить. Пригласили его к себе в машину. Там он внезапно завопил:

– Да! ничего мне больше не нужно, кроме хорошего оттяга! Куда едем? – Дин запрыгал на сиденье, маниакально хихикая. – Потом! потом! – сказал тенор. – Я велю моему мальчику отвезти нас в «Уголок Джемсона», мне там надо петь. Чувак, я ведь живу, чтобы петь. Уже две недели пою «Закрой глаза» – и ничего больше петь не хочу. Чего вы, парни, задумали? – Мы сказали ему, что через два дня едем в Нью-Йорк. – Господи, я ни разу там не был, а говорят, это на самом деле четкий город, но мне грех жаловаться, что я тут вот. Я женат, знаете ли.

– Вот как? – Дин весь зажегся. – А где твоя милая сегодня вечером?

– Ты это к чему? – покосился на него тенор. – Я же сказал, она моя жена, разве нет?

– Ох да, да, – закивал Дин. – Я просто так спросил. Может, у нее есть подружки? или сестры? Вечеринка, понимаешь, я просто хочу повеселиться.

– Да-а, что хорошего в вечеринках, жизнь слишком грустна, чтобы все время закатывать вечеринки, – сказал тенор, обратив взгляд на улицу. – Че-о-орт! – протянул он. – У меня нет денег, а сегодня мне наплевать.

Мы снова зашли внутрь за добавкой. Девчонки так психанули на нас с Дином за то, что мы сорвались с места и ускакали, что отправились в «Гнездышко Джемсона» пешком; машина все равно не заводилась. В баре мы увидели кошмарное зрелище: вошел местный хипстер – голубой, одетый в гавайскую распашонку, – и спросил большого барабанщика, нельзя ли ему поиграть. Музыканты подозрительно посмотрели на него:

– А ты дуешь? – Тот жеманно ответил, что да. – Ага, именно этим чувак и занимается, ч-че-еорт! – И вот голубой сел за барабаны, а парни начали отбивать такой джамповый номер, и тот стал поглаживать основной барабан дурацкими мягкими боповыми щеточками, изгибая шею и покачивая головой в таком самодовольном, проанализированном Райхом экстазе, который не означает совершенно ничего, кроме слишком большого количества травы, нежной пищи и дурацкого оттяга по-модному. Но ему-то все было до фонаря. Он радостно ухмылялся в пространство и держал ритм – хоть и мягко, но с такими боповыми тонкостями, хихикающий, подернутый рябью фон для крутого сиренного блюза, что парни лабали, совсем забыв о нем. Здоровый негр с бычьей шеей сидел и ждал своей очереди.

– Что этот чувак делает? – говорил он. – Да играй же музыку! – говорил он. – Какого черта? – говорил он. – Гов-в-но! – И отворачивался в отвращении.

Появился мальчик тенор-саксофониста: маленький подтянутый негр на огромном «кадиллаке». Мы все в него запрыгнули. Он сгорбился над баранкой и дунул через весь Фриско, ни разу не остановившись, на семидесяти милях в час, прямо сквозь все это уличное движение, и никто его даже не заметил, так хорош он был. Дин бился в экстазе.

– Ты только врубись в этого парня, чувак! врубись в то, как он сидит, и ни единой косточкой не шелохнет, и вжаривает так, что только шум стоит, и говорить может хоть всю ночь напролет, вот только ему неохота разговаривать, ах, чувак, всё то, всё, что я мог бы... я хочу... о да. Поехали, давай не будем останавливаться – давай же! Да! – И мальчик завернул за угол, подкатил нас прямиком к «Гнездышку Джемсона» и остановится.

Подъехало такси, из него выпрыгнул усохший костлявый негр-проповедник, швырнул таксисту доллар и завопил:

– Дуй! – И вбежал в клуб, пролетев бар внизу насквозь и, вопя на ходу: – Дуйдуйдуй! – заковылял вверх по лестнице, чуть не расквасив себе физиономию, вышиб дверь и ввалился в зальчик для джазовых сейшаков, растопыбив руки, чтобы обо что-нибудь не споткнуться, и, конечно же, упал прямо на Абажура, который в тот сезон работал в «Гнездышке» официантом, а музыка там все ревела и ревела, а он стоял зачарованный в раскрытых дверях и орал: – Давай для меня, чувак, дуй! – А там был негр-коротышка с альтгорном, который, как сказал Дин, по всей видимости, жил со своей бабушкой, совсем как Том Снарк, весь день спал, а всю ночь лабал джаз, и слабал он, наверное, тыщу припевов прежде, чем прыгнуть уже без дураков, что он сейчас как раз и делал.

– Это Карло Маркс! – заорал Дин, покрывая бедлам.

Так и было. Этот маленький бабушкин внучек со своим будто приклеенным к губам альтом поблескивал глазками-бусинками; у него были косолапые и хилые ножки; он прыгал и вертелся со своей дудкой, пинал ногами воздух, а глаза его ни на секунду не отпускали публику (а эти люди просто смеялись за дюжиной столиков, вся комната-то – тридцать на тридцать футов и низкий потолок), и он ни на миг не останавливался. В своих идеях он был весьма несложен. Ему нравилась лишь неожиданность каждой новой простой вариации припева. Он шел от «та-туп-тадер-рара... та-туп-тадер-рара», все повторяя и подпрыгивая под нее, целуя свою дудку и улыбаясь в нее, к «та-туп-ИИ-да-де-дера-РУП! та-туп-ИИ-да-де-дера-РУП!» – и все это были для него великие мгновения смеха и понимания, как и для тех, кто слышал. Звук его был ясным как колокольчик, высоким, чистым, и дышал он нам в самые лица с расстояния в два фута. Дин стоял прямо перед ним, забыв обо всем на свете, склонив голову, плотно обхватив себя руками, и все его тело подрагивало на носках, а пот, непрерывный пот летел с него и стекал по изношенному воротнику, и натурально собирался в лужицу у его ног. Галатее с Мари тоже там были, и нам потребовалось минут пять, чтобы это почувствовать. Фу-у, ночи ро Фриско, конец континента и конец сомнениям, все эти тупые сомнения и шутовство, прощайте. Мимо с ревом пронесся Абажур, балансируя своими подносами с пивом; все, что он делал, он делал в ритме; он в такт вопил на официантку:

– Эй ты, бэбибэби, берегись, посторонись, Абажур к тебе летит! – и вихрем пролетал мимо, воздев поднос с пивом, с ревом проскакивал в качавшиеся двери на кухню, танцевал там с поварами и, покрытый потом, возвращался обратно. Трубочаб абсолютно неподвижно сидел за угловым столиком с нетронутым стаканом перед собой, остановившимся ошалелым взглядом пялясь в пространство, руки его свисали по сторонам, едва ли не касаясь пола, ноги были распростерты как два вывалившихся языка, а тело ссохлось в абсолютном изнурении, в оцепенелой печали и в том, что еще там было у него на уме: человек, который вырубал себя каждый вечер до предела и каждую ночь позволял другим себя приканчивать. Все клубилось вокруг него, словно облако. А этот маленький бабушкин альтист, этот маленький Карло Маркс с обезьяньими ужимками припрыгивал на месте, держа свою волшебную дудку, и выдувал две сотни блюзовых припевов – каждый неистовее предыдущего, без всяких признаков истощения энергии или желания прекратить все это к чертовой матери. Весь зал била дрожь.

На углу Четвертой и Фолсом час спустя я стоял вместе с Эдом Фурнье, сан-францисским альтистом, мы с ним ждали, пока Дин в салуне напротив дозвонится до Роя Джонсона, чтобы тот нас забрал. Ничего особенного, мы просто разговаривали, как вдруг оба увидели нечто очень странное и безумное. То был Дин. Он захотел сообщить Рою Джонсону адрес бара, поэтому попросил его не класть трубку, а сам выбежал посмотреть номер дома – для этого ему пришлось бы сломя голову проскочить насквозь длинный бар, полный шумных пьяниц в белых рубашках с короткими рукавами, выбежать на середину улицы и отыскать табличку. Так он и сделал, прикинув к самой земле как Граучо Маркс, ноги сами вынесли его из бара с поразительным проворством, будто привидение, его надутый воздушным шариком палец воздет к ночному небу, он вихрем затормозил на середине дороги, оглядываясь по сторонам в поисках таблички с номером над головой. В темноте знаки было трудно различить, он с десятков раз крутнулся вокруг себя на проезжей части, палец кверху, в диком, тревожном молчании, всклокоченная личность со вспухшим пальцем, огромным гусем потянувшимся к небесам, он вертелся и вертелся в темноте, рассеянно засунув вторую руку в штаны. Эд Фурнье говорил:

– Я выдуваю сладкий звук всякий раз, когда играю, и если людям это не нравится, я ничего не могу с этим поделать. Скажи-ка, чувак, а этот твой приятель – совершенно чокнутый кот, смотри, чего он там вытворяет. – И мы стали смотреть. Везде стояла давящая тишина, когда Дин все-таки увидел табличку и рванулся обратно в бар, буквально проскользнув на выходе у кого-то под ногами, и так быстро проскользнул по бару, что всем пришлось прищуриться, чтобы хорошенько его разглядеть. Через минуту объявился Рой Джонсон – с той же самой поразительной быстротой. Дин скользнул через улицу и прямо в машину, без единого звука. Мы снова снялись дальше.

– Ну, Рой, я знаю, что тебя совершенно достала жена по части всех этих дел, но нам абсолютно необходимо сейчас быть на углу Сорок шестой и Гири – через невероятные три минуты, или все пропало. Эхем! Да! (Кхе-кхе.) Утром Сал и я отправляемся в Нью-Йорк, и это наша абсолютно последняя ночь оттяга, и я знаю, что ты нас поймешь.

Да, Рой Джонсон нас понимал; он лишь проезжал на всякий красный свет, что попадался на пути, и гнал нас вперед в нашем собственном безрассудстве. На заре он отправился домой спать. Мы с Дином закончили все это дело с цветным парнем по имени Уолтер, который заказывал в баре напитки, выстраивал их на стойке и говорил:

– Вино-сподиоди! – То была порция портвейна, порция виски и опять порция портвейна. – Миленькая сладенькая оболочка для такого дрянного виски! – орал он.

Он позвал нас к себе домой на бутылку пива. Жил он в квартирке на задворках Говарда. Когда мы зашли к нему, его жена спала. Единственная лампочка в квартире была над ее кроватью. Нам пришлось забираться на стул и выкручивать эту лампочку, а она лишь лежала и улыбалась; лампочку выкручивал Дин, трепеща ресницами. Жена была лет на пятнадцать старше Уолтера – милейшая женщина в мире. Потом нам пришлось тянуть над ее кроватью удлинитель, а она все улыбалась и улыбалась. Она так и не спросила Уолтера, где тот был, сколько времени – ничего. Наконец, мы устроились на кухне, протянув туда провода, расселись за скромным столом, чтобы пить пиво и рассказывать всякие случаи. Рассвет. Пора было уходить и снова тянуть удлинитель в спальню и вкручивать лампочку.

Жена Уолтера опять только улыбалась, пока мы в обратном порядке повторяли всю безумную процедуру. Она так и не произнесла ни единого слова.

Снаружи, на рассветной улице, Дин сказал:

– Теперь ты видишь, чувак, вот тебе настоящая женщина. Ни одного резкого слова, ни одной жалобы, ничего подобного; ее старик может приходить в любое время ночи с кем угодно, сидеть разговаривать на кухне и пить пиво, и уходить, когда вздумается. Вот мужчина и вот его крепость. – Он показал на многоквартирный дом. Спотыкаясь, мы пошли прочь. Большая ночь окончилась. Патрульная машина с подозрением следовала за нами несколько кварталов. В булочной на Третьей улице мы купили свежих пончиков и съели их на серой загаженной улице. Высокий, хорошо одетый гражданин в очках, спотыкаясь, шел по тротуару в сопровождении негра в шоферской кепочке. Странная пара. Мимо прокатился большой грузовик, и негр возбужденно ткнул в его сторону пальцем, пытаясь выразить обуревавшие его чувства. Высокий белый украдкой оглянулся и пересчитал свои деньги. – Это Старый бык Ли! – хихикнул Дин. – Считает денежки и вечно обо всем переживает, а второму парню не терпится лишь поговорить о грузовиках и о тех вещах, которые ему знакомы. – Мы немного прошли за ними следом.

Святыми цветами, плывущими по воздуху, – вот чем были все эти усталые лица на рассвете Джазовой Америки.

Нам надо было поспать; о Галатее Данкель не могло быть и речи. Дин знал одного тормозного кондуктора по имени Эрнест Бёрк, который жил со своим отцом в гостинице на Третьей улице. Первоначально он был с ним в хороших отношениях, но потом уже нет, и сейчас идея заключалась в том, чтобы я попробовал уговорить их пустить нас поспать на полу. Это было кошмарно. Мне пришлось звонить им из утренней столовой. Старик подозрительно поднял трубку. Он помнил меня по тому, что рассказывал ему сын. К нашему удивлению, он сам спустился в вестибюль и впустил нас к себе. То была простая, старая, печальная, бурая фрискинская гостиница. Мы поднялись наверх, и старик был настолько добр, что уступил нам всю свою постель.

– Мне все равно надо вставать, – сказала он и удалился на крохотную кухню варить кофе. Он стал рассказывать нам истории из своей железнодорожной юности. Он напоминал мне отца. Я не стал ложиться и слушал его рассказы. Дин, не слушая, чистил зубы, суетился по комнате и говорил:

– Да, правильно, – на всё, что тот рассказывал. Наконец, мы уснули; а утром из рейса по Западной Ветке вернулся Эрнест и занял постель, а мы с Дином встали. Теперь старый мистер Бёрк прихорашивался, собираясь на свидание к своей пожилой возлюбленной. Он надел зеленый твидовый костюм, матерчатую кепку, тоже из зеленого твида, и воткнул себе в петлицу цветок.

– Эти старые романтичные сан-францисские железнодорожники, много повидавшие на своем веку, живут совершенно особой, печальной, но интенсивной жизнью, – сказал я Дину в туалете. – Было очень благородно с его стороны пустить нас тут поспать.

– Ага, ага, – отозвался Дин, не слушая. Он выскочил в бюро путешествий нанять машину. Мне же надо было сгонять к Галатее Данкель за нашими вещами. Та сидела на полу со своей колодой карт.

– Что ж, до свиданья, Галатея, я надеюсь, все образуется.

– Когда Эд вернётся, я буду каждый вечер брать его с собой в «Уголок Джемсона» – и пусть он там получает свою порцию безумия. Как ты думаешь, Сал, в этом будет толк? Я просто не знаю, что делать.

– А что карты говорят?

– Туз пик далек от него. Его постоянно окружают черви – дама червей всегда близко. Видишь этого пикового вальта? Это Дин, он всегда где-то рядом.

– Ну, мы через час уезжаем в Нью-Йорк.

– Дин однажды отправится в такое путешествие и никогда не вернется.

Она разрешила мне принять душ и побриться, а потом я попрощался, отнес вниз сумки и тормознул городскую маршрутку, которая оказалась обычным таксомотором, только ездила по определенному маршруту, и можно было остановить ее на любом углу и доехать до любого другого угла где-то за пятнадцать центов, втиснувшись к остальным пассажирам, как в автобусе, но болтать с ними и рассказывать анекдоты, как в легковушке. В наш последний день во Фриско Мишн-стрит была одним сплошным хаосом строительных работ, детских игр, улюлюкавших негров, возвращавшихся с работы домой, пыли, возбуждения, великого зуда и гула вибраций на самом деле по-прежнему самого возбужденного города Америки – а над головой чистое голубое небо, и радость моря в тумане, оно по ночам постоянно подкатывает пробудить во всех голод к пище и к еще большему возбуждению. Мне страшно не хотелось уезжать: мое пребывание здесь длилось шестьдесят с чем-то часов. Вместе с неистовым Дином я рвался сквозь мир без малейшего шанса разглядеть его. Днем мы уже мчались к Сакраменто и вновь на Восток.

Машина принадлежала высокому худому гомику, который ехал домой в Канзас, на нем были темные очки, и ехал он с необыкновенной осторожностью: машину его Дин окрестил «голубым плимутом» – в нем не было ни приемистости, ни настоящей мощи.

– Какой женственный автомобиль! – прошептал Дин мне на ухо. С нами ехало еще два пассажира – семейная пара, типичные половинчатые туристы, которые хотели везде останавливаться на ночлег. Первой остановкой должно было стать Сакраменто, что даже отдаленно не походило на начало путешествия в Денвер. Мы с Дином сидели одни на заднем сиденье, начихав на остальных, и разговаривали.

– Вот, чувак, у того альтиста вчера ночью – у него ЭТО было; он раз нашел его, так уж и не упустил; я никогда еще не видел парня, который мог бы держаться так долго. – Мне хотелось узнать, что такое «ЭТО». – А-а, ну, – рассмеялся Дин, – ты спрашиваешь о не-у-ловимом – эхем! Вот – парень, вот остальные там тоже есть, правильно? И он может выдать то, что у каждого на уме. Он начинает первый припев, затем выстраивает свои идеи, людей, да, да, но тут к нему приходит, и тогда он возвышается до своей судьбы и должен лабать соответственно ей. Как вдруг где-нибудь посреди припева он получает это – и все смотрят на него и знают: они слушают; он подхватывает и несет дальше. Время останавливается. Он наполняет пустое пространство субстанцией наших жизней, своими признаниями напряжения ниже его собственного пупка, воспоминанием об идеях, перефразировками прежней игры. Он должен лабать по мостам и возвращаться обратно – и делать это с таким бесконечным чувством, выворачивающим душу наизнанку ради мелодии этого мгновения, что все знают: мелодия – не в счет, важно ЭТО... – Дин не смог закончить: говоря об этом, он весь покрылся испариной.

Тогда начал говорить я – я никогда в жизни столько не говорил. Я рассказал Дину, что когда был пацаном и катался на машинах, то воображал, что у меня в руке огромный серп, и я им срезаю все деревья, все столбы и даже ломтики вершин холмов, что проносятся мимо окна. – Да! Да! – завопил Дин. – Я тоже так делал, только серп был другой – и вот почему. Когда едешь на Западе, там расстояния больше, поэтому серп у меня должен быть несоизмеримо длиннее, и надо, чтобы он огибал ближние горы и отрезал им вершины, а потом доходил до другого уровня, чтобы достать до дальних гор, и в то же самое время срезал бы каждый столб у дороги, каждый торчащий шест. По этой причине... о, чувак, я должен тебе рассказать сейчас же, у меня это есть... я должен тебе рассказать про то, как мой отец и я, и еще какой-то шаромыга с Латимер-стрит посреди Великой Депрессии отправились в Небраску продавать хлопушки для мух. А как мы их делали: покупали куски обычного, нормального старого экрана и куски проволоки, перегибали их вдвое, и еще маленькие красные и синие лоскутки, обшивали ими по краям – и все это за какие-то считанные центы в лавке старьевщика, тысячи хлопушек; мы влезли в драндулет этого шаромыги и поехали по всей Небраске, не пропуская буквально ни одной фермы и продавая их по никелю, – а никели нам давали, как правило, из жалости: два бродяги и мальчонка, пирожки с яблоками в небесах, а мой старик в ту пору постоянно распевал: «Аллилуйя, я бродяга, я бродяга снова». А теперь ты только послушай, через целых две недели невероятных лишений, и скитаний, и суеты по жаре ради этих несчастных

самодельных хлопушек они не поделили выручку и подрались прямо на обочине дороги, а потом помирились, купили вина и стали кирять, и не переставали пять дней и пять ночей, а я забился в угол и плакал на задах, а когда они закончили, то у нас не осталось ни цента, и мы оказались точно там же, откуда начали, на Латимер-стрит. И моего старика арестовали, и мне пришлось в суде умолять судью, чтобы тот отпустил его, потому что он же мой папа, а мамы у меня нет. Сал, я произносил великие взрослые речи перед предвзятыми юристами, когда мне было всего восемь лет... – Нам было жарко; мы ехали на Восток; мы были возбуждены.

– Давай я тебе еще расскажу, – сказал я, – типа в скобках того, что ты говоришь, и чтобы завершить мою последнюю мысль. Ребенком, лежа на заднем сиденье, у меня еще было видение себя на белом коне: я сказал вдоль пороги, преодолевая любые преграды, что попадались на пути; то есть, я уворачивался от столбов, вихрем огибал дома, а иногда – перепрыгивал через них, когда замечал слишком поздно, перебежал через холмы, через неожиданные площади, где было много машин, среди которых мне приходилось невероятно вилять...

– Да! Да! Да! – в экстазе выдыхал Дин. – Единственная разница со мной – в том, что я бежал сам, у меня не было лошади. Ты был пацаном о Востока, ты мечтал о лошадях, конечно, мы не станем допускать таких вещей, поскольку оба знаем, что на самом деле это тщета и литературщина, но просто я в своей, возможно, более дикой шизофрении действительно бежал ногами рядом с машиной – на невообразимых скоростях, иногда под девяносто миль в час, перескакивая через каждый куст, через каждый забор, каждую ферму, а иногда срываясь к холмам и обратно, не теряя почвы под ногами ни на миг...

Мы рассказывали это друг другу, и нас обоих прошибал пот. Мы совершенно забыли о людях впереди, которые уже начали беспокоиться по поводу того, что там такое происходит на заднем сиденье. Водитель даже как-то заметил:

– Да ради Бога, вы, сзади, вы там лодку качаете. – Мы на самом деле ее качали: машину трясло, когда мы с Дином оба раскачивались в такт – под ЭТО нашей окончательной возбужденной радости и в разговоре, и в жизни до пустого замороженного конца всех бессчетных, буйных, ангельских частностей, что всю жизнь таились в наших душах.

– Ох, чувак! Чувак же! – стонал Дин. – И это еще даже не начало – но вот мы, наконец, оба едем на Восток вместе, мы никогда не ездили на Восток вместе, Сал, ты только подумай об этом, мы вместе будем врубаться в Денвер, и посмотрим, чем там все занимаются, хотя для нас это не имеет никакого значения, суть в том, что мы знаем, что ЭТО такое, и мы знаем ВРЕМЯ, и знаем, что все в натуре ПРЕКРАСНО. – Затем он зашептал, схватив меня за рукав и потянув: – Ты теперь врубись в этих, впереди. У них беспокойство, они считают мили, они думают о том, где сегодня будут ночевать, сколько отдавать за бензин, о погоде, о том, как они доберутся – а они ведь все равно доберутся, ты же знаешь. Но им просто необходимо все время волноваться и предавать время своими позывами – ложными и в любом случае чисто нервными и хнычущими, их души, на самом деле, никогда не будут в мире, пока не пристегнутся к какой-нибудь установленной и доказанной тревоге, и, раз найдя ее, они примут соответствующее ей выражение лица – что есть, как видишь, несчастье, и все время оно все пролетает мимо них, и они не знают, и это тоже их

беспокоит, и так без конца. Слушай! слушай! «Ну вот, – передразнил он, – я не знаю – может, не стоит заправляться на этой станции. Я недавно прочел в «Национальных Нефтяно-Фтяных Новостях», что в этом виде топлива очень много О-октановой дури, а кто-то как раз сказал мне, что там даже есть полуофициальная высокочастотная херня, и я теперь даже не знаю, ну, мне все равно не очень хочется...» Чувак, ты в это врубаешься, короче. – Он яростно тыкал мне в бок, чтобы я понял. Я дичайшим образом старался. Дзынь, блям, все это было одно сплошное «Да! Да! Да!» на заднем сиденье, а люди впереди промокали себе лбы, вопреку от страха, и жалели, что подобрали нас в бюро путешествий. Это тоже было только начало.

В Сакраменто гомик хитро снял комнату в отеле и пригласил нас с Дином зайти выпить, когда пара отправилась ночевать к родне, и Дин в этом номере испробовал все, что только можно, чтобы вытянуть из гомика денег. Это было безумие. Гомик начал с того, что он очень рад, что мы зашли, потому что ему как раз нравятся такие молодые люди, как мы, и мы не поверим, но ему действительно совсем не нравятся девушки, и он недавно во Фриско завершил связь с одним человеком, в которой у него была мужская роль, а у того человека – женская. Дин доставал его деловыми вопросами и оживленно кивал в ответ. Гомик сказал, что ему больше всего на свете хочется узнать, что Дин обо всем этом думает. Предупредив его с самого начала, что когда-то в юности он фарцевал, Дин спросил, сколько у того денег. Я в это время был в ванной. Гомик чрезвычайно помрачнел и, думаю, стал подозревать Дина в нечистоте помыслов: обратился к деньгам и начал что-то туманно обещать насчет Денвера. Он не переставал пересчитывать свои бабки и проверять, на месте ли бумажник. Дин задрал лапки и сдался.

– Видишь ли, чувак, лучше и не дергаться. Предложи им то, чего они тайно желают, и они, конечно же, немедленно запаникуют. – Но он достаточно покорила владельца «плимута», чтобы тот на следующее утро без всякой задней мысли доверил ему руль, и вот теперь-то мы поехали по-настоящему.

Мы выехали из Сакраменто на заре, к полудню уже пересекали пустыню Невады – после того, как вихрем пронеслись по перевалам в Сьеррах, отчего гомик и туристы лишь теснее прижимались друг к дружке на заднем сиденье. Мы же были впереди, мы были во главе. Дин снова был счастлив. Ему требовалось лишь одно колесо в руках да четыре на дороге. Он рассказывал о том, как плохо водит машину Старый Бык Ли, – и чтобы показать это нагляднее:

– Каждый раз, когда в поле зрения появлялся большой грузовик, вот как этот, например, Быку нужно было бесконечное время, чтобы его сначала засечь, – потому что Бык не может видеть, чувак, он просто не может видеть. – Дин потер себе глаза, чтобы показать мне. – И я говорю ему: «О-оп, берегись, Бык, вот грузовик,» – а он: «А? что ты сказал, Дин?» – «Грузовик! грузовик!» – и в самый последний миг он въезжает прямо в самый грузовик, вот так вот... – И Дин швырял «плимут» напрямик на грузовик, ревивший нам навстречу, вилял и зависал перед ним на какое-то мгновение, лицо водителя серело прямо у нас на глазах, люди на заднем сиденье сжимались от ужаса, хватая ртом воздух, а Дин резко отворачивал в сторону в самый последний момент. – Вот так, видишь, точно так вот – вот какой он никудашный водитель. – Мне совсем не было страшно: я знал Дина. У людей же сзади

языки поотнимались. Фактически, они боялись даже жаловаться: Бог знает, что придет этому типу в голову, думали они, если они станут протестовать. В такой вот манере Дин пулей летел по пустыне, демонстрируя различные способы того, как не надо водить машину; как, бывало, его отец управлял своим драндулетом; как великие водители выписывают повороты, а плохие на повороте вначале вытягиваются слишком далеко, а в конце вынуждены барахтаться, – и тому подобное. Стоял жаркий солнечный день. Рино, Бэттл-Маунтин, Элко – все эти городишки по невадской трассе пролетали мимо один за другим, и в сумерках мы были уже на равнинах у Соленого Озера, и бесконечно малые огоньки Солт-Лейк-Сити поблескивали почти в сотне миль от нас за миражом равнин, виднеясь дважды: над и под линией изгиба земли – один огонек был ясный, другой – туманный. Я сказал Дину, что та штука, которая удерживает нас всех вместе в этом мире, – невидима, и чтобы доказать это, показал ему на линию телефонных столбов, что, изогнувшись, терялась из виду за сотней миль соли. Его растрепанная повязка, уже вся грязная, содрогалась в воздухе, его лицо светилось.

– Ох, да, чувак, Господи Боже мой, да, да! – Внезапно он остановил машину и свалился. Я повернулся к нему и увидел, что он свернулся в уголке и спит. Лицом он уткнулся в здоровую руку, но перевязанный палец исполнительно и автоматически оставался в воздухе.

Люди на заднем сиденье с облегчением перевели дух. Я слышал, как они мятежно перешептываются:

– Нельзя больше пускать его за руль, он абсолютно сумасшедший, должно быть, его выпустили из лечебницы, или что-нибудь типа этого.

Я встал на защиту Дина и откинулся назад, чтобы поговорить с ними:

– Он не сумасшедший, с ним все будет нормально, и не волнуйтесь по поводу того, как он ездит, он лучший водитель в мире.

– Я этого не выдержу, – произнесла девушка подавленным, истеричным шепотом. Я расслабился на сиденье и стал наслаждаться тем, как на пустыню опускается ночь, ожидая, пока бедное дитя – Ангел Дин – снова не проснется. Мы стояли на холме, спускавшемся к аккуратным узорам света Солт-Лейк-Сити, и когда он открыл глаза, перед ним оказалось именно то место в нашем призрачном мире, где он родился – без имени и в грязи – много лет назад.

– Сал, Сал, посмотри: вот здесь я родился, ты только подумай! Люди меняются – они год за годом едят пищу и с каждой едой меняются. ИИ! Посмотри! – Он так разволновался, что меня прошибла слеза. К чему все это приведет? Туристы настаивали на том, чтобы весь остаток пути до Денвера машину вели они. Ладно, нам уже все равно. Мы сидели сзади и разговаривали. Но наутро они слишком устали, и Дин снова сел за руль в пустыне Восточного Колорадо, в Крэйге. Мы потратили почти всю ночь на то, чтобы с опаской переползти Земляничный Перевал в Юте, и потеряли целую кучу времени. Они заснули. Дин очертя голову рванул к перевалу Берто, что был в сотне миль впереди, на крыше мира, – гигантская гибралтарская дверь, окутанная облаками. Он взял перевал Берто так же легко, как прихлопнул бы майского жука, – как и в Техачапи, заглушив мотор и планируя, проскакивая всех на дороге и ни разу не сбившись с ритма движения, который диктовали

сами горы, пока впереди снова не раскрылась бескрайняя раскаленная равнина Денвера – и Дин опять оказался дома.

С большим количеством глупого облегчения эти люди высадили нас из машины на углу 27-й и Федерала. Наши побитые чемоданы снова громоздились на тротуаре; нам было еще ехать и ехать. Но какая разница, дорога – это жизнь.

6

Теперь надо было развязаться с некоторыми обстоятельствами в Денвере – а они были совершенно иного порядка, нежели в 1947 году. Мы могли либо сразу же нанять машину в бюро путешествий, либо задержаться на пару дней – оттянуться и поискать его отца.

Мы все были в грязи и абсолютно без сил. В сортире ресторана я стоял у писсуара, не давая Дину протиснуться к раковине, – и вынужден был отступить, не закончив, а возобновил струю у другого писсуара и сказал Дину:

– Ты врубаешься, какой трюк?

– Да, чувак, – ответил тот, моя над раковиной руки, – трюк-то хороший, да только плохо действует на почки, потому что каждый раз, когда ты так делаешь, становишься немного старше, немного ближе к жалким годам старости, ближе к жутким неполадкам в почках, когда будешь сидеть на скамеечке в парке.

Я рассвирепел:

– Это кто старик? Да я ненамного старше тебя!

– Так я этого и не говорил, чувак!

– А-а, – сказал я, – ты вечно отпускаешь шуточки по поводу моего возраста. Я не такой старый педрила, как тот гомик в машине, можешь не предупреждать меня про мои почки. – Мы вернулись в кабинку ресторана, как раз когда официантка ставила на стол сэндвичи с горячим ростбифом – а Дин обычно подпрыгивал и сразу набрасывался на еду; и тут я сказал, чтобы уж покончить с собственным гневом: – И вообще, больше ничего не хочу об этом слышать. – И тут глаза Дина вдруг наполнились слезами, он поднялся из-за стола, оставив еду исходить паром, и вышел вон из ресторана. Я спросил себя, не ушел ли он насовсем. Мне было плевать – так я разозлился: мне просто жожа под хвост попала, вот я на него и ополчился. Но вид его нетронутой тарелки опечалил меня больше, чем что бы то ни было в последние годы. Не нужно было говорить, что... он ведь так любит поесть... он никогда не бросал вот так еду... Какого дьявола? В любом случае, будет знать.

Дин постоял у ресторана ровно пять минут, потом вернулся и сел на место.

– Ну? – спросил я. – Что ты там делал? Зубами скрипел? Проклинал меня и придумывал новые приколы по части моих почек?

Дин немо покачал головой:

– Нет, чувак, нет, ты абсолютно неправ. Если хочешь знать, то, ну...

– Валяй, выкладывай. – Я произнес это, не отрывая взгляда от тарелки. Я чувствовал себя извергом.

– Я плакал, – сказал Дин.

– Пошел к черту, ты никогда не плачешь.

– И ты это говоришь? Почему ты думаешь, что я не плачу?

– Ты недостаточно умираешь для того, чтобы плакать. – Каждое слово, что я ему говорил, становилось ножом, нацеленным на меня самого. Все, что я до сих пор таил на моего брата, выходило наружу: какой я урод, и какую грязь я раскапываю в глубинах собственных нечистых психологий.

Дин качал головой:

– Нет, чувак, я плакал.

– Да ладно тебе, спорим, что это ты просто разозлился и вынужден был выйти.

– Поверь мне, Сал, по-настоящему поверь мне, если ты когда-нибудь чему-нибудь во мне верил. – Я знал, что он говорит правду, но мне все же в лом было связываться о правдой, и когда я поднял на него глаза, наверное, меня всего аж перекосило от трескавшихся внутренних закруток в собственных жутких внутренностях. И тогда я понял, что неправ:

– Ах, Дин, дружище, прости меня, я с тобой так никогда себя не вел. Ну, теперь ты меня знаешь. Ты знаешь, что у меня больше нет ни с кем никаких близких отношений – я не знаю, что с такими вещами делать. Я держу их в руке, как кусочки дерьма, и не знаю, куда их пристроить. Давай забудем обо всем этом! – Святой пройдоха начал есть. – Я не виноват! не виноват! – повторял ему я. – Я не виноват ни в чем в этом паршивом мире, разве ты этого не видишь? Я не хочу, чтобы оно было, и оно не может быть, и его не будет.

– Да, чувак, да. Но, пожалуйста, внемли мне и поверь.

– Да я верю тебе, верю. – Такова была печальная история того дня. Вечером возникли всевозможные непреодолимые сложности, когда мы с Дином отправились пожить в семью сезонников.

Они были моими соседями по денверскому уединению две недели назад. Мать – чудесная женщина в джинсах – водила грузовики с углем по зимним горам, чтобы прокормить детишек, всего их было четверо, а муж бросил ее много лет назад, когда они ездили по всей стране в трейлере. Они исколесили в этом трейлере всё – от Индианы до Л.А. После множества веселых деньков и воскресного пьянства в барах на перекрестках, и хохота, и треньканья на гитаре посреди ночи этот паскудник вдруг ушел в темное поле и не вернулся. Ее детишки были замечательны. Старшим был мальчишка, этим летом его здесь не было – отправили в лагерь, в горы; потом шла милая тринадцатилетняя девочка, которая писала стихи и собирала в полях цветы, хотела вырасти и стать актрисой в Голливуде, ее звали Дженет; затем шли младшенькие: маленький Джимми, который сидел у ночного костра и требовал себе «карр-тофку», хотя та еще и наполовину не испеклась, и маленькая Люси, которая в своих комнатных зверюшек превращала всяких червяков, лягушек, жуков и все, что ползает, давала им имена и домики для жилья. У них было четыре собаки. Они жили своей потрепанной и радостной жизнью на улице с новыми домиками для поселенцев и были мишенью для соседского полуреспектабельного ощущения собственности только лишь потому, что бедную женщину бросил муж, да потому, что они мусорили у себя во дворе. Ночью все огни Денвера лежали внизу на равнине громадным колесом, поскольку до стоял в той части Запада, где горы подножьями скатываются к степи, и где в первобытные времена мягкие волны, должно быть, выплескивались из широкой, как море, Миссиссиппи, чтобы изваять такие круглые и совершенные табуретки для островов-пиков – Эванса, Пайка и Лонгса. Дин пришел туда и, конечно же, сразу весь вспотел и обрадовался при виде их – особенно при виде Дженет, но я предупредил его, чтобы он ее не трогал, а может, его и не надо было предупреждать. Женщина великолепно знала мужчин, и Дин ей сразу понравился, но она была застенчива, и он тоже был застенчив. Она сказала, что Дин напоминает ей сбежавшего мужа:

– Совсем как он – о, тот тоже был сумасшедший, скажу я вам!

Результатом стало неистовейшее питье пива в захлавленной гостиной, крикливый ужин и громыхающее радио с «Одиноким Объездчиком». Сложности пухли, как облака бабочек; женщина – все звали ее Фрэнки – собиралась, наконец, приобрести некую колымагу: она грозила сделать это уже много лет и совсем недавно как раз подкопила немного долларов для этой цели. Дин незамедлительно принял на себя ответственность выбора и оценки автомобиля, поскольку, разумеется, сам собирался им пользоваться, чтобы, как и встарь, снимать девчонок-старшекласниц днем после школы и возить их в горы. Бедная невинная Фрэнки всегда и со всем соглашалась. Но теперь вдруг сильно побоялась расстаться с деньгами, когда они уже пришли на стоянку и остановились перед торговцем. Дин уселся прямо в пыль на Бульваре Аламеда и колотил себя кулаками по голове:

– Да за сотню ты ничего лучше не найдешь! – Он клялся, что никогда больше не станет с нею разговаривать, он ругался, пока не побагровел в лице, он уже был готов прыгнуть в машину и просто ее угнать. – Ох, эти тупые, тупые, тупые сезонники, они никогда не изменятся, какие сов-вершено и невероятно тупые: в тот момент, когда надо действовать, – такой паралич, испуганный, истеричный, ничего их не пугает больше, чем то, чего они на самом деле хотят – это снова мой папа, мой папа, мой папа!

Дин в тот вечер был сильно возбужден, потому что в баре мы должны были встретиться с его двоюродным братом Сэмом Брэди. Он надел чистую майку и весь сиял.

– Теперь послушай, Сал, я должен рассказать тебе про Сэма – он мой двоюродный брат.

– Кстати, ты искал своего отца-то?

– Сегодня днем, чувак, я отправился в «Буфет Джиггса», где он, бывало, разливал в нежнейшем дурмане хорошее пиво, получал нагоняй от босса и выкатывался прочь, – там нет, – а я пошел в старую цирюльню рядом с «Виндзором» – и там тоже нет, а тамошний старикан мне сказал, что, он думает, отец мой работает – только представь себе! – работает в столовке для работяг на железной дороге или же чего-то делает для Бостонско-Мэнской линии в Новой Англии! Но я ему не верю – они за десять центов тебе такого насочиняют. А теперь слушай. В детстве Сэм Брэди, мой ближайший родственник, был для меня абсолютным героем. Он в горах торговал из-под полы виски, а однажды круто замесился на кулаках со своим братом – они дрались во дворе битых два часа, а все женщины бегали вокруг и вопили от ужаса. Спали мы с ним на одной кровати. Единственный человек в семье, который нежно обо мне заботился. И вот сегодня вечером я его снова увижу, впервые за семь лет – он только что вернулся с Миссури.

– А в чем же весь этот прикол?

– Никакого прикола, чувак, я просто хочу узнать, что произошло со всем моим семейством – у меня ведь есть семья, ты не забыл? – а пуще всего, Сал, я хочу, чтобы он рассказал мне то, что я сам забыл о своем детстве. Я хочу помнить, помнить, хочу помнить! – Я никогда не видел Дина таким радостным и возбужденным. Пока мы дожидались в баре его брата, он разговаривал с целой кучей молодых городских хипанов и фарцовщиков, расспрашивал о новых бандах и тусовках. Затем начал узнавать о Мэрилу, поскольку последнее время та жила в Денвере. – Сал, в молодые годы, когда я, бывало, приходил вот на этот угол тырить мелочь с газетного лотка себе на баранье рагу в обжорке, вон тот вон крутого вида кошка,

что там стоит, – у него в сердце ничего, кроме убийства, не было, он встревал в одну ужасную драку за другой, я даже помню его шрамы, пока вот сейчас, много, мно-о-го лет стояния вот на этом углу не смягчили, наконец, его, жестоко не обуздали его, и вот он весь стал такой милый, и покладистый, и ко всем терпеливый, он стал просто мебелью на углу, видишь, как оно бывает?

Потом пришел Сэм, жилистый, курчавый мужик лет тридцати пяти с руками, изъеденными работой. Дин в почтения поднялся ему навстречу.

– Нет, – сказал Сэм Брэди, – я больше не пью.

– Видишь? видишь? – зашептал Дин мне на ухо. – Он больше не пьет, а ведь был самый запойный пьянчуга в городе; у него теперь появилась вера, он сам мне сказал по телефону, врубись в него, врубись, как человек меняется: мой герой стал таким странным. – Сэм Брэди с подозрением отнесся к своему молодому родичу. Он повез нас проветриться в своем старом дребезжащем двухместном автомобильчике и сразу же все расставил по своим местам в том, что касалось его отношения к Дину.

– Теперь смотри сюда, Дин, я больше не верю ни тебе, ни тому, что ты попробуешь мне рассказать. Я сегодня приехал повидаться с тобой потому, что есть бумага, которую я хочу, чтобы ты подписал ради своей семьи. О твоём отце среди нас больше не принято упоминать, и мы с ним не хотим иметь абсолютно ничего общего – и, как мне ни жаль, с тобою тоже. – Я взглянул на Дина. Его лицо потемнело и осунулось.

– Ага, ага, – повторял он. Его брат продолжал возить нас по городу и даже купил нам мороженого. Тем не менее, Дин забрасывал его бесчисленными вопросами о прошлом, и брат отвечал на них, и на мгновение Дин снова чуть было не вспотел от возбуждения. О, где же был его пропащий папаша в ту ночь? Брат высадил нас у печальных огней карнавала на Бульваре Аламеда, в Федерале. Они с Дином договорились встретиться на следующий день подписать бумагу – и он уехал. Я сказал Дину: мне жаль, что у тебя не осталось никого на свете, кто верил бы в тебя.

– Помни, я в тебя верю. Мне бесконечно жаль, что я держал против тебя такую глупую обиду вчера днем.

– Все в порядке, чувак, заметано, – ответил Дин. Мы вместе пошли врубаться в карнавал. Там были карусели, чертовы колеса, воздушная кукуруза, рулетки, опилки, а вокруг бродили сотни молодых денверских пацанов в джинсах. Пыль возносилась к звездам вместе со всей на свете печальной музыкой. На Дине были застиранные «ливайсы» и майка, и он вдруг снова стал походить на заправского денверца. Там были пацаны на мотоциклах, в шлемах и с усами, в куртках, расшитых бусинками, они болтались под покровом шатров со своими хорошенькими девчонками в «ливайсах» и розовых рубашках. Еще там было много мексиканочек, и одна поразительная девчушка футов трех ростиком, лиллипутка с самым прекрасным и нежным личиком в мире – она повернулась к своему спутнику и сказала:

– Чувак, давай высвистаем Гомеса и свалим отсюда. – Дин остановился как громом пораженный при виде нее. Великий нож вонзился в него из ночной тьмы.

– Чувак, я люблю ее, о, я люблю ее... – Нам пришлось долго ходить за нею следом.

Наконец, она перешла через дорогу позвонить из автомата в мотеле, а Дин сделал вид, что ищет что-то в телефонном справочнике, хотя на самом деле весь плотно сжался, наблюдая

за ней. Я попытался завязать разговор с друзьями этой куколки, но они на нас не обратили никакого внимания. На грохочущем грузовике приехал Гомес и забрал девчонок. Дин остался стоять на дороге, схватившись за грудь.

– Ох, чувак, я почти что умер...

– Какого же черта ты с нею не заговорил?

– Не могу, не смог... – Мы решили купить себе пива и пойти к сезоннице Фрэнки слушать пластинки. На дороге тормознули машину, нагрузившись сумкой с пивными банками.

Маленькая Дженет, тринадцатилетняя дочка Фрэнки, была самой хорошенькой девчушкой на свете и уже совсем была готова расцвести в уматнейшую женщину. Лучше всего в ней были длинные, узкие, чувствительные пальцы, которыми она могла разговаривать – словно Клеопатра на Ниле танцует. Дин сидел в самом дальнем углу комнаты и наблюдал за нею, сощурился глазами и повторяя:

– Да, да, да. – Дженет уже осознавала его; она обратилась ко мне за защитой. В предыдущие месяцы того лета я проводил с нею много времени. Мы говорили о книгах и о тех пустяках, которые ее интересовали.

В ту ночь так ничего и не случилось: мы уснули. Все произошло назавтра. Днем мы с Дином отправились в центр города по своим делам и зашли в бюро путешествий узнать насчет машины на Нью-Йорк. На обратном пути, ближе к вечеру, когда мы уже направлялись к сезоннице Фрэнки, в конце Бродвея Дин вдруг свернул в спортивный магазин, спокойно выбрал на прилавке волейбольный мяч и вышел, подбрасывая его в руке. Никто этого не заметил – таких вещей никто никогда не замечает. Стоял сонный, жаркий день. Идя по улице, мы перебрасывались мячом.

– Вот завтра уж наверняка раздобудем себе машину.

Одна приятельница подарила мне большую квартиру бурбона «Старый Дедушка». Дома у Фрэнки мы стали его пить. На другой стороне кукурузного поля за домом жила одна симпатичная лапочка, которую Дин пытался сделать с самого дня приезда. Собирались тучи. Он бросил слишком много камешков в ее окошко и спугнул. Пока мы пили в захлавленной гостиной бурбон – вместе со всеми собаками, разбросанными игрушками и грустными разговорами, – Дин постоянно выбегал через кухонную дверь в кукурузу, бросал камешки и свистел. Дженет время от времени выходила за ним подсматривать. Вдруг Дин вернулся очень бледным:

– Беда, м-мой м-мальчик. За мной гонится мать этой девчонки с дробовиком, а за нею куча больших пацанов со всей улицы идет меня бить.

– Что такое? Где они?

– За полем, м-мой мальчик. – Дин был пьян и плевать на все хотел. Мы вышли с ним вместе и пошли через кукурузу, залитую лунным светом. На темной обочине я увидел кучки людей.

– Вот они! – услышал я.

– Погодите минуточку, – сказал я. – Будьте добры, в чем дело?

Мать девчонки притаилась сзади, держа наизготовку большую берданку.

– Этот проклятый ваш друг уже давно надоедает нам. Я полицию звать не стану, не из таких. А если он сюда еще раз притащится, то буду стрелять – и наверняка. – Пацаны-старшеклассники сбились в кучку, сжимая кулаки. Я был так пьян, что мне тоже было наплевать, но я чуть-чуть всех утихомирил.

Я сказал:

– Он больше так не будет. Я за ним прослежу; он мой брат, и он меня слушается.

Пожалуйста, уберите ваше ружье и ни о чем не беспокойтесь.

– Пусть хоть раз еще попробует! – твердо и мрачно ответили из темноты. – Когда мой муж вернется домой, я его на вас напущу.

– Не нужно этого делать – он больше не будет вас тревожить, поймите. Успокойтесь, все нормально. – У меня за спиной Дин приглушенно матерился. Девчонка подсматривала за происходящим из окна спальни. Я знал этих людей еще с тех пор, и они мне доверяли достаточно, чтобы немного успокоиться. Я взял Дина за руку, и мы потопали обратно меж лунных рядов кукурузы.

– Уу-хии! – орал он. – Ох и надерусь же я сегодня! – Мы вернулись к Фрэнки и детишкам.

Внезапно Дин психанул на пластинку, которую крутила маленькая Дженет, и сломал ее о колено: то была пластинка хиллбилли. Был там ранний Диззи Гиллеспи, которого он

ценил, – «Конго Блюз» с Максом Уэстом на барабанах. Я подарил эту пластинку Дженет раньше и теперь сказал ей, чтобы она не плакала, а взяла и сломала ее об голову Дина. Она так и сделала. Дин лишь тупо тарачился на нее, вдруг все ощутив. Мы расхохотались. Все было в порядке. Потом Фрэнки-Ма захотела пойти попить пивка во придорожном салунам.

– Паш-шли! – завопил Дин. – Ну, черт возьми, если б ты купила ту машину, что я тебе во вторник показывал, нам бы не пришлось тащиться пешком.

– Да мне не понравилась твоя чертова машина! – заорала в ответ Фрэнки. Бзынь, трах, дети заплакали. Густая вечность бабочкой нависла над безумной бурой гостиной с грустными обоями, розовой лампой, возбужденными лицами. Малыш Джимми испугался; я уложил его на кушетку и привязал к ней собаку. Фрэнки пьяно вызвала такси, как вдруг, пока мы его ждали, раздался звонок – звонила моя приятельница. У нее был средних лет двоюродный брат, который ненавидел меня до самой селезенки, а чуть раньше в тот день я написал письмо Старому Быку Ли, который теперь жил в Мехико, где описал все наши с Дином приключения, а также в каких обстоятельствах мы остановились в Денвере. Я написал: «У меня есть приятельница, которая дает мне виски, денег и кормит грандиозными ужинами». И по глупости отдал это письмо ее брату, чтоб тот его отправил, сразу после ужина с жареной курицей. Тот вскрыл его, прочел и сразу же понес ей, чтобы доказать, какой я мерзавец. Теперь она вся в слезах звонила мне, чтобы сказать, что видеть меня больше не желает. Потом трубку взял торжествующий брат и стал называть меня сволочью. Пока снаружи дудело такси, плакали дети, гавкали собаки, а Дин отплясывал с Фрэнки, я орал в телефонную трубку все мыслимые ругательства, что только мог придумать, прибавлял всевозможные новые проклятья и в своем пьяном неистовстве посылал всех куда подальше, а потом грохнул трубкой о рычаг и пошел напиваться.

Мы переваливались друг через друга, когда вылазили из такси у кабака, у хиллбилльного придорожного кабака около холмов, потом зашли внутрь и заказали пива. Все рушилось, и чтобы стало еще невообразимее и неистовей, в баре очутился экстазный придурок, который обхватил Дина руками и застонал ему прямо в лицо, а Дин снова обезумел и покрылся сумасшедшим потом, и, чтобы еще добавить к невообразимой суматохе, в следующую же минуту выскочил наружу и прямо со стоянки угнал машину, рванул на ней в центр Денвера и сразу же вернулся на лучшей, более новой машине. В баре же я внезапно поднял голову и увидел легавых, а на стоянке толклись какие-то люди при свете мощных фар патрульных крейсеров и говорили об угнанном автомобиле.

– Кто-то тут крадет машины налево и направо! – говорил один фараон. Дин стоял сразу у него за спиной и повторял:

– Ах да-а, ах да-а. – Полицейские уехали проверять. Дин вернулся в бар и стал раскачиваться взад и вперед с этим бедным придурочным пацаном, который в тот день только женился, а теперь грандиозно напивался, пока невеста его где-то ждала.

– Ох, чувак, этот парень – самый клевый в мире! – вопил Дин. – Сал, Фрэнки, я сейчас пойду и достану действительно хорошую тачку, мы все поедем и возьмем с собой Тони – (придурочного святого) – и круто покатаемся в горах. – И он выбежал наружу.

Одновременно внутрь влетел фараон и сказал, что на стоянке обнаружена машина,

угнанная из центра Денвера. Люди кучками зашептались. В окне я увидел, как Дин прыгнул в ближайшую кабину и с ревом унесся, и ни единая душа его не заметила. Через несколько минут он вернулся на совершенно другой – новехонькой, с откидным верхом.

– Это красotka! – прошептал он мне на ухо. – Та слишком часто чихала, я ее оставил на перекрестке, когда увидел перед какой-то фермой вот эту милашку. Погонял ее по Денверу. Давай, чувак, поехали кататься. – Горечь и безумие всей его денверской жизни лезвиями кинжалов выпирали из его натуры. Его лицо было красным, потным и подлым.

– Да не хочу я никаких дел с краденными машинами.

– А-ау, прекрати, парень! Вот Тони поедет со мной, правда, изумительный, дорогой Тони? – И Тони – худая, темноволосая, святоглазая, стонущая, исходящая пеной заблудшая душа – склонился к Дину и все стонал, стонал, ибо ему вдруг стало плохо, а потом, по какому-то странному наитию, вдруг пришел от Дина в ужас, воздел кверху руки и отполз прочь, корчась от страха. Дин опустил голову и весь покрылся испариной. Потом выскочил прочь и уехал. Мы с Фрэнки нашли на обочине такси и решили поехать домой. Когда таксист вез нас по бесконечно темному Бульвару Аламеда, где я бродил много, много потерянных ночей в предыдущие месяцы этого лета, пел, стонал, жевал звезды и капля за каплей ронял соки своего сердца на горячий битум, у нас на хвосте вдруг повис Дин в угнанной машине, начал неистово нам сигналить, прижимать нас к обочине и что-то орать. Таксист побледнел.

– Это всего лишь один мой друг, – успокоил его я. Дину мы вдруг опротивели, и он вырвался вперед на девяносто миль в час, швырнув в выхлоп призрачную пыль. Потом свернул на дорогу к Фрэнки и подъехал прямо к дому, затем так же внезапно тронулся снова, развернулся и поехал обратно в город, пока мы выходили из тачки и расплачивались. Через несколько минут, пока мы встревоженно ждали в темном дворе, он вернулся на новой колымаге – побитой двухместке, в тучах пыли затормозил перед домом, вывалился наружу, прошел напрямик в спальню и, смертельно пьяный, рухнул на кровать. И мы остались с краденной машиной у самого крыльца.

Надо было его разбудить: я не мог сам завести машину, чтобы отогнать ее куда-нибудь подальше. Он выкарабкался из постели в одних трусах, мы вместе залезли в машину, пока детишки хихикали, выглядывая в окно, и поехали, виляя и подпрыгивая – напрямик по жестким посадкам люцерны в конце дороги, пока наша колымага, наконец, не сдохла под старым тополем невдалеке от развалин мельницы.

– Дальше не могу, – просто сказал Дин, вылез из машины и пошел обратно по кукурузному полю – около полумили, в одних трусах под светом луны. Мы вернулись в дом, и он уснул. Все превратилось в кошмарный бардак – весь Денвер, моя приятельница, машины, дети, несчастная Фрэнки, гостиная, заляпанная пивом и заваленная банками, а я пытался уснуть. Некоторое время мне не давал покоя сверчок. До ночам в этой части Запада звезды, как я это видел в Вайоминге, – большие, словно римские свечи, и одинокие, как Князь Дхармы, который утратил рошу своих предков и теперь путешествует по пространствам между точками в рукоятке ковша Большой Медведицы, пытаюсь обрести ее вновь. Так медленно они вращали ночь, а затем, задолго до настоящего рассвета, вдалеке, над сумрачной унылой землей, расстилавшейся к западному Канзасу, восстал огромный красный свет, и птицы подхватили свои трели над Денвером.

Утром нас ужасно тошнило. Первым делом Дин отправился через кукурузное поле посмотреть, не сможет ли вчерашний драндулет увезти нас на Восток. Я его отговаривал, но он все равно пошел. Вернулся побледневшим:

– Чувак, там – машина сыщиков, а в каждом участке города знают мои отпечатки пальцев с того самого года, когда я угнал тут пять сотен машин. Ты ведь знаешь, что я с ними делаю, я ведь просто хочу покататься, чувак! Мне надо клеить отсюда ноги! Слушай, мы с тобою сядем, если не свалим сию же минуту.

– Ты чертовски прав, – согласился я, и мы стали собираться, насколько быстро могли шевелить руками. В болтающихся галстуках и незаправленных рубашках мы наскоро попрощались с нашим милым маленьким семейством и, спотыкаясь, выскочили под защиту дороги, где нас уже никто бы не узнал. Малышка Дженет плакала, расставаясь с нами – или со мной, или что там еще от нее уходило, – а Фрэнки была учтива, и я поцеловал ее и извинился.

– Он, конечно, чокнутый, – сказала Фрэнки. – Точь в точь как мой муж, который сбежал. Просто вылитый. Я вот только надеюсь, что мой Мики не вырастет таким, а они сейчас все такие.

И еще я сказал до свиданья маленькой Люси, которая держала в кулачке своего любимого жука, а маленький Джимми спал.

Все это заняло несколько секунд тем славным воскресных утром, пока мы выметались из дома со своим жалким скарбом. Мы спешили. Каждую минуту мы ожидали, что вот-вот из-за горки появится патрульная машина и покатится к нам.

– Если эта тетка с дробовиком пронюхает, нам кранты, – сказал Дин. – Надо просто найти такси. Тогда мы в безопасности. – Мы уже собирались было разбудить каких-то людей на ферме, чтобы позвонить от них, но собака прогнала нас. Каждую секунду ситуация становилась все опаснее: какая-нибудь ранняя деревенская пташка вот-вот найдет неисправную машину в кукурузе. Одна милая старушка, в конце концов, разрешила нам позвонить, и мы вызвали из города такси, но оно не пришло. Мы ковыляли дальше по дороге. Начали ездить первые машины, и каждая походила на патрульную. Затем мы вдруг увидели настоящую полицейскую машину, и я понял, что это конец моей жизни, что я вступаю в новую и ужасную стадию тюрем и железных тягот. Но это оказалось наше такси, и с того момента мы просто полетели на Восток.

В бюро путешествий была абсолютно острейшая нужда в ком-нибудь, кто мог бы повести «кадиллак» 47-го года в Чикаго. Владелец этого лимузина ехал с семьей из Мехико, очень устал и дальше решил сесть на поезд. Ему требовалось только удостоверение личности, и чтобы машина доехала до места. Мои бумаги заверили его, что все сойдет отлично. Я сказал, чтобы он не беспокоился. Дина я предупредил:

– Только попробуй слямзить эту машину! – Дин аж подпрыгивал от нетерпения ее увидеть. Надо было часик подождать. Мы лежали на травке у той церкви, где в 1947 году я провел некоторое время с попрошайками после того, как проводил домой Риту Беттенкур; там я и заснул, изможденный чистым ужасом, обратив лицо к полуденным птичкам. И в самом деле, где-то играли на органе. Дин же пошел шнырять по городу. Он приболтал какую-то

официантку в кафешке, назначил ей свидание, пообещав днем покатать на «кадиллаке», и вернулся, чтобы сообщить эту новость мне. Проснувшись, я почувствовал себя лучше. И смело встретил новые сложности.

Когда прибыл «кадиллак», Дин сразу же отъехал на нем «заправиться», и человек в бюро путешествий, взглянув на меня, спросил:

– Когда он вернется? Пассажиры уже готовы. – Он показал на двух паренчиков-ирландцев из иезуитской школы где-то на Востоке – те ждали, сложив на скамейку чемоданы.

– Он только поехал заправиться. Сейчас вернется. – Я слетал на угол понаблюдать за Дином, пока тот, не глуша мотор, ждал официантку, которая переодевалась у себя в номере; фактически, с того места я мог видеть и ее тоже – она стояла перед зеркалом, наряжаясь и подтягивая шелковые чулки, а я так хотел поехать с ними. Она выскочила и прыгнула в «кадиллак». Я поплелся обратно успокаивать шефа бюро и пассажиров. Стоя в дверях, я заметил, как «кадиллак» слабо блеснул, пересекая площадь Кливленд-Плэйс, – с Дином, радостным и в одной майке: он размахивал руками, болтая с девчонкой и нависая над рулем, летя вперед, а та печально и гордо сидела рядом. Среди бела дня они отправились на стоянку, остановились в глубине ее, под кирпичной стеной (на той самой стоянке, где он когда-то работал), и там, как он утверждает, он ее трахнул, считай, в один миг; мало того, он еще убедил ее поехать вслед за нами на Восток, как только в пятницу ей выплатят деньги, – ехать автобусом и встретиться с нами на хате у Иэна МакАртура на Лексингтон-авеню в Нью-Йорке. Она согласилась; ее звали Биверли. Каких-то тридцать минут – и Дин примчался обратно, снова засунул девчонку в отель с поцелуями, прощаньями, обещаньями и подкатил к самому порогу бюро путешествий подобрать всю команду.

– Н-ну, ты вовремя! – сказал Бродвейский Сэм, шеф этого бюро. – А я уж думал, ты с этим «кадиллаком» тью-тью.

– Это на моей совести, – ответил я, – не беспокойтесь. – А сказал я это потому, что Дин пребывал в настолько очевидном неистовстве, что любой мог догадаться о его безумии. Он напустил на себя деловой вид и стал помогать мальчишкам-иезуитам грузить багаж. Едва успели они рассестись, едва успел я помахать Денверу рукой, как он уже сорвался с места, и большой мотор загудел мощно, как гигантская птица. Не отъехали мы и двух миль от Денвера, как сломался спидометр, потому что Дин выжимал гораздо больше ста десяти миль в час.

– Ну что ж, раз нет спидометра, то я не буду знать, как быстро мы едем, я просто пригоню эту тачку в Чикаго и засеку время. – Казалось, мы даже до семидесяти не доходили, но машины на прямом шоссе в Грили отпадали от нас как дохлые мухи. – Почему мы едем на северо-восток? Потому, Сал, что нам абсолютно необходимо заехать на ранчо Эда Уолла в Стерлинге, ты должен с ним познакомиться и посмотреть его ранчо, а наша шлюпка режет воду так быстро, что мы сможем это сделать без всяких напрягов со временем, да еще попасть в Чикаго задолго до поезда этого мужика. – О'кей, я был за. Начало моросить, но Дин не снижал скорости. То был прекрасный большой автомобиль, последний из лимузинов старого стиля, черный, с большим вытянутым корпусом и белобокими покрышками, а окна, возможно, вообще были пуленепробиваемыми. Мальчишки-иезуиты – из Св. Бонавентуры –

сидели сзади, ликуя и радуясь тому, что едут, без малейшего понятия, насколько быстро мы мчимся. Они завели было разговор, но Дин ничего им не ответил, снял с себя майку и ехал дальше с голым торсом. – О, эта Биверли – четкая девчонка, миленькая такая, она приедет ко мне в Нью-Йорк... мы поженимся, как только я получу от Камиллы развод... все клево, Сал, мы свалили. Да! – Чем быстрее мы оставляли за спиной Денвер, тем лучше я себя чувствовал, а мы в натуре делали это быстро. Стемнело, когда свернули с трассы в Джанкшн и рванули по грунтовке, которая вела через угрюмые равнины Восточного Колорадо к ранчо Эда Уолла посреди этой Койотовой Глуши. Но дождь не прекращался, грязь была скользкой, и Дин сбавил ход до семидесяти, но я велел ему сбросить скорость еще больше, а не то мы пойдем юзом, и он ответил:

– Не волнуйся, чувак, ты меня знаешь.

– Да, но не сейчас, – сказал я. – Ты на самом деле гонишь слишком быстро. – А он как раз летел вперед по скользкой грязи, и только я это сказал, как мы вписались в полный левый поворот, и Дин крутанул изо всех сил баранку, чтобы выйти из него, но большую машину мощно занесло в этом вазелине, и она пошла юзом.

– Берегись! – завопил Дин, которому на все было накласть; он какой-то момент боролся со своим Ангелом – и мы очутились задом в канаве, а передними колесами на дороге. Великая тишина окутала всё. Слышалось лишь завывание ветра. Мы сидели посреди диких прерий. В четверти мили дальше по дороге стояла чья-то ферма. Я ругался и не мог остановиться – так зол я был на Дина, и так он мне был противен. Он ничего не сказал и под дождем ушел на ферму за помощью, надев куртку.

– Он ваш брат? – спросили с заднего сиденья мальчишки. – Он просто дьявол с машинами, правда? И, если судить по его рассказу, с женщинами, должно быть, тоже.

– Он безумец, – ответил я. – И да, он – мой брат. – Дин уже возвращался с фермером на тракторе. Они зацепили нас тросом, и фермер вытащил «кадиллак» из кювета. Вся машина стала коричневой от грязи, разворотило весь бампер. Фермер взял с нас пять долларов. Его дочери под дождем наблюдали за нами. Самая хорошенькая и самая робкая спряталась далеко в поле – и не напрасно, поскольку была абсолютно и окончательно самой красивой девчонкой, которую мы с Дином в жизни видели. Лет шестнадцати, цвет лица, как и у всех на Равнинах, – дикая роза, глубоко синие глаза, прекраснейшие волосы, скромность и быстрота дикой антилопы. От каждого нашего взгляда она вздрагивала. Она стояла под дождем, и неохватные ветры, дувшие с самого Саскатчевана, трепали ей волосы, как покровами окружавшие ее милую головку живой массой локонов. Она вся рдела. Мы закончили наши дела с фермером, взглянули в последний раз на ангела прерий и поехали – теперь уже гораздо медленней, и ехали так до самой темноты, пока Дин не сказал, что ранчо Эда Уолла – прямо перед нами.

– О, такая девушка пугает меня, – сказал я. – Я бы бросил все и швырнул себя на ее милость, а если б она меня не захотела, то просто пошел бы и бросился вниз с самого края света. – Мальчишки-иезуиты хихикали. Из них так и лезли похабные каламбуры и восточный студенческий жаргон, и в куриных мозгах у них не было ничего, кроме кучи плохо усвоенного Аквинского, которым они фаршировали свой перчик. Дин и я не обращали на них совершенно никакого внимания. Пока мы пересекали грязные равнины, он рассказывал

истории из своих ковбойских дней, показал нам отрезок дороги, на котором провел в седле целое утро, показал, где чинил забор – как только мы въехали на земли Уолла, а они были огромны; старый Уолл, отец Эда, бывало, с лязгом гонялся по траве пастбища за телкой и выл: «Лови, лови, дьявол тебя задери!»

– Ему приходилось каждые полгода менять машину, – рассказывал Дин. – Ему было наплевать, он не мог иначе. Когда корова отбивалась от стада, он ехал за нею, бывало, аж до ближайшего водооя, а затем вылезал и бежал пешком. Считал каждый заработанный цент и все деньги держал в горшке. Старый чокнутый ранчер. Я покажу тебе кое-какие его развалюхи около жилого сарая. Там я проходил свой испытательный срок, когда отсидел в последний раз. Вон там я и жил, когда писал те письма, что ты видел у Чада Кинга. – Мы свернули с дороги и стали петлять по тропе через зимнее пастбище. Внезапно в свете наших фар появилось бестолковое стадо скорбных белолицых коров. – Вот они! Коровы Уолла! Мы никогда сквозь них не проедем. Придется выйти и шугануть их. Хи-хи-хи! – Но выходить не пришлось, мы лишь медленно протискивались между ними, иногда мягко их подталкивая, пока они толклись на месте и мычали, словно море за дверцами машины. За ними виднелся свет в окнах ранчо Эда Уолла. Вокруг этого одинокого огонька расстилались сотни миль равнин.

Тьма такого рода, которая падает здесь на прерию, непостижима для живущего на Востоке. Не было ни звезд, ни луны, никакого другого света, кроме огня в кухне миссис Уолл. То, что лежало за пределами теней во дворе, было бесконечной панорамой мира, которую невозможно было бы увидеть до самого рассвета. Постучав в двери и покричав в темноту Эду Уоллу, который в хлеву доил коров, я предпринял краткую и осторожную прогулку в эту тьму – шагов двадцать, не больше. Мне показалось, что я слышу койотов. Уолл объяснил, что это, вероятно, ржет вдали одна из диких лошадей его отца. Эд Уолл был примерно наш ровесник, высокий, поджарый, острозубый и немногословный. Они с Дином, бывало, стояли где-нибудь на углу Кёртис-стрит и свистели проходившим мимо девчонкам. Теперь он учтиво провел нас в свою мрачную коричневую нежилую парадную комнату, где-то пошурудил и извлек тусклые лампы, засветил их и спросил у Дина:

– Какого дьявола случилось у тебя с пальцем?

– Я дал в лоб Мэрилу, он стал нарывать, и пришлось ампутировать кончик.

– А за каким дьяволом тебе вообще это понадобилось? – Заметно было, что раньше он заменял Дину старшего брата. Он покачал головой. Подойник по-прежнему стоял у его ног. – У тебя, сукин сын, все равно всегда была трещина в башке.

Тем временем его молодая жена приготовила в большой кухне роскошный стол. Она извинилась за персиковое мороженое:

– Там всего лишь сметана и персики, замороженные вместе. – Это, конечно, было единственное настоящее мороженое, которое я ел в своей жизни. Начала она с немногого, а завершила все изобильно: пока мы ели, на столе появлялись все новые и новые кушанья. Она была хорошо сложенной блондинкой, но, как и все женщины, живущие на широких просторах, жаловалась немного на скуку. Она перечислила радиопрограммы, которые обычно слушает в это время ночи. Эд Уолл сидел, уставившись на свои руки. Дин прожорливо ел. Он хотел, чтобы я подыграл ему в выдумке про то, что «кадиллак», на

самом деле, – мой, что я очень богатый человек, а он – мой друг и шофер. Это не произвело на Эда Уолла никакого впечатления. Всякий раз, когда скотина в хлеву издавала какой-нибудь звук, он поднимал голову и прислушивался.

– Ну, я надеюсь, парни, вы доберетесь до своего Нью-Йорка. – Далеко не поверив сказкам о том, что я владелец «кадиллака», он был убежден, что Дин машину попросту угнал. Мы пробыли у него на ранчо около часа. Эд Уолл утратил веру в Дина точно так же, как и Сэм Брэди: теперь он смотрел на него с опаской, когда вообще смотрел на него. В прошлом у них бывали буйные деньки, когда они рука об руку шибались по улицам Ларэйми, штат Вайоминг, когда заканчивался сенокос, но теперь все это былем поросло.

Дин конвульсивно подскакивал на стуле.

– Ну да, ну да, а теперь, я думаю, нам лучше двигаться дальше, поскольку надо быть в Чикаго к завтрашнему вечеру, а мы уже и так потратили несколько часов. – Студентики учтиво поблагодарили Уолла, и мы снова тронулись. Я обернулся посмотреть, как свет на кухне растворяется в море ночи. Затем я склонился вперед.

В мгновение ока мы снова оказались на главной трассе, и в ту ночь перед моим взором развернулся весь штат Небраска. Сто десять миль в час, прямо насквозь, дорога – как стрела, спящие городки, никаких больше машин, а скорый «Юнион Пасифик» безнадежно плетется позади в лунном свете.

В ту ночь я совсем не боялся: на совершенно законных основаниях можно было выжимать 110, болтать, и все городки Небраски – Огаллала, Гётенбург, Кирни, Грэнд-Айлейд, Коламбус – разворачивались с нереальной быстротой, а мы ревели себе вперед и болтали. Великолепный автомобиль – он мог удерживать дорогу, как лодка держится на воде. Он легко выпевал плавные повороты.

– Ну, чувак, что за лодка – лодка моей мечты, – вздыхал Дин. – Ты прикинь – если б у нас с тобой была такая машина, что бы мы могли сделать. Ты знаешь, что по Мексике вниз идет дорога до самой Панамы? – а может быть, и до самого низу Южной Америки, где живут семифутовые индейцы и жуют на горных склонах кокаин? Да! Ты и я, Сал, – мы бы с такой машиной врубались в целый мир, потому что, чувак, дорога рано или поздно должна вывести в целый мир. Ведь ей больше некуда идти – правильно? Ох, как же мы порассекаем по старому Чи на этой штуkenции! Только подумай, Сал, я за всю свою жизнь ни разу не был в Чикаго, даже проездом.

– И мы туда приедем как гангстеры на этом «кадиллаке».

– Да! И девчонки! Мы можем снимать девчонок, Сал, на самом деле я решил доехать архибыстро, чтобы оставался еще целый вечер порассекать по городу. Ты теперь расслабься, а я буду просто гнать тачку всю дорогу.

– Ну, а какая у нас скорость?

– Постоянных – сто десять, я так думаю; а даже незаметно. У нас еще днем останется вся Айова, а потом я сделаю старый Иллинойс за шесть секунд. – Мальчишки заснули, а мы говорили всю ночь напролет.

Замечательно, как Дин мог сходить с ума, а потом вдруг продолжал копаться у себя в душе – которая, как я думаю, вся обернута в быструю машину, в побережье, до которого нужно доехать, в женщину в конце дороги, – спокойно и здраво, как будто ничего не случилось.

[16]

Я спросил его, как он оказался в 1944 году в Л.А.

– Меня арестовали в Аризоне – самая гнилая лажа, в которой я очутился. Пришлось давать оттуда деру – самый клевый побег в моей жизни, если говорить о побегах, понимаешь, в общем смысле: типа там в лесах, ползал по болотам, обходил горы, короче. Меня ожидали резиновые шланги со свинцом, общий режим в лагере и так называемая смерть от несчастного случая, но пришлось вылезать из лесов по хребту, чтобы не попасть ни на тропу, ни на дорогу. Надо было избавиться от тюремной робы: так я аккуратненько стибрил штаны с рубашкой на заправке за Флагстаффом, и два дня спустя прибыл в Л.А. одетый как служитель с бензоколонки, пришел на первую же станцию, что попалась на глаза, – меня взяли, я снял себе комнатку и сменил имя (Ли Булей), и провел в Л.А. восхитительный год – включая сюда целую банду новых друзей и на самом деле очень классных девчонок; а тот сезон закончился, когда мы все как-то ночью ехали по Голливудскому Бульвару, и я

попросил одного кореша порулить, пока я поцелую девчонку – а я был за рулем, понимаешь? – и тот меня просто не услышал, и мы вляпались в столб, но скорость у нас была всего двадцать, и я только сломал себе нос. Ты ведь раньше видел мой нос – типа кривой греческой горбинки вот тут. После этого я поехал в Денвер и весной познакомился в павильоне с газировкой с Мэрилу. Ох, чувак, ей было всего пятнадцать – в джинсиках, так вся и ждет, чтобы ее кто-нибудь снял. Три дня и три ночи разговоров в отеле «Туз», третий этаж, юго-восточная угловая комната, святая комната воспоминаний и священная сцена моих дней – она была такой милой тогда, такой молоденькой, хмм, ахх! Эй, эй, посмотри-ка – вон там, в темноте, оп-оп, куча бичей у костра возле насыпи, ну ч-черт. – Он чуть было не затормозил. – Видишь ли, я никогда не уверен, там мой отец или нет. – Какие-то фигуры около железной дороги покачивались перед большим костром. – Я так и не знаю, где мне спрашивать. Он может оказаться где угодно. – Мы ехали дальше. Где-то за нами или перед нами в огромной ночи его отец лежал пьяный под кустом и, без сомнения, слюна стекала у него по подбородку, штаны его были мокры, в ушах сера, на носу струпья, может быть, даже запекшаяся кровь в волосах, и луна бросала сверху на него свой свет.

Я взял Дина за руку.

– Ах, чувак, мы теперь уж точно едем домой. – Нью-Йорк должен был впервые стать ему постоянным домом. Его всего трясло: он не мог утерпеть.

– И только подумай, Сал, когда мы доберемся до Пеннси, сразу начнем слушать этот уматный восточный боп у диск-жокеев. Иии-ях, катись, лодочка, катись! – Великолепный автомобиль заставлял ветер реветь; равнины от него разворачивались рулоном бумаги; горячий асфальт отлетал от колес с почтением – величественный корабль. Я открыл глаза навстречу встававшей веером заре; мы летели прямо в нее. Каменное сосредоточенное лицо Дина как обычно склонялось над лампочками приборной доски в собственном костлявом порыве.

– О чем ты думаешь, папаша?

– Ах-ха, ах-ха, да все о том же, знаешь ли: девки, девки, девки...

Я заснул и проснулся в сухой, жаркой атмосфере июльского воскресного утра посреди Айовы, а Дин все гнал и гнал машину, и скорости не сбавлял: он брал горбатые кукурузные доли Айовы минимум на восьмидесяти, а по прямой выдавал обычные 110, если только потоки машин в обе стороны не вынуждали его вставать в ряд и ползти на жалких шестидесяти. Когда возникал подходящий случай, он вырывался вперед и обгонял машины дюжинами, оставляя их позади за тучей пыли. Какой-то ненормальный в новехоньком «бьюике» увидел на дороге такие дела и решил потягаться с нами силами. Только Дин снова собрался отхватить солидный кусок дороги, как этот парень без предупреждения вылетел у нас из-под самого носа, взвыл, задудел и даже помигал нам хвостовыми огнями в знак вызова. Мы снялись за ним следом как большая птица.

– Ну, погоди, – засмеялся Дин. – Я помучаю этого сукиного сына с десятков миль. Смотри. – Он позволил «бьюику» намного опередить нас, а затем разогнался и самым невежливым образом настиг его. Безумный «бьюик» совсем рехнулся: он рванул до ста. Нам удалось разглядеть, кто сидит внутри. То, видимо, был какой-то чикатский хипстер, путешествующий вместе с женщиной, которая по возрасту годилась ему в матери – а, возможно, ею и была.

Бог знает, насколько ей это нравилось, но гнал он со страшной силой. Волосы у него были темные и дикие – такой итальянец из старого Чи; на нем была спортивная рубашка. Может, он вообразил себе, что мы – какая-нибудь новая банда из Л.А., которая вторгается в Чикаго, может, кто-то из людей Мики Коэна, поскольку и лимузин был такой как надо, и номера калифорнийские. В основном же это был просто дорожный оттяг. Он ужасно рисковал, пытаюсь держаться впереди: обгонял на поворотах, а однажды едва успел встать обратно в ряд, когда навстречу ему вылетел грузовик, точно выросший из-под земли. Таким макаром мы проделали по Айове миль восемьдесят, и гонки оказались такими захватывающими, что я даже не успел испугаться. Затем тот псих сдался, свернул на бензоколонку, вероятно, по приказу пожилой леди, и когда мы проносились мимо, он нам ликующе махал. Мы рвали дальше, Дин – с голым торсом, я – задрал ноги на щиток, а студентики спали на заднем сиденье. Мы остановились позавтракать в кабачке, которым заправляла седая дама, – она навалила нам с верхом картошки, а в городке неподалеку всюду звонили церковные колокола. Затем снова дальше.

– Дин, не гони так быстро днем.

– Не волнуйся, чувак, я знаю, что делаю. – Я начал вздрагивать. Дин бросался на ряды машин, как Ангел Ужаса. Он едва ли не таранил их, пытаюсь втиснуться. Он терзал им бамперы, он ерзал, нагибался и вертелся во все стороны, чтобы вовремя заметить поворот, а затем огромная машина вздрагивала от его прикосновения и шла на обгон, и мы всегда на какой-то волосок успевали проскочить и встать в свой ряд прежде, чем заполнялись остальные, и я содрогался. Я больше не мог. Очень редко в Айове нам попадалась длинная прямая автострада, типа небраскинской, и тогда Дин делал свои обычные 110, и я видел, как снаружи мелькают кое-какие знакомые пейзажи, которые помнил еще по 47-му году: тот долгой перегон, на котором мы с Эдди застряли на два часа. Вся эта старая дорога из прошлого головокружительно разматывалась, словно опрокинулась чаша жизни, и все вокруг сбесилось. Мои глаза болели от такого кошмара среди бела дня.

– А-а черт, Дин, я пошел назад, я больше не выдержу, не могу смотреть.

– Хии-хии-хии! – зашелся Дин и обогнал машину на узеньком мостике, зацепил пыльную обочину и погнал вперед. Я перепрыгнул на заднее сиденье и свернул калачиком, чтобы поспать. Один из мальчишек смеху ради прыгнул вперед. Меня захватили очень явные ужасы, что мы вот этим самым утром разобьемся, я сполз на пол, закрыл глаза и попытался уснуть. Когда я был моряком, то, бывало, представлял себе, как под судовым корпусом бегут волны, а дальше, внизу – бездонные глубины; теперь же в каких-то двадцати дюймах под собой я ощущал дорогу: как она разворачивается, летит и шипит на невероятных скоростях через весь кряхтящий континент вместе с этим безумным Ахавом за рулем. Когда я закрывал глаза, мне рисовалась одна лишь дорога, разворачивающаяся в меня. Когда я открывал их, то видел мелькавшие тени деревьев, которые вибрировали на полу машины. Деваться некуда: я покорился всему. А Дин по-прежнему гнал – он и не думал о сне, пока не доберемся до Чикаго. Днем снова проехали старый Де-Мойн. Тут мы, конечно же, завязли в уличном движении, пришлось сбавить скорость, и я снова перелез вперед. Случилось странное и трогательное происшествие. Перед нами со всем своим семейством ехал цветной толстяк; на заднем бампере у него висел полотняный мешок с водой – такие

продают туристам в пустыне. Толстяк резко тормознул. Дин разговаривал с мальчишками на заднем сиденье и не заметил, как мы воткнулись в него на пяти милях в час – прямо в этот его бурдюк, который лопнул, точно гнойник, плеснув водой в воздух. Никакого ущерба, если не считать погнутого бампера. Мы с Дином вышли с ним поговорить. Все завершилось небольшой беседой и обменом адресами, а Дин не мог отвести глаз от жены этого человека – ее прекрасные коричневые груди были едва прикрыты небрежной хлопчатобумажной блузкой.

– Ага, ага. – Мы дали ему адрес нашего чикагского магната.

На другой окраине Де-Мойна за нами погнался патруль с рычащей сиреной и приказами остановиться.

– Ну чего еще? Вылез легавый.

– Это вы попали в аварию на въезде?

– В аварию? Ну да, мы порвали бурдюк одному парню на развилке.

– А он утверждает, что его помяла и сбежала банда на краденой машине. – Как раз один из тех немногих моментов, когда мы с Дином поняли, что и негр может вести себя как подозрительный старый дурак. Нас это так удивило, что мы расхохотались. Пришлось ехать за патрульным в участок и там целый час ожидать на травке, пока те дозвонятся в Чикаго, найдут хозяина «кадиллака», и тот подтвердит наше положение наемных водителей. Если верить фараону, наш г-н магнат сказал:

– Да, это моя машина, но я не могу отвечать ни за что, что бы там эти парни ни натворили.

– Они тут, в Де-Мойне, попали в маленькую аварию.

– Да, вы мне уже об этом сообщили – я имею в виду, что не могу отвечать ни за что, чего бы они ни натворили в прошлом.

[17]

Мальчишки теперь тоже оставались сзади. Дин твердо намеревался быть в Чикаго до темноты. На железнодорожном переезде мы подобрали двух сезонных работяг, которые наскребли между собой полдоллара на бензин. Всего лишь минуту назад они сидели себе под штабелем шпал, выцеживая в рот остатки винища, а тут очутились хоть и в грязном, но все же непокоренном и роскошном «кадиллаке», в стремительной спешке летящем в Чикаго. На самом деле, бедолага, севший вперед к Дину, не отрывал от дороги глаз и – вот вам слово – не переставая, твердил про себя свои бродяжьи молитвы.

– Ну и ну, – говорили они. – Вот уж не гадали, что попадем в Чикагу так быстро. – Проезжая по сонным иллинойским городкам, где люди так хорошо понимают, что такое чикагские банды, которые вот так вот носятся мимо в лимузинах каждый день, мы представляли собою странное зрелище: все небритые, водитель – полуголый, два бича, я сам на заднем сиденье откинул голову на подушку, держусь за ремень и надменно озираю местность – короче, совсем будто новая калифорнийская банда едет требовать своей доли чикагских трофеев, банда отчаянных сорвиголов, бежавших из тюрем где-нибудь на луне Юты. Когда мы остановились попить кока-колы и заправиться в крошечном городишке, люди вылезли наружу посмотреть на нас, но никто не сказал нам ни слова, хоть я и думаю, что они запомнили на всякий случай наши приметы и рост – мало ли как потом обернется. Для того, чтобы провести деловые переговоры на бензоколонке, Дин просто повесил на шею майку

как шарфик, был с девушкой по обыкновению краток и резок, снова сел в машину, и мы полетели дальше. Довольно скоро красное солнце побагровело, мимо промелькнула последняя из зачарованных речушек, и на том конце автострады мы увидели дальние дымы Чикаго. Из Денвера сюда, с заездом на ранчо Эда Уолла, всего 1180 миль, мы добрались ровно за семнадцать часов, если не считать двух часов в канаве, трех на ранчо и двух с полицией в Ньютоне, со средней скоростью семьдесят миль в час, через всю страну, с одним водителем. Рекорд сумасшествия в некотором роде.

Великий Чикаго пылал багряным у нас перед глазами. Мы вдруг оказались на Мэдисон-стрит, среди орд хобо – некоторые валялись прямо посреди улицы, задрав ноги на тротуар, сотни других толклись у входов в салуны и в переулках.

[18]

– Ху-у! – выдохнул Дин. – Пошли за ней по улице, давай посадим ее к нам в «кадиллак». Устроим праздник. – Но мы забыли об этом и устремились напрямиком на Норт-Кларк-стрит, покрутившись немного в Петле, чтобы посмотреть на точки, где танцуют хучи-кучи, и послушать боп. И что это была за ночка!

– Ох, чувак, – сказал мне Дин, когда мы с ним стояли перед входом в бар, – ты врубись в эту улицу жизни, в китайцев, что пересекают по всему Чикаго. Что за жуткий городок! – ух, вон там тетка в окне с большущими глазищами, видишь, выглядывает, а сиськи болтаются из ночнушки. Уии! Сал, пошли и не будем останавливаться, пока не придем.

– Куда пошли, чувак?

– Не знаю, но пошли. – Потом перед нами возникла банда молодых музыкантов, выносивших из машин свои инструменты. Они ввалились прямо в салун, и мы потащились за ними. Те расселись по местам и залабали. Вот мы и на месте! Лидером был худощавый, сутулый, курчавый, тонкогубый тенор-саксофонист, узкоплечий, в свободной спортивной рубашке, прохладно-отстраненный в этой теплой ночи, самолюбие ясно читалось в его глазах; он поднял свою дудку и нахмурился в нее, и дунул холодно, сложно, и изысканно притопывал ногой, чтобы поймать идею, и нырял, чтобы не мешать остальным, – и говорил: – Дуй, – очень тихо, когда другим парням приходил черед солировать. Еще там был През, сиплый, симпатичный блондин, похожий на веснушчатого боксера, тщательно упакованный в костюм из плотной шотландки – брюки с узкими манжетами и длинный свободный пиджак с опадающим назад воротом, галстук развязан, чтобы лишь подчеркнуть остроту и небрежность, весь в испарине, он вздергивает вверх свой сакс, и извивается в него, и звук у него совсем как у самого Лестера Янга.

[19]

Однажды был Луи Армстронг, который в грязи Нового Орлеана лабал так, что съезжала его прекрасная крыша; до него – безумные музыканты, которые парадом ходили на официальные праздники и ломали марши Сузы в свои рэгтаймы. Потом был свинг, и Рой Элдридж, мужественный и энергичный, взрывал свой инструмент ради всего, что в нем было заключено, волнами мощи, логики и изящества, напирая на него с блестящими глазами и милой улыбкой, излучая им то, что потрясало весь джазовый мир. Потом пришел Чарли Паркер, пацан из материнского дровяного сарая в Канзас-Сити, он дул в свой перемотанный изолентой альт среди поленьев, тренируясь в дождливые дни, выходя в город посмотреть на старый свингующий оркестр Бейси и Бенни Мотена, у которых был «Горячегубый» Пейдж и все остальные, – Чарли Паркер, который ушел из дому и приехал в Гарлем, и встретил там безумного Телониуса Монка и еще более безумного Гиллеспи, – Чарли Паркер в его молодые годы, когда у него вылетали предохранители, и он, играя, ходил по кругу. Несколько моложе Лестера Янга – тот тоже из К.С., этот мрачный святой дурила, которым обернута вся история джаза; ибо когда он задирает свою дудку высоко,

держа ее у рта горизонтально, то лабал непревзойденно; а когда у него отросли волосы, и он стал ленивее и растянутей, его дудка наполовину опустилась; пока, наконец, не упала вовсе – и сегодня он носит ботинки на толстой подошве, чтобы не ощущать под ногой мостовую жизни, и его дудка слабо держится у груди, и он выдувает прохладные и легкие на выход фразы. То были дети ночи Американского Боба.

Еще более странные цветочки – ибо пока негр-альтист с достоинством размышлял у всех над головами, молодой, длинный, худой, светловолосый пацан из Денвера, с Кёртис-стрит, в джинсах на ремне с заклепками пососал немного свой мундштук, ожидая, пока другие закончат, а когда те закочумали, он начал, и приходилось озираться по сторонам, чтобы увидеть, откуда доносится соло, ибо оно шло из ангельских улыбающихся губ на мундштуке, и было это нежное, сладкое, сказочное соло на альте. Одинокое, как сама Америка: горловой пронизывающий звук в ночи.

Что же сказать об остальных и об их звуке? Там был бассист – жилистый рыжий с дикими глазами, который пихал бедрами свою скрипочку с каждым заводным шлепком по струнам в особенно горячие моменты, и рот у него был приоткрыт, как в трансе.

[20]

– Все эти парни живут со своими бабушками, как Том Снарк и наш альтист Карло Маркс, – сказал Дин. Мы рванули вслед за бандой. Те зашли в клуб Аниты О'Дэй, разложились там и играли до девяти часов утра. Дин и я сидели там с пивом.

В перерывах мы носились в «кадиллаке» по всему Чикаго и пытались снимать девчонок. Те боялись нашей огромной, изборожденной шрамами, пророческой машины. В своем безумном неистовстве Дин, сдавая назад, постоянно втыкался в пожарные краны и заходил в маниакальном хихиканье. К девяти утра машина окончательно превратилась в развалину: тормоза больше не работали; все крылья были во вмятинах; тяги дребезжали. Дин не мог больше останавливаться на красный свет, она конвульсивно брыкалась по всей проезжей части. Она заплатила свою цену за эту ночь. Она перестала быть сверкающим лимузином и стала грязным сапогом.

– У-ии! – Парни все еще лабали у Ниты. Неожиданно Дин уставился в темноту угла за сценой и сказал:

– Сал, Бог приехал.

Я посмотрел туда. Джордж Ширинг. И как обычно, он опирался своей слепой головой о бледную руку, полностью открыв уши, словно уши слона, слушая американские звуки и овладевая ими ради своей собственной английской летней ночи. Потом они-таки заставили его встать и сыграть. Он сыграл. Он играл бессчетные припевы с поразительными аккордами, которые громоздились все выше и выше, пока пот не залил все пианино, а все слушали его в благоговейном страхе и трепете. Через час они свели его вниз со сцены. Он удалился к себе в темный угол, старый Бог Ширинг, и парни сказали:

– После этого ничего больше не остается.

Но худощавый лидер нахмурился:

– Все равно давайте лабать.

Из этого что-нибудь бы еще вышло. Всегда есть что-то еще, еще чуть-чуть больше – и никогда не кончается. Они стремились отыскать новые фразы после изысканий Ширинга;

они очень старались. Они корчились, крутились и дули. Время от времени ясный гармонический вскрик по-новой предлагал мелодию, которая однажды станет единственной мелодией на свете и возвысит души людей к радости. Они находили ее, они ее теряли, они сражались за нее, они вновь ее обретали, они смеялись, они стонали – а Дин весь покрывался потом, сидя за столиком, и повторял им: ну же, ну же, ну. В девять утра все – музыканты, девчонки в брючках, бармены и несчастный маленький тромбонист, кожа да кости – вывалились из клуба напрямиком в великий рев чикагского дня, спать до новой дикой ночи бопа.

Мы с Дином содрогались в собственной изодранности. Пришло время возвращать «кадиллак» хозяину, жившему на Лэйк-Шор-драйв в шикарном доме, под которым располагался громаднейший гараж, где управлялись негры в замасленных комбинезонах. Мы подъехали туда и швырнули эту кучу грязи к ее причалу. Механик не признал «кадиллак». Мы передали ему бумаги. При виде их он почесал в затылке. Надо было побыстрее оттуда сматываться. Мы так и сделали. Сели на обратный автобус в центр Чикаго и все дела. И от нашего магната никогда больше не получали никаких вестей по поводу состояния его машины, несмотря на тот факт, что у него остались наши адреса, и он мог бы пожаловаться.

Пришла пора двигаться дальше. Мы сели на автобус до Детройта. Деньги у нас уже заканчивались. Мы проволокли свой убогий багаж через станцию. К этому времени повязка на пальце у Дина стала чернее угля и совсем развязалась. На нас было жалко смотреть – как и на любого, кто проделал бы то же, что и мы. Изможденный Дин уснул в автобусе, несшемся по штату Мичиган. Я завязал разговор с роскошной деревенской девчонкой, на которой была хлопчатобумажная блузка с низким вырезом, являвшим прекрасным загар ее груди. Она была скучной. Она говорила о том, как по вечерам в деревне на крылечках готовят воздушную кукурузу. Когда-то это обрадовало бы мне сердце, но, поскольку ее сердце не радовалось, когда она мне это рассказывала, я знал, что в нем нет ничего, кроме идеи о том, что должно делать.

– А что еще ты делаешь для развлечения? – Я пытался вызвать ее на разговор о мальчиках и сексе. Ее огромные темные глаза осмотрели меня пусто и с той досадой, которая уходила вглубь ее крови на поколения и поколения – оттого, что не сделано то, что рвется быть сделанным. – Чего ты хочешь от жизни? – Мне хотелось взять ее и вывернуть из нее ответ. У нее не было ни малейшего представления о том, чего она хочет. Она бормотала что-то про работу, кино. Поездку летом к бабушке, ей хотелось бы съездить в Нью-Йорк сходить в «Рокси», и что бы она туда надела – что-нибудь типа того, что надевала на прошлую Пасху: белую шляпку, розы, розовые туфельки-лодочки и лавандовое габардиновое пальто. – А что ты делаешь днем по воскресеньям? – спросил я. Она сидит у себя на крыльце. На велосипедах проезжают мальчишки и тормозят поболтать. Она читает комиксы, она лежит в гамаке. – А что ты делаешь теплым летним вечером? – Она сидит на крыльце, она рассматривает машины на дороге. Они с матерью готовят воздушную кукурузу. – А что твой отец делает летним вечером? – Он работает, у него ночная смена на котельной фабрике, он всю свою жизнь потратил на то, чтобы обеспечить жену и отпрысков, а взамен ничего – ни веры, ни любви. – А что твой брат делает летом по вечерам? – Он катается на велосипеде, он ошивается перед фонтаном с газировкой. – А к чему он стремится? К чему мы все стремимся? Чего мы хотим? – Она не знала. Она зевнула. Ей хотелось спать. Это было слишком. Никто этого сказать не мог. Никто никогда и не скажет. Все кончилось. Ей было восемнадцать – такая милая и уже потерянная.

[21]

В полубреду мы с Дином вывалились на заре из этой дыры кошмаров и пошли искать машину в бюро путешествий. Проведя добрую часть утра в негритянских барах, напристававшись к девчонкам и наслушавшись джазовых пластинок в музыкальных автоматах, мы пробились миль пять на местных автобусах со всеми нашими сумасшедшими пожитками к дому человека, бравшему с нас по четыре доллара за перегон до Нью-Йорка. Это был средних лет блондин в очках, с женой, ребенком и хорошим домом. Мы подождали во дворе, пока он соберется. Его милая жена в хлопчатобумажном кухонном халатике предложила нам кофе, но мы были слишком заняты разговором. К тому времени Дин настолько уже вымотался и спятил, что его приводило в восторг все, что бы ни попало ему на глаза. Он близился к новому благочестивому неистовству. Он все потел и потел. В тот момент, когда мы уселись в новенький «крайслер» и двинули в сторону Нью-Йорка,

бедный человек понял, что на всю дорогу связался с двумя маньяками, но виду не подал и фактически привык к нам, не успели мы миновать стадион «Бриггс» и поговорить о видах «Детройтских Тигров» на будущий год.

Туманной ночью мы пересекли Толидо и погнали вперед по старому Огайо. Я осознал, что начал снова попадать в те же самые городки Америки, будто сам был разъезжим торговцем – драные командировки, лежалый товар, гнилые бобы на донышке моего мешочка с фокусами, на фиг никому не нужно. Человек у Пенсильвании устал, за руль сел Дин и проехал остаток пути до самого Нью-Йорка, и мы уже начали слышать по радио шоу Симфонического Сида со всем последним бопом, и вот уже въезжаем в великий и окончательный город Америки. Добрались мы рано утром. Вся Таймс-Сквер была взбаламучена, ибо Нью-Йорк никогда не спит. Проезжая, мы автоматически искали глазами Хассела.

Через час мы с Дином уже входили в новую квартиру моей тетки на Лонг-Айленде, а сама она с деловым видом хлопотала вокруг двух маляров, которые были друзьями семьи, и спорила с ними о цене – и тут мы, спотыкаясь, вскарабкались по лестнице напрямик из Сан-Франциско.

– Сал, – сказала моя тетка. – Дин может пожить у нас несколько дней, но потом ему придется выметаться, ты меня понял? – Путешествие окончилось. Тем вечером мы с ним вышли погулять – среди нефтяных цистерн, железнодорожных мостов и туманных фонарей Лонг-Айленда. Я помню, как он стоял у фонарного столба:

– Вот когда мы проходили мимо вон того фонаря, я собирался сказать тебе еще одну вещь, Сал, но теперь я в скобках продолжаю новую мысль, и к тому времени, как мы дойдем до следующего, я вернусь к первоначальному предмету, согласен? – Ну разумеется, я был согласен. Мы так привыкли двигаться, что за разговором обошли весь остров – но суши больше не было, один Атлантический океан, и дойти мы могли только до него. Мы взялись за руки и уговорились быть друзьями навечно.

Не позднее, чем пять ночей спустя, мы отправились в Нью-Йорк на вечеринку, и я увидел там девушку по имени Инез, и рассказал ей, что у меня есть друг, с которым она должна как-нибудь познакомиться. Я был пьян и сказал ей, что он ковбой.

– О, мне всегда хотелось познакомиться с ковбоем.

– Дин? – заорал я через всю попойку, где присутствовали Ангел Луз Гарсиа, поэт; Уолтер Эванс; Виктор Виллануэва, венесуэльский поэт; Джинни Джонс, бывшая моя любовь; Карло Маркс; Джин Декстер; и бесчисленные остальные. – Подойди-ка сюда, чувак! – Дин стеснительно подвалил. Через час, посреди пьянства и прихотливой чрезмерности празднества («в честь окончания лета, конечно») он стоял на коленях на полу, упершись подбородком ей в живот, и говорил ей, и обещал ей все на свете, и потел. Она была большой сексапильной брюнеткой – как сказал Гарсиа, «что-то прямо из Дега» – и, в общем, походила на прелестную парижскую кокетку. В течение каких-то дней они уже торговались по междугородному телефону с Камиллой в Сан-Франциско из-за каких-то бумаг, необходимых для развода, – с тем, чтобы они могли пожениться. Мало того, несколько месяцев спустя, Камилла родила второго ребенка Дина – результат их взаимопонимания нескольких ночей в начале года. Еще несколько месяцев – и Инез тоже родила. Вместе с

одним внебрачным ребенком где-то на западе, теперь у Дина всего было четверо малышей и ни гроша в кармане, а сам он, как водится, был весь хлопоты, экстаз и скорость. Поэтому в Италию мы так и не поехали.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я получил кое-какие деньги от продажи своей книги. Выплатил всю теткин ренту за квартиру до конца года. Всякий раз, когда в Нью-Йорк приходит весна, я не могу устоять против намеков земли, которые доносит ветром из-за реки, из Нью-Джерси, и мне надо ехать. Вот я и поехал. Впервые в нашей жизни я попрощался с Дином в Нью-Йорке и оставил его там. Он работал на стоянке на углу Мэдисон и 40-й. Как всегда, носился в своих растоптанных ботинках, майке и болтающихся на животе штанах – сам по себе, разгребал невероятные дневные наезды автомобилей.

Когда я обычно в сумерках приходил навестить его, делать там было нечего. Он стоял в будке, подсчитывал билетки и потирал себе живот. Радио там никогда не выключалось. – Чувак, ты врубался хоть раз в этого безумного Марти Гликмана, который комментирует баскетбол? – на-середины-площадки-отскок-обманный-финт-бросок, ш-ш-ш-шух, два очка. Абсолютно величайший комментатор из всех, кого я слышал. – Дин был низведен до таких вот простых удовольствий. Они с Инез жили в квартирке без удобств где-то в Восточных 80-х Улицах. Когда он по вечерам возвращался домой, то снимал с себя все, надевал китайскую шелковую куртку до бедра и садился в кресло покурить кальян, заряженный травой. Таковы были его домашние радости – да еще колода неприличных карт. – В последнее время я сосредоточился вот на этой двойке бубен. Ты заметил, где у нее вторая рука? Спорим, никогда не догадаешься. Посмотри подольше и постарайся разглядеть. – Он попытался всучить мне эту двойку бубен, на которой высокий унылый мужик и похотливая убогая шлюха на кровати примерялись к какой-то позиции. – Давай, чувак, я пользовался ею много раз! – Инез в кухне что-то готовила и выглядывала оттуда с косой улыбкой. С нею все было в порядке. – Врубаешься? Врубаешься в нее, чувак? Вот тебе Инез. Видишь, вот все, что она делает – лишь сует в дверь голову и улыбается. О, я поговорил с нею, и мы все выяснили самым расчудесным образом. Мы этим летом поедем и будем жить на ферме в Пенсильвании – у меня будет фургон ездить обратно в Нью-Йорк оттянуться, хороший большой дом, и в следующие несколько лет – куча детишек. Эхем! Гаррумф! Эхыд! – Дин выпрыгнул из кресла и завел пластинку Вилли Джексона «Хвоот крокодила». Он стоял перед вертушкой, сцепив ладони, раскачиваясь и отбивая коленями ритм. – Х-х-ху! Вот сукин сын! Когда я в первый раз его услышал, то думал, он помрет на следующую ночь, а он до сих пор жив.

Точно то же самое он делал с Камиллой во Фриско на другом краю континента. Тот же самый ободранный чемодан высовывался из-под кровати, готовый лететь. Инез то и дело названивала Камилле и подолгу беседовала с нею по телефону; они даже обсуждали его член, или это Дин просто трепался. Они обменивались письмами о причудах Дина. Конечно, каждый месяц ему приходилось отсылать Камилле часть своего заработка, или он на полгода загремел бы в рабочий дом. Чтобы компенсировать такие траты, он финтил на стоянке – артист высшего порядка по части сдачи. Я видел, как он настолько многословно желал зажиточному горожанину счастливого Рождества, что про пятерку сдачи с двадцатки тот даже и не вспомнил. Мы пошли и истратили ее в «Бёрдлэнде» – боповой точке. На сцене был Лестер Янг, и на его громадных веках – вечность.

Как-то ночью мы проговорили с ним на углу 47-й улицы и Мэдисон до трех часов утра.

– Ну, Сал, ч-черт, я не хочу, чтобы ты уезжал, я действительно не хочу, это у меня будет первый раз в Нью-Йорке без моего старинного кореша. – И еще он сказал: – Нью-Йорк, я только останавливаюсь в нем, Фриско – вот мой родной город. Все то время, что я пробыл здесь, у меня не было ни одной девчонки, кроме Инез – так со мною бывает только в Нью-Йорке! Черт! Но одна лишь только мысль о том, чтобы снова ехать через этот ужасный континент... Сал, а мы уже давно не говорили с тобой о том, чтобы пересечь континент. – В Нью-Йорке мы постоянно неистово прыгали по пьянкам с толпами друзей. Дину, казалось, это не очень подходило. Он гораздо больше бывал сам собой, когда ёжился в холодной туманной мороси ночью на Мэдисон-Авеню. – Инез меня любит: она сама мне так сказала и пообещала, что я могу делать все, что захочу, а хлопот от нее никаких не будет. Видишь, чувак: годы летят, а хлопот все больше. Настанет день, и мы с тобой пойдем вместе по переулку и будем заглядывать в урны.

– В смысле – мы под конец станем бичами?

– А почему бы и нет, чувак? Конечно, станем, если захотим, и все такое. Что плохого в таком конце? Всю жизнь живешь, не вмешиваясь в желания остальных, включая политиков и богачей, никто тебя не достает, а ты хилишь себе дальше и поступаешь, как тебе заблагорассудится. – Я согласился с ним. Он приходил к своим решениям Дао по-простому и напрямик. – Что у тебя за дорога, чувак? – дорога святого, дорога безумца, дорога радуги, дорога рыбки в аквариуме, она может быть любой. Это дорога куда угодно для кого угодно как угодно. Куда кого как? – Мы кивали друг другу под дождем. – Ч-чео-орт, надо ведь поглядывать по сторонам по части мальчика-то. Он не мужчина, коли не прыгает – поэтому уж что доктор скажет. Говорю тебе, Сал, как есть говорю: где бы я ни жил, мой чемодан всегда высовывается из-под кровати, я готов к тому, чтобы свалить самому, или же меня выкинут. Я решил отстегнуться от этого всего. Ты сам видел, как я старался и жопу рвал, чтобы все получилось, и ты сам знаешь, что разницы никакой нет, а мы познали время – как замедлять его, и как ходить и врубаться, и просто, по-старинке, не по-модному оттягиваться, а какой же еще оттяг бывает? Мы-то знаем. – Мы с ним вздыхали под дождем. Дождь падал той ночью по всей долине Гудзона. Великие мировые пирсы реки, широкой, как море, были мокры от него, причалы старых пароходов в Покипси были мокры от него, старое озеро Сплит-Рок-Понд в верховьях было мокро от него. Гора Вандервакер была мокра от него.

– Поэтому, – сказал Дин, – я хилию по жизни так, как она ведет меня. Знаешь, я недавно написал своему старику в тюрьму, в Сиэтл – на днях получил от него первое письмо за все эти годы.

– Да ну?

– Да-а, да-а. Он сказал, что хочет увидеть «бэбби» – так и написано, с двумя «б», – когда доберется до Фриско. Я нашел квадрат без удобств на Восточных Сороковых, всего за тринадцать в месяц; если смогу выслать ему денег, он приедет и будет жить в Нью-Йорке... если доберется. Я никогда тебе много не рассказывал о своей сестре – у меня ведь есть еще милая маленькая сестренка; мне бы хотелось, чтоб она тоже приехала и пожила со мной.

– А где она?

– Вот в том-то и дело, что не знаю... он, правда, собирается поискать ее, но ты же знаешь, что он на самом деле сделает.

– Значит, он поехал в Сиэттл?

– И угодил прямиком в грязную тюрьму.

– А где он был?

– В Техасе, в Техасе... вот видишь, чувак, моя душа, состояние вещей, мое положение... ты заметил, что я малость поутих?

– Да, это правда. – Дин в Нью-Йорке стал тише. Ему хотелось выговориться. Под холодным дождем мы замерзли до полусмерти. Мы договорились встретиться на квартире у моей тетки до того, как я уеду.

Он приехал днем в следующее воскресенье. У меня был телевизионный приемник. Одна игра шла у нас по телевизору, другая – по радио, мы постоянно переключались на третью и следили за всем, что там происходит каждую минуту.

– Запомни, Сал, Ходжес – на втором в Бруклине, поэтому пока к «Филликам» подходит запасной подающий, мы переключимся на «Гигантов» – Бостон, и в то же время заметь, что у ДиМаджио там счет в три мяча, а подающий балуется с резиновым мешком, поэтому мы скоренько посмотрим, что случилось с Бобби Томсоном, когда мы бросили его тридцать секунд назад с чуваком на третьем. Да!

Позже днем мы вышли на улицу и поиграли в бейсбол с пацанами на закопченной площадке рядом с лонг-айлендским депо. Еще мы поиграли в баскетбол – да так неистово, что мальчишки помладше сказали:

– Эй, потише, вы что – убиться хотите? – Они подпрыгивали повсюду вокруг и разгромили нас играючи. Мы с Дином взопрели. Один раз Дин упал и проехал носом прямо по бетону. Мы фукали и пыхтели, пытаюсь отнять у мальчишек мяч: те финтили и увлакивали его от нас. Другие стремительно вклинивались и легко закладывали его у нас над головой. Мы прыгали к корзине, как полоумные, а молодые мальчишки просто вытягивались и выхватывали мяч из наших потных рук, и дриблингом уводили его прочь. Как если бы гениальный чернопузый тенор Безумец боевой музыки американских трущоб попытался сыграть в баскет против Стэна Гетца и Четкого Чарли. Они думали, что мы чокнулись. Потом мы пошли домой, перебрасываясь мячом с тротуаров по обе стороны улицы. Мы пробовали сверхспециальные броски, ныряя по кустам и едва уворачиваясь от столбов. Когда мимо проезжала машина, я побежал рядом и кинул Дину мяч сразу из-за движущегося бампера. Он ринулся вперед, перехватил его и покатился по траве, швырнув его мне обратно, за стоявший хлебный фургон. Я еле успел поймать мяч бросковой рукой и запустил им обратно так, что Дину пришлось крутнуться, попятиться и повалиться спиной на забор. Дома Дин достал бумажник, похмыкал и вручил моей тетке пятнадцать долларов, которые задолжал ей с той поры, когда нас оштрафовали в Вашингтоне за превышение скорости. Тетка была совершенно изумлена и довольна. Мы закатали большой ужин.

– Ну, Дин, – сказала моя тетушка, – я надеюсь, ты сможешь хорошенько позаботиться о своем будущем маленьком и на этот раз останешься женатым человеком.

– Да, да-а, да.

– Ведь нельзя же вот так разъезжать по стране и делать детей. Бедняжки вырастут совершенно беспомощными. Ты должен предоставить им возможность жить. – Дин смотрел себе под ноги и кивал. В кроваво-красных сумерках мы попрощались на мосту через сверхскоростную автостраду.

– Надеюсь, ты еще будешь в Нью-Йорке, когда я вернусь, – сказал я ему. – Единственная моя надежда, Дин, – это что однажды мы с тобой сможем жить на одной улице вместе с нашими семьями и вместе превратимся в пару старперов.

– Это правильно, чувак: ты же знаешь, что я молюсь об этом, совершенно осознавая все горести, что у нас были, и все горести, что у нас будут, как это знает твоя тетка и напоминает об этом мне. Я не хотел нового ребенка, Инез настояла, и мы поссорились. Ты знал, что Мэрилу во Фриско вышла за автомобильного старьевщика, и что у нее будет ребенок?

– Да. Мы все туда забираемся. – Рябь на перевернутом вверх тормашками озере пустоты – вот что мне следовало бы сказать. Донышко мира – из золота, а сам мир перевернут. Он вытащил фото Камиллы во Фриско с девочкой-малышкой. Ребенка на солнечной мостовой пересекала тень мужчины – две длинные брючины в печали. – Кто это?

– Это всего-навсего Эд Данкель. Он вернулся к Галатее, и они уехали в Денвер. А там весь день фотографировались.

Эд Данкель... его сострадание прошло незамеченным, как сострадание святых. Дин вытащил другие снимки. Я понял, что это такие фотокарточки, которые наши дети однажды станут рассматривать с удивлением, считая, что их родители прожили гладкие, упорядоченные, хорошо сбалансированные – в рамках картинки – жизни, что они вставляли по утрам, чтобы гордо пройти по жизненным мостовым, – и никак не представляя себе драное безумие и буйство наших подлинных жизней, нашей подлинной ночи, ее преисподней – бессмысленной, кошмарной дороги. Всю ее внутри бесконечной и безначальной пустоты. Жалкие формы невежества.

– До свиданья, до свиданья. – Дин зашагал прочь в долгих красных сумерках. Локомотивы дымили, и колеса кружились над ним. За ним тянулась его тень, передразнивала его походку, его мысли и само его существо. Он обернулся и стеснительно, смущенно помахал. Потом, как заправский железнодорожник, дал мне сигнал «путь свободен», подпрыгнул и что-то завопил – я не уловил, что. Побегал по кругу. Все время он приближался и приближался к бетонному углу опоры железнодорожного переезда. Вот он выдал последний сигнал. Я помахал ему в ответ. Он вдруг склонился перед своей жизнью и быстро скрылся из виду. Я пялился в унылость собственных дней. Мне тоже нужно было пройти ужасно долгий путь.

2

Следующей полночью, распевая такую вот маленькую песенку:

*Дом есть в Миссуле,
Дом есть в Траки,
Дом есть в Опелузах —
Но я не буду там.
Дом есть и в Медоре,
Дом есть в Вундед-Ни,
Дом есть в Огаллале,
Лишь я бездомный сам, —*

[22]

В автобусе со мной ехал Генри Гласс. Он сел в Терр-От, Индиана, и теперь говорил мне: – Я уже сказал тебе, почему ненавижу костюм, который сейчас на мне, он паршивый – но это еще не всё. – Он показал мне документы. Его только что выпустили из федеральной колонии; срок ему пришили за угон и перепродажу автомобилей в Цинциннати. Молодой кучерявый пацан лет двадцати. – Как только доеду до Денвера, моментом сдам эту дрянь в ломбард и достану себе джинсы. Ты знаешь, что они со мной сделали в этой тюрьме? Карцер в компании с Библией; я подкладывал ее, чтобы сидеть на каменном полу; когда они это засекли, то забрали ее и выдали ма-а-хонькую, карманного размера, во какую. На нее уж никак не сядешь, поэтому я прочел всю Библию и весь Завет. Хей-хей... – Он ткнул меня в бок, жуя конфетку, он постоянно ел конфеты, потому что в колонии ему угробили желудок, и тот больше ничего не принимал. – ...а знаешь, в этой самой Би-бли-и есть кой-чего действительно горяченькое. – Он рассказал мне, что означает «высказываться»: – Тот, кто скоро кидается и начинает много болтать о дне своего освобождения, тот «высказывается» остальным зэкам, кому еще сидеть. Мы тогда берем его за жабры и говорим: «Ты мне не высказывайся!» Это плохо – высказываться, слышишь меня? – Я не буду высказываться, Генри. – Пусть кто мне попробует высказаться – мне моча в голову стучает, и я могу убить даже. Знаешь, почему я всю жизнь в тюрьме просидел? Потому что когда мне было тринадцать, я вышел из себя. Пошли мы с одним пацаном в кино, а он чего-то сострил про мою мать – ну, знаешь этот гнилой базар – а я вытащил свой складной нож и по шее ему, вообще убил бы, если б меня не оттащили. Судья говорит: «Вы знали, что делали, когда нападали на своего друга?» «Да, сэр, Вашчество, знал – я хотел прикончить эту падлу и до сих пор хочу.» Поэтому условно срок мне не дали, и я пошел прямиком в исправительную колонию. Потом мне еще накрутили за сидение в карцере. Никогда не попадай в федеральную колонию – хуже нет ничего. Вот черт, я бы всю ночь говорил, так давно ни с кем не разговаривал. Ты просто не представляешь, как хорошо выходить оттуда. Вот ты сидел в этом автобусе, когда я сюда влез, ехал через Терр-От – о чем ты думал? – Просто сидел и ехал. – А вот я – я пел. Я и к тебе сел, потому что боялся, что если сяду к какой-нибудь девчонке, то сойду с ума и сразу полезу к ней под платье. Надо немного обождать.

– Еще один срок – и тебе дадут пожизненное. Ты бы сейчас полегче, а?

– Вот-вот, я как раз так и собираюсь, беда только, что мне моча в голову бьет, и я тогда сам не знаю, что делаю.

Он собирался жить сое своим братом и его женой: у них для него в Колорадо была работа. Билет ему купили за казенный счет, он ехал туда на химию. Вот сидит молодой пацан, как и Дин: его кровь кипит чересчур сильно; ему моча бьет в голову; но в нем нет той прирожденной странной святости, которая могла бы спасти его от железной судьбы.

– Будь другом, Сал, последи, чтобы в Денвере мне моча в голову не стукнула, а? Может, я до брата нормально доберусь.

Когда мы приехали в Денвер, я за руку отвел его на Латимер-стрит заложить его тюремный костюм. Старый еврей немедленно унюхал, в чем дело, не успели мы и наполовину его развернуть.

– Не хочу я здесь вашего проклятого тряпья: мне его и так парни с Каньон-Сити каждый день таскают.

Вся Латимер-стрит так я кишела кинувшимися зэками, которые пытались сплавить свои казенные шмотки. Генри закончил это дело с костюмом в бумажном пакете подмышкой – он уже щеголял в новеньких джинсах и спортивной рубашке. Мы пошли в старый бар Дина, «Гленарм» – по пути Генри швырнул костюм в урну – и позвонили Тиму Грэю. Был уже вечер.

– Ты? – хмыкнул Тим Грэй. – Сейчас буду.

Через десять минут он вприпрыжку примчался в бар вместе со Стэном Шепардом. Они оба съездили во Францию а были невероятно разочарованы своим существованием в Денвере. Они полюбили Генри и купили ему пива. Тот начал сорить своими тюремными деньгами направо и налево. Я снова оказался в мягкой, темной денверской ночи с ее святыми проулками и чокнутыми домами. Мы дернули по всем барам в городе, по придорожным кабакам на Западном Колфаксе, по негритянским барам «Пять Точек», по всей фигне. Стэн Шепард ждал встречи со мною много лет, и вот теперь мы впервые замерли с ним в преддверии нового предприятия.

– Сал, с тех самых пор, как я вернулся из Франции, я не имею ни малешего понятия, что мне делать с собой. Это правда, что ты едешь в Мексику? Ч-ерт возьми, а можно мне с тобой? Я могу достать сотню, а когда мы туда приедем, я подпишусь на солдатский чек в Городском Колледже Мехико.

Ладно, замetano, Стэн едет со мной. Он был длинноногим, стеснительным, гривастым денверским мальчишкой с широкой жуликоватой ухмылкой и медленными беззаботными повадками Гэри Купера.

– Ч-ерт возьми! – сказал он, воткнул большие пальцы себе за ремень и неторопливо двинулся вниз по улице, покачиваясь из стороны в сторону – но тоже медленно. Они подрались с дедом. Тот сперва возражал против Франции, а теперь возражал против мысли поехать в Мексику. Стэн, как бродяга, валандался по всему Денверу из-за этой своей драки с дедом. В ту ночь, после того, как мы свое выпили и удержали Генри в «Хот-Шоппе» на Колфаксе от того, чтобы ему моча в голову ударила, Стэн улегся спать на полу в комнате Генри над «Гленармом».

– Я даже домой поздно не могу прийти – дед лезет в драку, а потом переключается на мать. Говорю тебе, Сал, мне надо сматываться из Денвера побыстрее, а не то я сойду с ума. Ну а я остался у Тима Грэя, а потом, попозже, Бэйб Роулинс пустила меня в чистенькую комнатку у себя в цоколе, и мы все запали там, устраивая вечеринки всю неделю подряд. Генри испарился к своему брательнику, и мы его больше не видели – и так никогда и не узнали, высказался ли ему кто-нибудь с тех пор, и упрятали ли его снова за решетку, или у него обмотки горят на свободе.

Тим Грэй, Стэн, Бэйб и я провели всю неделю в милых денверских барах, где официантки носят брючки и рассекают, стыдливо и любовно поглядывая на тебя, – не заскорузлые официантки, а те, что влюбляются в своих клиентов: у них взрывные романы, они пыхтят, надрываются и страдают из одного бара в другой; а ночи на этой неделе мы проводили в «Пяти Точках» – слушали джаз, киряли в сумасшедших негритянских салунах и трепались до пяти утра у меня в подвале. В полдень нас обычно можно было найти у Бэйб на заднем дворе – мы возлежали посреди денверских мальцов, которые играли в ковбоев и индейцев и грохались прямо на нас с цветущих вишен. Мне было чудесно: весь мир раскрывался передо мною, поскольку я не видел никаких снов. Мы со Стэном задумали уломать Тима Грэя ехать с нами, но Тим слишком залип на своей жизни в Денвере.

Я уже собирался было ехать в Мексику, когда однажды вечером мне позвонил Денвер Долл и сказал:

– Ну-ка, Сал, догадайся, кто сейчас едет в Денвер? – Я не имел понятия. – Он уже в пути, мне моя сорока на хвосте принесла. Дин купил машину и едет к тебе. – Я вдруг увидел перед собою Дина – пылающего, содрогающегося, пугающего Ангела, пульсирующего ко мне через всю громадную даль дороги, надвигающегося, как туча, с громадной скоростью, преследующего меня, как Странник В Саване на равнине, обрушивающегося на меня. Над просторами я видел гитантское лицо с его безумной костлявой целеустремленностью и сверкающими глазами; я видел его крылья; я видел его допотопный драндулет – колесницу с прыгающими по ней тысячами огоньков-искорок; я видел след, который она выжигала на дороге: она торила и свой собственный путь – по кукурузе, сквозь города, разрушая мосты, испаряя реки. Она надвигалась на Запад гневом Господним. Я знал, что Дин снова обезумел. Никак уже не послать было денег никакой из его жен, если он забрал из банка все свои сбережения и купил машину. Все пропало – и игра проиграна, и все дела. За ним дымились опаленные руины. Он снова рвался на Запад по кряхтящему и жуткому континенту и теперь уже скоро приедет. Мы спешно приготовились встретить Дина. Говорили, что он повезет меня в Мексику.

– Как ты думаешь, он разрешит и мне поехать? – трепеща, спрашивал Стэн.

– Я с ним поговорю, – сурово отвечал я. Мы не знали, чего вообще ожидать.

– Где он будет спать? Что он будет есть? Есть ли для него девчонки? – Это походило на неминуемый приезд Гаргантюа: надо было подготовиться – расширить сточные канавы Денвера и упразднить некоторые законы, чтобы соответствовать его страждущему туловищу и рвущимся наружу экстазам.

Дин приехал, как в старомодном кино. Золотым полднем я сидел дома у Бэйб. Пару слов про дом. Мать ее была в Европе. Надзирательницу-тетку звали Черити; ей было семьдесят пять, живая и проворная, как цыпленок. В семействе Роулинсов, которое расселилось по всему Западу, она постоянно курсировала от одного дома к другому, повсюду принося общую пользу. Когда-то у нее были десятки сыновей. Теперь их уже не осталось: все они ее бросили. Она была стара, но живо интересовалась всем, что мы делали и говорили. Она сокрушенно качала головой, когда мы залпом глотали виски в гостиной:

– За этим вы могли бы выйти и на задний двор, молодой человек. – Наверху – а этим летом дом стал чем-то вроде пансиона – жил парень во имени Том, безнадежно влюбленный в Бэйб. Он приехал из Вермонта, говорили, из богатой семьи, и там его ждала карьера и все такое, но он предпочел быть там, где Бэйб. По вечерам он сидел в гостиной, и лицо его пылало за газетой, и всякий раз, когда кто-нибудь из нас что-нибудь говорил, он слышал, но виду не подавал. Особенно он краснел, когда рот открывала Бэйб. Когда мы все-таки вынуждали его опустить газету, он смотрел на нас с несметной скукой и страданием:

– Э? О да, я полагаю. – Больше обычно он ничего не говорил.

Черити сидела у себя в углу, вязала и наблюдала за всеми нами своими птичьими глазками. Ее работа состояла в том, чтобы надзирать, она должна была следить, чтобы никто не матерился. Бэйб сидела, хихикая, на кушетке. Тим Грэй, Стэн Шепард и я развалились в креслах. Бедняга Том мучился. Вот он встал, зевнул и сказал:

– Ну что же, еще день – еще доллар, спокойной ночи. – И скрылся наверху. Как любовник он был Бэйб совершенно без надобности. Она была влюблена в Тима Грэя; тот, извиваясь угрем, выскальзывал из ее хватки. Вот так вот мы и сидели весь день до ужина, когда перед домом на своей колыхаге затормозил Дин и выскочил наружу в твидовом костюме, жилетке и при часовой цепочке.

– Хоп! хоп! – услышал я с улицы. С ним вместе был Рой Джонсон, который только что вернулся из Фриско со своей женой Дороти и опять жил в Денвере. Как и Данкель с Галатеей, как и Том Снарк. Все снова были в Денвере. Я вышел на крыльцо.

– Н-ну, мой мальчик, – произнес Дин, протягивая руку, – я вижу, на этом конце палки все в порядке. Привет привет привет, – сказал он всем. – О, да, Тим Грэй, Стэн Шепард, здрасьте! – Мы представили его Черити. – О да-а, здрась-сте. Это мой друг Рой Джонсон, он был так добр, что сопровождал меня, гаррумф! эгад! ках! ках! Майор Хупл, сэр, – протянул он руку Тому, который тихо пялился на него. – Да-а, да-а. Ну, Сал, старина, что тут слышн, когда мы отчаливаем в Мексику? Завтра днем? Прекрасно, прекрасно. Эхем! А теперь, Сал, мне осталось ровно шестнадцать минут, чтобы доехать до дома Эда Данкеля, где я собираюсь занять обратно свои старые железнодорожные часы, которые можно заложить на Латимер-стрит, пока там ничего не закрылось, а тем временем надо жужжать очень быстро и как можно тщательнее, насколько позволит время, посмотреть, нет ли случайно моего старика в «Буфете Джиггса» или в каком-нибудь другом баре, а затем у меня назначено с парикмахером, которому, Долл всегда говорил мне, надо покровительствовать, а сам я за все эти годы нисколько не изменился и продолжаю такую политику – ках! ках! В шесть часов ровно! – ровно, слышишь? – я хочу, чтобы ты стоял прямо вот здесь, а я

прилечу забрать тебя и быстренько заехать домой к Рою Джонсону, послушаем Гиллеспи и всякий-разный боп, часок расслабимся перед какими бы то ни было дальнейшими мероприятиями, которые ты, и Тим, и Стэн, и Бэйб могли запланировать сегодня на вечер вне зависимости от моего приезда, каковой, по случаю, произошел ровно сорок пять минут назад в моем старом тридцать седьмом «форде», который, как видишь, стоит вон там, я пригнал сюда вместе с долгой паузой в Канзас-Сити, куда заехал повидать двоюродного брата – не Сэма Брэди, а того, что помоложе... – И говоря все это, он деловито перелатывался из костюма обратно в майку в алькове гостиной, где его не было видно, и перекладывал часы в другие штаны, которые достал из того же самого побитого чемодана.

– А Инез? – спросил я. – Что произошло в Нью-Йорке?

– Официально, Сал, эта поездка – получить мексиканский развод, что дешевле и быстрее, чем какой-либо другой. У меня, наконец, есть согласие Камиллы, все четко, все прекрасно, все мило, и мы знаем, что мы теперь ни о чем абсолютно не беспокоимся, разве не так, Сал?

Ну ладно, я всегда готов идти за Дином, поэтому мы перетусовались согласно новым планам и организовали грандиозную ночь – то было незабываемо. Пьянка проходила в доме брата Эда Данкеля. Двое других его братьев – шоферы автобуса. Они сидели, с почтением взирая на все, что происходит. Стол накрыли очень миленько – торт и напитки. Эд Данкель выглядел счастливым и преуспевающим.

– Ну, а у тебя с Галатеей теперь все улажено?

– Да, сэр, – ответил Эд. – Конечно, всё. Я собираюсь поступать в денверский увивер – мы с Роем вместе.

– И чем вы собираетесь заниматься?

– О, социологией, ну и вот в этой области, короче. Слушай, а Дин с каждым годом все больше с ума сходит, верно?

– Еще как.

Галатее Данкель тоже там была. Она пыталась с кем-то поговорить, но Дин захватил всеобщее внимание. Он стоял и актерствовал передо мной, Шепардом, Тимом и Бэйб – мы рядом сидели на кухонных табуретках вдоль стенки. За ним нервно возвышался Эд Данкель. Его бедного брата оттеснили куда-то назад.

– Хоп! хоп! – говорил Дин, дергая себя за рубашку, потирая живот и подпрыгивая. – Ага, ну это... мы сейчас все вместе, а годы соответственно укатились назад, но вы же видите: никто из нас, на самом деле, не изменился, вот что так изумительно – это дол-го-... долго-времен-ность... а в действительности, чтобы доказать это, у меня тут есть колода карт, с помощью которой я могу предсказывать разнообразное будущее. – То была его неприличная колода. Дороти Джонсон и Рэй чопорно сидели в углу. Это была скорбная вечеринка. Затем Дин вдруг затих, сел на табуретку между Стэном и мной и уставился прямо перед собой с окаменевшим выражением собачьего удивления на лице, и не обращал ни на кого внимания. Он просто на какое-то мгновение исчез, чтобы скопить побольше энергии. Если бы его тронули, он закачался бы, как валун, уравновешенный на одном-единственном камушке на краю утеса. Он мог рухнуть вниз, он мог просто качаться себе дальше. Потом валун взорвался и весь расцвел, его лицо осветилось милейшей

улыбкой, он огляделся, будто только что проснулся, и сказал:

– Ах, взгляните только на этих славных людей, что сидят здесь со мною. Ну не клево ли? Сал, слушай, я как-то сказал Мину, слушай... эрг, ах, да! – Он встал и прошелся по комнате, протянул руку одному из водителей автобуса, что были в компании: – Здрасьте. Меня зовут Дин Мориарти. Да, я хорошо вас помню. У вас все в порядке? Ну-ну. Посмотрите, что за милый тортик. О, можно мне немного? Всего лишь мне? Несчастному мне? – Сестра Эда сказала, что да. – О, как чудесно. Люди так милы. Торты и прелестные вещицы, выложенные на стол – и всё ради чудесных маленьких радостей и восторгов. Хмм, ах, да, отлично, великолепно, харрумф, эгад! – И остановился, покачиваясь, посреди комнаты с куском торта в руке, благоговейно всех рассматривая. Потом оглянулся и посмотрел, что у него за спиной. Всё изумляло его – всё, что он видел. По всей комнате люди беседовали небольшими группками, и он произнес: – Да! Правильно! – При виде картины на стене он застыл, весь внимание. Потом подошел и взгляделся в нее, отступил, сгорбился, подпрыгнул, он хотел рассмотреть ее со всех возможных уровней и углов, он дернул себя за майку, воскликнув: – Вот дьявол! – Он не представлял себе, что за впечатление производит, ему это было глубоко безразлично. Люди теперь начали смотреть на Дина с материнской и отцовской симпатией – она проступала у них на лицах. Наконец, он стал Ангелом, каким, я всегда знал, он и станет; но, как и всякий Ангел, он до сих пор еще иногда ярился и неистовствовал, и в ту ночь, когда мы все ушли с вечеринки и направились в бар «Виндзора» одной большой громкой кодлой, Дин неистово, демонически, серафически надрался.

А вы помните, что «Виндзор», некогда великий денверский отель времен Золотой Лихорадки и во многих отношениях заслуживающее внимания место – в большом нижнем салуне там до сих пор в стенах дырки от пуль – был когда-то Дину родным домом. Он жил здесь со своим отцом в одной из комнат наверху. И теперь он не был праздным туристом. Он пил в этом салуне, как призрак своего отца; он глотал вино, пиво и виски как воду. Его лицо побагровело и покрылось крупными каплями пота, он ревел и визжал у стойки бара, и шатался по танцевальному пятачку, где шныранты Запада отплясывали со своими девицами, и пытался играть на пианино, и лез обниматься к бывшим уголовникам, и кричал вместе с ними в общем бедламе. А в нашей компании все тем временем сгрудились вокруг двух огромных столов. Здесь были Денвер Д.Долл, Дороти и Рой Джонсоны, девушка из Буффало, Вайоминг, – подруга Дороти, Стэн, Тим Грэй, Бэйб, я, Эд Данкель и кто-то еще, всего тринадцать человек. Доллу было клево: он взял машинку, выдававшую орешки, поставил на стол перед собой, одну за другой совал туда монетки и жевал ядрышки. Он предложил нам всем написать что-нибудь на открытке за пенни и отправить ее Карло Марксу в Нью-Йорк. Мы писали всякие безумства. Скрипка просто гремела в ночи на Латимер-стрит.

– Ну не клево ли? – вопил Долл. В мужской комнате мы с Дином ломились в дверь и даже пытались вынести ее вообще, но она была в дюйм толщиной. У меня в среднем пальце треснула косточка, но я этого даже не понял аж до следующего дня. Мы ужрались вусмерть. Однажды на наших столах зараз стояло пятьдесят стаканов пива. Можно было просто подбегать и отхлебывать из любого. Зэки из Каньон-Сити отирались вокруг и трепались с

нами вместе. В вестибюле за дверью салуна сидели старики – бывшие старатели – и грезили, опершись на свои палки под тиканье старых часов. Такая ярость была им ведома в более славные дни. Всё кружилось. Везде случались какие-то разметанные попойки.

Попойка была даже в замке, куда мы поехали – кроме Дина, который куда-то сбежал, – и в этом замке все сидели за огромным столом и орали. Снаружи там был бассейн и гроты. Я, наконец, нашел тот замок, где должен был восстать великий змей мира.

Потом, поздно ночью, в одной машине оказались лишь Дин, я, Стэн Шепард, Тим Грэй, Эд Данкель и Томми Снарк, а остальные нас обогнали. Мы ехали в Мексиканскую Слободку, мы ехали в «Пять Точек», мы кружили по городу. Стэн Шепард был вне себя от радости. Он не переставал вопить:

– Сук-кин кот! Чер-рт подер-ри! – своим высоким визгливым голосом и шлепал себя по коленям. Дин просто с ума от него сходил. Он повторял все, что бы тот ни сказал, фыркал и стирал со лба пот:

– Ну, мы и оттянемся, Сал, по пути в Мексику вместе с этим кошаком Стэном! Да! – То была наша последняя ночь в святом Денвере, мы сделали ее большой и дикой. Все окончилось вином в подвале при свечах, а Черити кралась по верхнему этажу в ночнушке и с фонариком. С нами теперь был цветной парень, который называл себя Гомесом. Он плавал по «Пяти Точкам» и плевал на все. Когда мы его увидели, Томми Снарк крикнул:

– Эй, тебя не Джонни зовут?

А Гомес лишь попятился, потом прошел мимо нас снова и переспросил:

– Не повторите ли вы, что вы только что сказали?

– Я сказал: это не ты тот парень, которого зовут Джонни?

Гомес отплыл назад и сделал еще одну попытку:

– А может, вот так на него чуть больше похоже? Я ведь стараюсь изо всех сил быть Джонни, но просто не могу найти пути.

– Ну, чув-вак, давай с нами! – закричал Дин, и Гомес прыгнул к нам, и мы отчалили. Мы неистово шептались в подвале, чтобы не доставлять беспокойства соседям. В девять утра все ушли, кроме Дина и Шепарда, которые все еще тараторили, как полоумные. Люди уже вставали готовить завтрак и тут слышали странные подземные голоса, повторявшие:

– Да! Да! – Бэйб сделала большой завтрак. Приближалось время отваливать в Мексику.

Дин пригнал машину на ближайшую автозаправку, и ему все сделали в лучшем виде. У него был «форд-37», правая дверца без петель, просто привязана к раме. Правое переднее сиденье тоже раскурочено, и сидеть на нем можно было только лицом к ободранному потолку.

– Совсем как Мин с Биллом, – сказал Дин. – Мы дочихаем и доскачем до Мексики; у нас это займет много-много дней. – Я посмотрел на карту: больше тысячи миль – главным образом, по Техасу до границы в Ларедо, а затем еще 767 миль через всю Мексику до великого города у треснувшего Истмуса и Оахаканских Высот. Я не мог себе представить этой поездки. Она была самой сказочной из всех. Это уже было не просто восток-запад, но волшебный юг. Мы мысленно видели, как все Западное Полушарие ребрами скал нисходит к самому Тьерра-дель-Фуэго, и мы такие летим по кривой мира в иные тропики и иные миры.

– Чувак, вот что приведет нас, наконец, к ЭТОМУ! – сказал Дин с окончательной верой в голосе. Он похлопал меня по руке. – Вот погоди, и увидишь сам. Хуу! Уии!

Я пошел с Шепардом заканчивать последние из его денверских дел и встретился с его бедным дедом, котормй стоял в дверях дома, повторяя:

– Стэн... Стэн... Стэн...

– Что такое, дедушка?

– Не езд.

– Ох, да все уже решен, теперь я просто должен ехать; зачем ты так делаешь? – У старика были серые волосы, крупные миндалевидные глаза и напряженная, безумная шея.

– Стэн, – сказал он просто, – не езд. Не заставляй своего старого деда плакать. Не бросай меня еще раз. – У меня сердце разрывалось при виде этого.

– Дин, – сказал старик, обращаясь ко мне, – не забирай от меня моего Стэна. Когда он был маленьким, я, бывало, водил его в парк и объяснял ему про лебедей. Потом в том же самом пруду утонула его маленькая сестренка. Я не хочу, чтобы ты забирал моего мальчика.

– Нет, – ответил Стэн, – мы уже уезжаем. До свиданья. – Внутри его всего просто раздирало. Дед схватил его за руку:

– Стэн, Стэн, Стэн, не езд, не езд, не езд.

Мы бежали оттуда, склонив головы, а старик по-прежнему стоял в дверях своего домика на боковой улочке Денвера, и штора из бус болталась в проеме, и в гостиной стояла набивная мебель. Он побелел, как полотно. Он все еще звал Стэна. Двигался он, будто парализованный, и он никуда не уходил с порога, а лишь стоял и бормотал «Стэн» и «Не езд», да тревожно смотрел нам вслед, пока мы сворачивали за угол.

– Господи, Шеп, я не знаю, что и сказать.

– Не обращай внимания, – простонал Стэн. – Он всегда такой был.

В банке мы встретили мать Стэна, она там брала для него деньги. Милая седая женщина, до сих пор очень моложавая. Они с сыном стояли на мраморном полу банка и шептались. На Стэне был ливайсовский прикид – с курткой и всеми делами, и он выглядел точь-в-точь как человек, едущий в Мексику. Таково было его нежное существование в Денвере, а теперь он сбегал вместе с пылающим новичком Дином. Дин выскочил из-за угла и встретился с нами как раз вовремя. Миссис Шепард настояла на том, чтобы угостить нас всех кофе.

– Берегите там моего Стэна, – говорила она. – Никогда нельзя сказать, что может случиться в этой стране.

– Мы будем следить друг за другом, – ответил я. Стэн с матерью пошли вперед, а мы с чокнутым Дином чуть остали; тот рассказывал мне про надписи, вырезанные на стенах туалетов Востока я Запада:

– Они совершенно разные: на Востоке острят, похабно шутят, пишут очевидные намеки, скатологические куски информации и рисуют; на Западе просто оставляют свои имена – Рыжий О'Хара из Рыгтауна, Монтана, был здесь, дата, очень серьезно все, типа, ну, скажем, Эда Данкеля, а причина – в громаднейшем одиночестве, которое лишь на оттенок, лишь на срезанный волосок отличается, стоит только переехать Миссиссиппи. – Ну вот, перед нами был как раз такой одинокий парень, ибо мама Шепарда была очень милой мамой, ей страшно не хотелось, чтобы ее сын уезжал, но знала, что тот должен ехать. Я видел, что он

бежит своего деда. И вот нас тут было трое: Дин искал своего отца, мой умер, а Стэн сбегал от своего старика, – и все мы уезжали в ночь вместе. Он поцеловать мать в спешивших толпах на 17-й, та села в такси и помахала нам. До свиданья, до свиданья.

Мы сели в машину у Бэйб и попрощались с нею. Тим ехал с нами до своего дома за городом. Бэйб в тот день была прекрасна: длинные волосы, светлые и шведские, а на солнце выступили веснушки. Она выглядела в точности как та маленькая девочка, которой она, в сущности, и была. В ее глазах стояла дымка. Может, она с Тимом приедет к нам позже – но она не приехала. До свиданья, до свиданья.

Мы рванули. Оставили Тима у него во дворе на Равнинах за городом, и я оглянулся посмотреть, как Тим Грэй уменьшается на этой равнине. Этот странный парень стоял там полных две минуты, смотрел, как мы уезжаем, и Бог знает какие горестные мысли бродили у него в голове. Он становился все меньше и меньше, однако, стоял без движения, положив одну руку на натянутую бельевую веревку, будто капитан, а я весь перекрутился, чтобы только подольше видеть Тима Грэя, пока от него не осталось ничего, кроме возраставшего отсутствия в пространстве, а пространство открывалось на Восток, к Канзасу, который уводил все дальше назад, к моему дому в Атлантиде.

Теперь мы направили наше дребезжавшее рыдо на юг, целясь на Кастл-Рок, Колорадо, а солнце краснело, и скалы к западу выглядели как бруклинская пивоварня в ноябрьских сумерках. Высоко в их лиловых тенях кто-то все шагал, шагал, но нам было не разглядеть; может, тот старик с седыми волосами, которого я ощутил в вершинах много лет назад. Закатеканский Джек. Но он приближался ко мне. Если вообще не стоял всегда сразу за спиной. А Денвер отступал сзади – как город из соли, его дымы разламывались в воздухе и растворялись у нас на глазах.

Стоял май. И как только могут такие уютные деньки в Колорадо с его фермами, оросительными канавами и тенистыми лощинами – куда малышня бегают купаться – рожать на свет насекомых типа того, что цапнуло Стэна Шепарда? Рука его свисала по ту сторону дверцы, он ехал и счастливо молот языком, как вдруг какая-то тварь со всего маху впилась ему в руку и засадила свое длинное жало – да так, что тот взвыл. Она прилетела из этого американского денечка. Стэн дернулся, шлепнул себя по руке и извлек жало, а через несколько минут рука начала распухать и болеть. Мы с Динем не могли определить, что это такое. Нужно было лишь подождать и посмотреть, не спадет ли опухоль. Вот они мы какие – едем к неизведанным южным землям, и трех миль не отъехали от родимого городка, старого бедного городка детства, как странное. Лихорадочное, экзотическое насекомое откуда ни возьмись возникает из какой-то тайной порчи и вселяет страх в наши сердца. – Что это такое?

– Я никогда не слышал, чтобы здесь водились жуки, которые оставляют такую опухоль. – Вот черт! – Поездка от этого стала казаться зловещей и обреченной. Мы ехали дальше. Стэну становилось все хуже. Остановимся у первой же больницы и вколем ему пенициллин. Проехали Кастрл-Рок, уже в темноте подъехали к Колорадо-Спрингс. Огромная тень пика Пайк высилась справа от нас. Мы быстро катились по шоссе в Пуэблос.

– Я стопарил по этой дороге тысячи раз, – рассказывал Дин. – Как-то ночью прятался вот за этой самой проволочной изгородью, когда меня ни с того ни с сего по шугани прибило.

Мы все решили рассказывать истории своей жизни, но по очереди, и Стэну выпало первым.

– Ехать нам далеко, – сделал такое вступление Дин, – поэтому ты должен очень сильно постараться и вспомнить как можно больше деталей – но и тогда всего не расскажешь.

Легче, легче, – предостерег он Стэна, – ты при этом сам должен расслабиться. – Стэн пустился в свой рассказ, пока мы летели сквозь темень. Он начал с житья во Франции, но чтобы преодолеть громоздившиеся одно на другое пояснения, вынужден был вернуться и начать с отрочества в Денвере. Они с Динем стали припоминать те разы, когда видели друг друга пересекающимися на великах по городу.

– А вот еще раз ты забыл, я знаю, – гараж «Арапахос». Помнишь? Я кинул в тебя мяч с отскока на углу, а ты кулаком его отбил, и он укатился в канализацию. В первом классе. Теперь вспомнил? – Стэн нервничал, его лихорадило. Он хотел рассказать Дину все. Дин теперь был арбитром, стариком, судьей, слушателем, он одобрял, он кивал:

– Да, да, продолжай. – Мы проехали Вальзенберг; потом неожиданно – Тринидад, где в каком-то месте далеко от дороги, перед костром, возможно, с кучкой других антропологов сидел Чад Кинг и, как в старину, тоже рассказывал историю своей жизни, и даже присниться ему не могло, что мы проезжаем по шоссе именно в это мгновение, направляясь в Мексику и рассказывая собственные истории. О печальная Американская Ночь! Затем мы оказались в Нью-Мексико, миновали округлые скалы Ратона и остановились у закуской, голодные как волки, наелись гамбургеров и еще завернули с собой в салфетку, чтобы съесть потом у границы внизу.

– Перед нами сейчас лежит весь Техас по вертикали, Сал, – сказал Дин. – Раньше мы делали его по горизонтали – расстояние такое же. Мы будем в Техасе через несколько

минут и выедем из него лишь завтра в это же самое время, а останавливаться не будем вообще. Только подумай.

Мы поехали дальше. По другую сторону гигантской равнины ночи залег первый тexasский городок – Далхарт, который я уже проезжал в 47-м. Он лежал, поблескивая на темном полу земли в пятидесяти милях от нас. Земля в лунном свете была сплошными зарослями мескитов и пустошами. На горизонте стояла луна. Она набухала, она становилась огромной и ржавой, она таяла и катилась, пока не вмешалась утренняя звезда, и роса не начала залетать нам в окна, – а мы все мчались. После Далхарта – пустого крохотного городка – мы погнали в Амарилло и въехали туда утром, оплетенные травами-попрошайками, бурными на ветру, которые всего лишь пару лет назад волновались вокруг бизоньих палаток. Теперь же повсюду стояли бензоколонки и новые музыкальные автоматы образца 1950 года с громадными изукрашенными рылами, щелями под десять центов и жуткими песнями. Всю дорогу от Амарилло до Чилдресса мы с Динем сюжет за сюжетом вколачивали в Стэна те книги, что прочли сами, – тот нас об этом попросил, поскольку очень хотел знать. В Чилдрессе под горячим солнцем мы повернули прямо на юг по второстепенному шоссе и пронеслись по бездонным пустошам к Падуне, Гатри и Абилину, Техас. Дину теперь надо было поспать, и мы со Стэном сели вперед и повели машину. Наш шарабан чадил, подскакивал и изо всех сил пробивался вперед. Огромные тучи ветра с песком обдували нас из мерцавших пространств. Стэн катил себе дальше с историями про Монте-Карло, Кань-сюр-Мер и голубые местечки под Ментоной, где темнолицые люди бродят меж белых стен.

Техас неоспорим: мы, медленно дымя, вкатились в Абилин и все проснулись посмотреть на него.

– Представь, что живешь вот в этом городишке в тыщах миль от больших городов. Хуп, хуп, вон там у рельсов – старый городок Абилин, куда свозили коров, где отстреливались от сыщиков и лакали сивуху. Эй, берегись! – завопил Дин из окна, скривив рот, как У.К.Филдс. Ему было плевать и на Техас, и на любое другое место. Краснолицые тexasцы были на него не в обиде – они спешили себе дальше по пылавшим тротуарам. Мы остановились поесть на шоссе к югу от города. Вечер, казалось, маячил за миллион миль от нас, когда мы тронулись в сторону Коулмена и Брэди – к сердцу Техаса: только глухомань низких кустарников вокруг, да изредка домик у ручейка, страдающего от жажды, да пятидесятимильный объезд по грунтовой дороге, да бесконечная жара.

– Старая добрая Мексика еще далеко-о, – сонно протянул Дин с заднего сиденья, – поэтому давайте, парни, гоните, и к утру будем целоваться с сеньоритами, потому что этот «фордик» может гонять, ежели знать, как с ним разговаривать и как его подстегивать – только задок вот-вот отвалится, но вы не волнуйтесь, пока мы дотуда не доедем. – И он уснул.

Я сел за руль и доехал до Фредериксберга, и здесь опять пересек свой старый маршрут – в этом же месте мы с Мэрилу держались за руки снежным утром в 1949-м, а где Мэрилу теперь?

– Дуй! – закричал Дин во сне; наверное, ему снился джаз во Фриско или грядущее мексиканское мамбо. Стэн все говорил и говорил: Дин завел его предыдущей ночью, и

теперь он вообще не собирался затыкаться. К этому времени он уже перебрался в Англию и повествовал о своих приключениях на английском автостопе из Лондона в Ливерпуль – длинноволосый, в рваных штанах, и странные британские шоферы грузовиков подбрасывали его в хмарях европейской пустоты. У нас у всех от постоянных мистралей старого Техаса покраснели глаза. В каждом животе было по камню, и мы знали, что медленно, но верно приближаемся, куда нужно. Машина, содрогаясь от напряжения, еле выжимала сорок. От Фредериксберга начался спуск по широченным западным высокогорьям. О ветровое стекло забились бабочки.

– Опускаемся в пекло, мальчики, к пустынным крысам и текиле. Я так далеко на юге Техаса впервые, – прибавил Дин с восхищением. – Вот же черт! вот куда, оказывается, мой старик сбегает каждую зиму, хитрющий бичара.

Мы неожиданно очутились в совершенно тропической жаре у подножия холма с пятимильным подъемом, а впереди виднелись огоньки Сан-Антонио. Было такое ощущение, что все это действительно когда-то было мексиканской территорией. Дома по обочинам – другие, бензоколонки – побитее, меньше фонарей. Дин с восторгом схватился за руль, чтобы ввезти нас в Сан-Антонио. Мы въехали в город и сразу попали в южный ералаш из рахитичных мексиканских хибар без погребов, с креслами-качалками на крылечках. Мы остановились на безумной заправке поменять масло. Повсюду стояли мексиканцы – под жарким светом ламп над головой, которые были просто черны от летних насекомых долины; они совали руки в ящики с прохладительными напитками, вытаскивали оттуда бутылки с пивом, а деньги швыряли служителю. Вокруг околачивались целые семейства и ничего больше не делали. Нас со всех сторон окружали халупы, поникшие деревья и запах дикой корицы в воздухе. Со своими мальчиками подходили неистовые мексиканские девчонки-подростки.

– Ху-у! – вопил Дин. – Си! Маньяна! – Со всех сторон летела музыка, всевозможная музыка. Стэн и я выпили несколько бутылок пива и заторчали. Мы уже почти что выбрались из Америки, но все же вполне определенно пока оставались в ней, да еще и в самой сердцевине ее безумия. Мимо неслись четкие машины. Сан-Антонио, ах-хаа! – А теперь, люди, слушайте меня: мы с таким же успехом можем пару часов повалять дурака в Сан-Антоне, поэтому пошли найдем Стэну поликлинику, а мы с тобой, Сал, порассекаем тут и поврубаемся в улицы – посмотри только вон на те дома через дорогу, там можно заглянуть прямо в гостиную, а всякие дочурки разлзались там с журнальчиками типа «Настоящей Любви», уиии! Давай, пошли!

Сначала мы бесцельно покатались по городу и поспрашивали народ, где тут ближайшая поликлиника. Та располагалась поблизости от центра, где всё больше лоснилось и выглядело по-американски: несколько полунебоскребов, много неона и типовых забегаловок, – но машины все же ломались вдоль по улицам из тьмы, окружавшей город, как будто не существовало никаких правил уличного движения. Мы поставили машину в проезде к поликлинике, и я пошел со Стэном к доктору, а Дин остался в кабине переодеваться. В вестибюле было полно бедных мексиканок, некоторые беременные, некоторые больные, некоторые привели маленьких больных детишек. Это было грустно. Я подумал о несчастной Терри: что же она делает сейчас? Стэну пришлось ожидать целый

час, пока дежурный врач не дошел до него и не осмотрел его распухшую руку. Его инфекция как-то называлась, но ни один из нас не смог выговорить названия. Ему вкололи пенициллин.

Тем временем мы с Дином отправились врубаться в улицы мексиканского Сан-Антонио. Там было ароматно и мягко – мягчайший воздух, которым я когда-либо дышал, – и темно, и таинственно, и беспокойно. В гудящей темноте возникали фигуры девушек в белых платках. Дин, онемев, крался по улицам.

– О, здесь слишком чудесно, чтобы что-то делать! – шептал он. – Давай проползем чуть дальше и все увидим. Смотри! смотри! Чокнутая бильярдная хибара! – Мы вошли. За тремя столами дюжина парней расписывала пульку – все мексиканцы. Мы купили кока-колы, напихали никелей в музыкальный автомат и стали слушать Винонию Блюз Харриса, Лайонела Хэмптона и Лаки Миллиндера и угорать. Дин тем временем предупредил, чтобы я наблюдал повнимательней: – Врубись – вот, сейчас, краем глаза, пока мы слушаем, как Винония лабает про пудинг своей бэби, пока нюхаем вот этот мягчайший, как ты говоришь, воздух: врубись в пацана, в этого калеку, который мечет пульку за первым столом, он – козел отпущения всей здешней компании, всю жизнь им был. А остальные парни безжалостны, но они его любят.

Увечный пацан был каким-то плохо сформировавшимся карликом с огромным прекрасным лицом, слишком большим для него, на котором влажно поблескивали громадные карие глазищи.

– Разве ты не видишь. Сал, это здешний мексиканский Том Снарк – та же самая история по всему свету. Видишь, они лупят его по заднице кием? Ха-ха-ха! – слышишь, как они смеются? Видишь, он хочет выиграть эту игру, он поставил четыре монеты. Следи! следи же! – Мы наблюдали, как ангельский молодой карлик нацелился сорвать банк. Промазал. Парни взревели. – Эх, чувак! – сказал Дин. – А теперь смотри. – Они взяли мальчишку за шиворот и стали шутя терзать его. Тот визжал. Потом выбежал наружу, в ночь, но кинул назад смущенный ласковый взгляд. – Ах, чувак, как бы мне хотелось поближе узнать этого забойного кошака, о чем он думает, какие у него девчонки... ох, чувак, я просто улетаю по этому воздуху! – Мы немного пошлялись и облазили несколько темных, таинственных кварталов. Бесчисленные домики прятались в пышных дворах – почти что джунглях; мы подмечали девчонок в гостиных, девчонок на верандах, девчонок в кустах с мальчишками. – Я никогда не знал этого безумного Сан-Антонио! А подумай, какой тогда окажется Мексика! Пой-ехали! Пой-ехали! – Мы рванули обратно в больницу. Стэна уже выпустили, и он сказал, что ему намного лучше. Мы обняли его и рассказали все, что мы тут успели. Теперь ничто не мешало нам сделать последние сто пятьдесят миль до волшебной границы. Мы прыгнули в машину и дернули. Я настолько выбился из сил, что проспал всю дорогу через Дилли и Энсиналь до Ларедо и не просыпался до тех пор, пока они не поставили машину перед столовой в два часа утра.

– Ах, – вздохнул Дин, – конец Техаса, конец Америки. Ничего более нам уже не ведомо. – Было грандиозно жарко: с нас ведрами лил пот. Ни ночной росы, ни дуновения воздуха – ничего, кроме миллиардов бабочек, бившихся везде о лампочки, да низкого, густого запаха жаркой реки в ночи неподалеку – Рио-Гранде, которая начинается в прохладных распадках

Скалистых Гор, а заканчивается тем, что образует одну из величайших пойм мира и мешает свой жар с грязями Миссиссиппи в великом Заливе.

Ларедо в то утро оказался зловещим городком. Вокруг бродили всевозможные таксисты и пограничные крысы, ища, чем бы поживиться. Шансов выпадало немного: слишком поздно. Здесь было дно и опивки Америки, куда опускались все тяжелые мерзавцы, куда приходилось идти всем заблудшим, чтобы оказаться поближе к своему личному «где-то там», куда можно проскользнуть незамеченными. В тяжелом сиропе воздуха высиживалась контрабанда. Фараоны были краснорожими, хмурыми и потными – не подступись. Официантки – грязными и омерзительными. Сразу за всей этой мерзостью ощущалось присутствие великой Мексики, почти доносился запах миллиарда жареных тортилий, дымившихся в ночи. Мы не имели ни малейшего понятия, какой она на самом деле окажется. Снова мы находились на уровне моря, а когда попытались перекусить, то едва смогли проглотить хотя бы кусочек. Я все равно завернул свой обед в салфетки на дорогу. Мы чувствовали себя ужасно и тоскливо. Но все изменилось, стоило лишь пересечь реку по таинственному мосту, и наши колеса покатались по официальной мексиканской почве, хоть та и была не чем иным, как асфальтом, ведущим к пограничной инспекции. На противоположной стороне улицы уже начиналась Мексика. Мы с любопытством смотрели туда. К нашему изумлению, она в точности походила на настоящую. Три часа утра, а мужики в соломенных шляпах и белых штанах дюжинами колбасятся перед оббитыми рябыми магазинчиками.

– Посмотри... на... этих... кошаков! – прошептал Дин. – Ууу, – тихо выдохнул он, – погоди, погоди. – Ухмыляясь, вышли мексиканские власти и попросили нас пожалуйста извлечь наш багаж. Мы извлекли. Мы не могли оторвать глаз от той стороны улицы. Нам не терпелось рвануть прямо туда и затеряться в таинственных испанских улочках. То было всего лишь Нуэво-Ларедо, но для нас и оно – Священная Лхаса.

– Бож-же, парни ведь не спят всю ночь, – прошептал Дин. Мы поспешили оформить свои бумаги, нас предупредили не пить сырой воды – теперь, когда мы пересекли границу. Мексиканцы бессвязно обсмотрели наши пожитки. Они ничем не напоминали официальных лиц. Они были ленивы и нежны. Дин не сводил с них глаз. Он повернулся ко мне: – Видишь, какие в этой стране легавые? Не могу в это поверить! – Он протер глаза. – Я сплю. – Потом пришло время менять деньги. На столе мы увидели большущие столбики песо и узнали, что восемь их составляют один американский дуб или что-то около того. Мы обменяли большую часть бабок и с восторгом рассовали пачки по карманам.

Затем мы обратили лица к Мексике с робостью и изумлением, а десятки мексиканских кошаков наблюдали за нами из-под таинственных полей своих шляп в ночи. Дальше была музыка и ночные рестораны, из дверей которых валил дым.

– Ух ты! – очень тихо прошептал Дин.

– Это все, – ухмыльнулся чиновник-мексиканец. – Вы, парни, оформлены. Валяйте. Добро пожаловать в Мексику. Хорошо отдыхайте. Не зевайте с деньгами. Не зевайте на дороге. Это я вам лично говорю, я Рыжий, меня здесь все зовут Рыжий. Спросите Рыжего. Хорошо кушайте. Не волнуйтесь. Все прекрасно. Развлекаться в Мексике нетрудно.

– Д-да! – вздрогнул Дин, и мы рванули через дорогу как на крыльях. Оставили машину у тротуара и все трое в ряд зашагали по испанской улочке в середину тусклых бурых огней. Старики сидели прямо в ночи на стульях, похожие на восточных торчков и оракулов. Прямо никто на нас не смотрел, но никто не пропускал и ни одного нашего движения. Мы резко свернули налево, в закопченную забегаловку и погрузились в музыку гитар кампо, несшуюся из американского музыкального автомата тридцатых годов. Мексиканские таксисты в рубашках с короткими рукавами и мексиканские хипстеры в соломенных шляпах сидели на табуретах, поглощая бесформенные массы тортилий, бобов, тако и чего-то еще. Мы взяли три бутылки холодного пива – название его было «serveza» – каждая стоила что-то около тридцати мексиканских центов или десяти американских. Накупили мексиканских сигарет по шесть центов за пачку. Мы не могли налюбоваться на наши дивные мексиканские деньги, которые так преумножились, мы играли ими, озирались по сторонам и всем подряд улыбались. За нами лежала вся Америка и всё, что Дин и я прежде знали о жизни – причем, о жизни на дороге. В конце концов дорога все-таки привела нас в волшебную страну – мы и мечтать не могли о таком волшебстве.

– Подумай только, эти коты не спят всю ночь напролет, – прошептал Дин. – Подумай, какой большой континент перед нами, и эти высоченные горы Сьерра-Мадре, которые мы видели только в кино, и эти бесконечные джунгли внизу, и целая высокогорная пустыня, такая же большая, как и наша, она тянется до самой Гватемалы и еще Бог знает куда, фуу! Что же нам делать? Что же нам делать? Покатили дальше! – Мы вышли оттуда и вернулись к машине. Последний мимолетный взгляд на Америку поверх жарких огней моста через Рио-Гранде – и мы повернулись к ней спиной и багажником и с ревом умчались.

Мгновенно мы оказались в пустыне, и по всей плоскости ее на пятьдесят миль вокруг – ни единого огонька, ни единой машины. И вот тут над Мексиканским Заливом забрезжил рассвет, и со всех сторон выступили призрачные очертания кактусов юкки и «органных труб».

– Что за дикая страна! – вскрикнул я. У нас с Дином сна не было ни в одном глазу. В Ларедо же мы были полумертвыми от усталости. Стэн, который и прежде бывал за границей, мирно дрых на заднем сиденье. Вся Мексика лежала у наших с Дином ног.

– Теперь, Сал, мы все оставляем позади и вступаем в новую и неизвестную фазу вещей. Все годы, все заморочки и оттяги... а теперь вдруг вот это!.. с тем, чтобы мы спокойно могли больше ни о чем не думать, а просто идти себе дальше, открыв лица вот так вот, видишь, и понимать мир так, как, если уж на то пошло, другие американцы до нас его не понимали – а

они тут уже побывали, верно? В Мексиканскую войну. Прорубались тут с пушками.

– Кроме того, – сказал я ему, – эта дорога – излюбленный маршрут всех американских изгоев, которые тикали от закона через границу и спускались к старому Монтеррею, поэтому если всмотришься вот в эту седую пустыню, и тебе явится призрак какого-нибудь старинного гробового удальца, что одиноко скачет в изгнание навстречу неведомому, и ты увидишь дальше...

– Это же весь мир! – перебил Дин. – Боже мой! – вскричал он, ударяя ладонью по рулю. – Весь мир! Мы можем доехать аж до Южной Америки, если дорога доведет. Подумать только! Сук-кин сын! Черт возьми! – Мы неслись дальше. Заря разливалась моментально, и уже можно было различить белый песок пустыни и редкие хижины в отдалении. Дин замедлил ход, чтобы как следует рассмотреть их. – Настоящие битовые хижины, чувак, такие можно найти только в Долине Смерти, да и то вряд ли. Эти люди не чешутся по части внешнего вида. – Первый городок впереди, удостоившийся увековечиться на карте, назывался Сабинас-Хидальго. Нам ужасно хотелось добраться до него поскорее. – А дорога ненамного отличается от американской, – воскликнул Дин, – если не считать одной безумной штуки, если ты ее заметил, вот тут прямо: на дорожных столбах отмечены не мили, а километры, и они меряют расстояние до Мехико. Видишь, это единственный большой город на всю страну, все дороги к нему ведут. – Нам оставалось всего 767 миль до столицы, в километрах же – больше тысячи. – Черт! Я должен жать! – закричал Дин. Я ненадолго прикрыл глаза в полном измождении и только слышал, как Дин колотит по рулю кулаками и говорит: «Черт!» – или «Какой оттяг!» – или «Ох, что за земля!» – или «Да!» Мы пересекли всю пустыню и приехали в Сабинас-Хидальго около семи утра. Чтобы рассмотреть его, мы совершенно сбросили скорость. Растолкали Стэна на заднем сиденье. Все выпрямились, чтобы хорошенько врубиться в городок. Главная улица была немощеная и вся в выбоинах. По обеим сторонам тянулись грязные, полуразрушенные глинобитные фасады. Шли ослики с поклажей. Босоногие женщины наблюдали за нами из темных провалов дверей. Улица кишела пешеходами: в мексиканской земле начинался новый день. Старики с закрученными сверху усами, похожими на рули велосипедов, глазели на нас. Вид троицы бородатых, замызганных американских парней вместо обычных хорошо одетых туристов необычайно их заинтересовал. Подпрыгивая на ухабах, мы тащились вдоль по главной улице со скоростью десять миль в час, стараясь ничего не пропустить. Прямо перед нами шла стайка девушек. Когда мы протряслись мимо, одна спросила:

– Куда катите, чуваки?

Я в изумлении обернулся к Дину:

– Ты слышал, что она сказала?

Дин сам так обалдел, что лишь медленно ехал дальше, повторяя:

– Да, я слышал, что она сказала. Я прекрасно слышал, черт возьми, ох Боже мой, ох Господи. Я не знаю, что делать, мне так чудно, так сладко в этом утреннем мире. Мы, наконец, попали на небеса. Чётче и быть не могло, не могло быть великолепнее, не могло быть по-другому.

– Так давай же вернемся и снимем их! сказал я.

– Да, – ответил Дин, продолжая ехать на пяти милях в час. Он был сбит с толку: тут не нужно было поступать так, как он привык в Америке. – Их там миллионы по всей дороге! – сказал он. Однако, все-таки развернулся и вновь подъехал к девушкам. Те шли работать в поля; они улыбались нам. Дин немигающе уставился на них своими каменистыми глазами. – Черт! – еле слышно вымолвил он. – Ох! Это слишком грандиозно, так не бывает. Девчонки, девчонки. И вот прямо сейчас, в моем состоянии и положении, Сал, я врубаюсь во внутренности этих домов, что мы проезжаем... Дверей-то нет, и это четко – заглядываешь внутрь и видишь соломенные подстилки, и там спят маленькие смуглые пацанчики, и ворочаются перед тем, как проснуться, их мысли сгущаются в пустом разуме сна, сознание восстает, а матери готовят им завтрак в железных котелках, и я врубаюсь в эти ставни, которые у них вместо окон, и в стариков – их старики такие невозмутимые и величественные, их ничто не беспокоит. Здесь нет подозрительности – ничего такого. Все бесстрастно, все смотрят на тебя такими честными карими глазами и ничего не говорят, они лишь смотрят, и в этом взгляде все человеческое – оно смягчено, приглушено, но все же оно есть. Только врубись, что за идиотские рассказы ты читал про Мексику, про спящего гринго и всякую разную дребедень про черномазых мексов и так далее – и сравни, что на самом деле: люди здесь прямые и добрые, и никого пальцем не тронут: просто поразительно. – Вымуштрованный суровой дорожной ночью, Дин явился в мир, чтобы увидеть его новыми глазами. Он согнулся над баранкой, он смотрел по сторонам и медленно катился дальше. Выезжая из Сабинас-Хидадьго, мы остановились заправиться. Здесь, перед допотопными колонками, ворчливо перебрасывались шутками собравшиеся ранчеры в соломенных шляпах и с усами как велосипедные рули. Подальше в полях старик пахал на ослике, подгоняя его хлыстом. Над чистыми, извечными трудами человеческими ясно всходило солнце.

Мы продолжали путь к Монтеррею. Перед нами громоздились великие горы под снежными шапками; мы летели прямо на них. Раскрылся горный проход, дорога начала виться на перевал, и мы следовали ее изгибам. За считанные минуты осталась позади мескитовая пустыня, и мы уже карабкались в холодных потоках воздуха по дороге, отгороженной от пропасти каменной стенкой, а на скалах известкой было крупно выведено имя президента – АЛЕМАН! На этой высокой дороге мы не встретили никого. Она, извиваясь, бежала меж облаков и вывела нас на обширное плато на вершине. Большой промышленный город Монтеррей на противоположной его стороне слал столбы дыма к голубым небесам, а гигантские облака, поднимаясь с Залива, разрисовывали чашу дня барашками Въезд в Монтеррей был совсем как въезд в Детройт – меж нескончаемых высоченных фабричных стен, вот только ослики грелись на травке перед ними, да взгляд останавливался на скученных саманных кварталах города с тысячами хипстеров-ловкачей, что околачиваются у дверей домов, со шлюхами, что выглядывают из окон, с диковинными лавчонками, где торгуют неизвестно чем, да с узенькими тротуарчиками, на которых бурлит человечество почище гонконгского.

– Йоуу! – завопил Дин. – И всё под этим солнцем! Ты врубился в это мексиканское солнце, Сал? От него просто торчишь. Фу-у! Я хочу все дальше и дальше – дорога просто гонит меня!! – Мы заикнулись было о том, чтобы задержаться в монтеррейской вакханалии, но

Дину не терпелось за сверхкороткое время доехать до Мехико, а кроме этого, он знал, что дорога будет становиться все интереснее – особенно впереди, всегда впереди. Он гнал как одержимый, не отдыхая ни минуты. Мы со Стэном были совершенно измочалены, поэтому сдались и решили вздремнуть. Выехав из Монтеррея, я выглянул наружу и увидел зловещую гигантскую пару пиков за Старым Монтерреем. Туда-то и уходили всегда преступники.

Впереди лежал Монтеморелос, новый спуск в более жаркие широты. Становилось все жарче и страннее. Дину во что бы то ни стало понадобилось разбудить меня, чтобы я на все это взглянул:

– Посмотри, Сал, только не пропусти! – Я посмотрел. Мы ехали по болотам, а вдоль дороги то тут, то там шли странные мексиканцы в лохмотьях, на веревочных поясах у них болтались мачете: некоторые рубили кусты. Все они останавливались и провожали нас ничего не выражавшими взглядами. Сквозь чащобу кустов мы время от времени замечали крытые соломой хижины с бамбуковыми стенками, типа африканских – палки и больше ничего. Странные молодые девочки, темные как луна, смотрели из таинственно зеленевших проемов. – Ох, чувак, как я хочу остановиться и чутка побаловаться с этими малышками, – закричал Дин, – да только видишь, какой-нибудь старик или старуха обязательно крутятся поблизости, обычно на заднем плане, иногда ярдах в ста, собирают хворост или присматривают за скотиной. Девчонки никогда не бывают одни. Никто никогда не бывает один в этой стране. Пока ты спал, я врубался в эту дорогу и в эту страну, и если бы я только мог рассказать тебе обо всем, что мне приходило в голову, чувак! – Он весь покрылся потом. Глаза у него были воспаленными, безумными, но покорными и нежными: он нашел людей, себе подобных. Мы неслись прямо по бескрайней стране болот на постоянных сорока пяти. – Сал, я думаю, местность не изменится еще очень долго. Если ты сядешь, я посплю.

Я сел за руль и погрузился в свои собственные грезы; я ехал через Линарес, сквозь жаркие, плоские болота, через дымящуюся Рио-Сото-ла-Марина под Хидальго, и дальше. Великая зеленая долина – джунгли и длинные поля, на которых зеленеют всходы, – раскрылась передо мной. С узкого ветхого моста люди наблюдали за тем, как мы едем. Струилась горячая река. Затем мы вновь стали подниматься, пока на нас не начало наступать что-то типа пустыни. Впереди был город Грегория. Мальчишки спали, и я был один за рулем перед лицом вечности, а дорога бежала, прямая как стрела. Совсем не так едешь по Каролине, или по Техасу, или по Аризоне, или по Иллинойсу; но так мы ехали по миру туда, где, наконец, сможем познать самих себя среди индейцев-феллахов мира – того племени, что есть сама суть основного, первобытного, воющего человечества, племени, охватившего поясом экваториальный живот мира от Малайи (длинного ногтя Китая) до Индии – великого субконтинента, до Аравии, до Марокко, до тех же пустынь и джунглей Мексики, по волнам до Полинезии, до мистического Сиама, укутанного в желтый халат, и снова по кругу, по кругу, так что слышишь один и тот же надрывный вой и у вросших в землю стен Кадиса в Испании, и за 12.000 миль оттуда – в глубинах Бенареса, Столицы Мира. Сомнений быть не могло: эти люди – настоящие индейцы, а вовсе не Педры и Панчи из глупых баек цивилизованной Америки – у них высокие скулы, раскосые глаза и мягкие повадки; они не дураки, они не

шуты; они – великие, суровые индейцы, они – источник человечества и отцы его. Пусть волны морские принадлежат китайцам, суша – владение индейцев. Они в пустыне, именуемой «историей», – такая же суть, как камни – в пустыне земной. И они знали это, когда мы проезжали мимо – якобы значимые толстосумы-американцы, приехавшие порезвиться в их землю, они знали, кто отец, а кто сын извечной жизни на земле, но ничего не говорили. Ибо когда опустошение нагрянет в мир «истории», и Апокалипсис феллахов снова возвратится – уже в который раз, – люди будут все так же неподвижно глядеть теми же самыми глазами и из пещер Мексики, и из пещер Бали, где все начиналось, где нянчили Адама и учили его знать. Так росли во мне мысли, пока я вел машину в жаркий, пропеченный солнцем городок Грегорию.

До этого, еще в Сан-Антонио, я в шутку пообещал Дину, что раздобуду ему девчонку. Это был спор, вызов был принят. Когда я притормозил у бензоколонки около солнечной Грегории, через дорогу на сбитых ногах перебежал паренек с огромным солнцезащитным козырьком для ветрового стекла и спросил, не хочу ли я купить его:

– Тебе нравится? Шестьдесят песо. Habla Espanol? Sesenta peso. Мое имя Виктор.

– Не-а, – в шутку ответил я. – Сеньориту куплю.

– Конечно-конечно! – возбужденно закричал тот. – Достану тебе девушек, любое время. Сейчас слишком жарко, – с отвращением добавил он. – Нет хорошие девушки, когда жарко день. Подожди вечер. Тебе нравится тень?

Козырька я не хотел, я хотел девчонок. Я разбудил Дина:

– Эй, чувак, в Техасе я обещал, что найду тебе девчонку; все нормально, разомни косточки и просыпайся парень; девчонки нас уже ждут.

– Что? что? – вскричал тот, подскакивал, весь растрепанный. – Где? где?

– Вот этот парень, Виктор, покажет нам, где.

– Ну так поехали же, поехали! – Дин выпрыгнул из машины и изо всех сил стиснул Виктору руку. Поблизости от заправки околачивалась компания других мальчишек – они скалились, половина босиком, но все в обвисших соломенных шляпах. – Чувак, – сказал мне Дин, – ну разве плохо провести денек вот так? Гораздо круче, чем в денверской бильярдной. Виктор, у тебя есть девчонки? Где? A donde? – закричал он по-испански. – Врубись, Сал, я говорю по-испански.

– Спроси, нет ли у него травы? Эй, пацан, у тебя есть ме-ри-уа-на?

Тот серьезно кивнул:

– Конечно, любое время, много. Пошли со мной.

– Хии! Уии! Хуу! – завопил Дин. Он совсем проснулся и теперь прыгал вдоль и поперек этой сонной мексиканской улочки. – Поехали все. – Я раздавал «лаки-страйки» остальным пацанам. Они получали массу удовольствия от нас, а особенно – от Дина. Они поворачивались друг к другу и, прикрывшись ладошками, тараторили свои соображения по поводу безумного американского кошака. – Врубись в них, Сал, как они говорят про нас и врубаются. Ах ты, Господи Боже мой, что это за мир! – Виктор влез к нам в машину, мы дернулись и поехали. Стэн Шепард крепко спал, но под это безумие проснулся.

Мы заехали далеко в пустыню по другую сторону городка и свернули на разбитую грунтовую дорогу, в глубоких колеях которой машина подскакивала как никогда раньше. Впереди

виднелся дом Виктора. Он стоял на краю кактусовых равнин в тени нескольких деревьев

– простой глинобитный ящик из-под печенья: несколько человек слонялось по двору.

– Кто это? – весь в возбуждении вскричал Дин.

– То мои братья. Моя мать тоже там. Моя сестра тоже. То моя семья. Я женат, я живу в городе.

– А как насчет твоей матери? – струхнул Дин. – Что она говорит по части марихуаны?

– О, она мне достает. – Пока мы ждали в машине, Виктор вышел, проскакал к дому и сказал несколько слов пожилой даме, которая живо повернулась и ушла в садик, где стала собирать макухи конопли, уже сорванные и оставленные сушиться на солнце пустыни. Братья Виктора тем временем скалились нам из-под дерева. Они пытались подойти и познакомиться, но подняться и пройти до нашей машины заняло бы у них некоторое время. Виктор вернулся, дружелюбно ухмыляясь.

– Чувак, – сказал Дин, – этот Виктор – самый милый, самый клевый, самый неистовый котяра из всех, кого я встречал за всю свою жизнь. Ты только посмотри на него, посмотри, как медленно и четко он ходит. Здесь не нужно спешить. – Постоянный, настойчивый ветер пустыни задувал в машину. Было очень жарко.

– Видишь, как жарко? – спросил Виктор, усаживаясь рядом с Дином на переднее сиденье и показывая на раскаленную крышу «форда». – Возьми ма-ри-гану – и больше не жарко. Подожди.

– Да, – ответил Дин, поправляя темные очки, – я подожду. Будь спок, Виктор, мальчик мой. Вот неторопливо подошел долговязый брат Виктора с кучкой травы на газетном листе. Он высыпал ее Виктору на колени и мимоходом облокотился на дверцу машины, чтобы лишь кивнуть, улыбнуться нам и сказать:

– Привет. – Дин тоже кивнул и приветливо улыбнулся. Никто не разговаривал; это было прекрасно. Виктор начал сворачивать громаднейший бомбовоз, который кто-либо в жизни видел. Он сделал из коричневой оберточной бумаги примерно такую сигару «корона» из всего этого чая. Косяк получился огромным. Дин, выпучив глаза, смотрел на него. Виктор как ни в чем ни бывало поджег самокрутку и пустил ее по кругу. Затягиваться ею было так, словно нагибаешься над дымовой трубой и вдыхаешь. В горло ворвалась одна грандиозная волна жара. Мы задержали дыхание и выпустили дым почти одновременно. Улетели все моментально. Пот заледенел у нас на лбу, все вдруг стало как на пляже в Акапулько. Я выглянул в заднее окно машины – там стоял еще один, самый странный брат Виктора, скорее перуанец, а не индеец, высокий, с шарфом через плечо – стоял, прислонившись к столбику, и ухмылялся, слишком стесняясь подойти и пожать нам руку. Казалось, вся машина окружена братьями, поскольку еще один появился со стороны Дина. Потом произошло самое удивительное. Все настолько закинулись, что обычные формальности были отброшены, и все сосредоточились на вещах, вызывавших немедленный интерес, и теперь в этом явилась вся странность американцев и мексиканцев, пыхающих вместе посреди пустыни, больше того – странность видеть в тесной близости лица, и поры кожи, и мозоли на пальцах, и вообще сконфуженные скулы иного мира. И вот братья-индейцы начали говорить о нас тихими голосами – обсуждали: заметно было, как они смотрят, оценивают и сравнивают впечатления, или же исправляются и меняют мнение:

– Да, да. – А Дин, Стэн и я обсуждали их по-английски.

– Ты только врубись в этого дьявольского брата позади, который не сдвинулся от своего столбика ни на шаг и ни на волосок не уменьшил интенсивность радостной, смешной застенчивости своей улыбки, а? А тот, что у меня слева, постарше, больше уверен в себе, но такой печальный – типа завис, может даже, типа бича в городе, а Виктор солидно женат... он как этот чертов египетский фараон, видишь? Эти парни – настоящие кошки. Никогда ничего подобного не видал. Они же про нас говорят и нам удивляются, типа видишь? Типа нас, но со своими собственными приколами, их интерес, возможно, вертится вокруг того, как мы одеты – совсем как у нас, на самом деле – если бы не странность вещей, которые у нас в машине, и странная манера смеяться не как они, и даже, может быть, то, как мы пахнем по сравнению с ними. Тем не менее, я зуб бы дал узнать, что они про нас говорят. – И Дин попытался. – Эй, Виктор, чувак... что твой брат только что сказал?

Виктор обратил на него свои скорбные карие глаза:

– Да-а, да-а.

– Нет, ты не понял. О чем вы, парни, говорите?

– О, – ответил Виктор в великом смятении, – тебе не нравится мар-гуана?

– Ох нет, да, прекрасно! О чем вы говорите?

– Говорить? Да, мы говорить. Как вам нравится Мехика? – Трудно без общего языка. Все затихли, остыли и улетели по новой – и лишь наслаждались ветерком из пустыни и обдумывали свои отдельные национальные, расовые и личные соображения о высокой вечности.

Настало время для девочек. Братья отползли в свое пристанище под деревом, мать наблюдала за нами из залитых солнцем дверей, а мы медленно попрыгали по кочкам обратно в город.

Но теперь это уже не доставляло неудобств; теперь это стало приятнейшим и грациозным путешествием по волнам мира как по голубому морю, и лицо Дина было залито неестественным сиянием, что было как золото, когда он велел нам впервые постичь амортизаторы автомобиля и врубиться в езду. Вниз-вверх – мы подскакивали, и даже Виктор понял весь кайф этого и рассмеялся. Потом он показал налево – куда ехать к девчонкам, а Дин, глядя в ту сторону с неопишуемым восторгом и весь подаваясь туда, крутнул руль и мягко и уверенно покати нас к цели, между прочим слушая попытки Виктора изъясниться и величественно и высокопарно повторяя:

– Да, конечно! Я в этом и не сомневался! Определенно, чувак! О, в самом деле! Н-ну, елки-палки, ты говоришь самое дорогое для моих ушей! Разумеется! Да! Продолжай, пожалуйста! – В ответ на это Виктор продолжал говорить – сурово и с превосходным испанским красноречием. На какой-то безумный миг я усомнился: а не понимает ли Дин все до единого слова по какому-то чисто дикому наитию, внезапным гением откровения, вдохновленным его сияющим счастьем? В тот момент он выглядел точь-в-точь как Франклин Делано Рузвельт – какое-то помрачение у меня в пылающих очах и плывущем мозгу – настолько, что я чуть не подскочил на сиденье и не ахнул от изумления. В мириадах уколов небесного излучения я лишь усилием воли мог различить фигуру Дина, и он был похож на Бога. Я так высоко улетел, что пришлось откинуть голову на спинку сиденья; от

скачков машины меня пробивало дрожью экстаза. Просто подумать о том, чтобы выглянуть в окно и посмотреть на Мексику – которая у меня в уме теперь уже стала чем-то иным – было как отпрянуть от некоего причудливо изукрашенного ларца с драгоценностями, на который боишься взглянуть из-за собственных глаз – те смотрят внутрь, богатства и сокровища – слишком много, чтобы вместить в себя сразу. Я сглотнул слюну. Я видел, как с неба стекают потоки золота, прямо сквозь драную крышу нашей колымаги, прямо сквозь мои зрачки, а на самом деле – сразу внутрь них: они были везде. Я смотрел в окно на жаркие, солнечные улицы и видел женщину в дверях, и подумал, что она слушает каждое слово, что мы говорим, и сама себе кивает – обычные параноидальные видения после чая. Но поток золота не иссякал. В своем нижнем разуме я надолго потерял сознание того, что мы делаем, и пришел в себя лишь несколько позже, когда оторвал взгляд от огня и молчания, будто пробудился от сна навстречу миру или пробудился от пустоты навстречу сну, и мне сказали, что мы стоим возле дома Виктора, а сам он был уже в дверях машины со своим маленьким сыном на руках, он нам его показывал:

– Видишь мой бэби? Его имя Перес, его шесть месяцев.

– Ну и ну, – сказал Дин, и лицо его все еще было преображено в ливень высшего удовольствия и даже блаженства, – он самый хорошенький ребенок, которого я видел. Посмотрите на эти глаза. А теперь, Сал и Стэн, – сказал он, поворачиваясь к нам с серьезным и нежным видом, – я хочу, чтобы вы в о-со-бен-но-сти увидели глава этого мексиканского мальчугана, сына нашего чудесного друга Виктора, и заметили, как он станет мужчиной со своей особенной душой, которая выразит себя через окна – его глаза, ведь такие прелестные глаза, конечно же, пророчат и указывают на прелестнейшую из душ. – То была прекрасная речь. И прекрасный ребенок. Виктор скорбно глядел на своего ангела. Нам всем хотелось бы себе таких сыновей. Так велика была сила наших чувств по отношению к душе ребенка, что он что-то почувствовал, и его личико начало кривиться: хлынули горькие слезы, и какую-то неведомую печаль утишить у нас не было средств, поскольку она простиралась слишком далеко назад, в бесчисленные тайны и время. Мы испробовали всё: Виктор обхватил его за шею и стал укачивать, Дин курлыкал, я дотянулся и начал гладить ему ручки. Плач только становился громче.

– Ах, – произнес Дин, – мне ужасно жаль, Виктор, что мы опечалили его.

– Он не печальный, бэби плачет. – В дверях, за спиной у Виктора, слишком робея, чтобы выйти к нам, стояла его маленькая босоногая жена, с тревожной нежностью дожидаясь, пока малютку вернут ей в руки, такие смуглые и мягкие. Виктор, показав нам ребенка, забрался обратно в машину и гордо ткнул куда-то вправо.

– Да, – сказал Дин, развернул «форд» и направил его по узким алжирским улочкам, и лица со всех сторон наблюдали за нами с легким любопытством. Мы приехали в бордель. Это было величественное оштукатуренное сооружение под золотым солнцем. На улице, облокотившись о подоконники, манившие вглубь заведения, стояла пара фараонов в мешковатых штанах, сонных, изнывавших от скуки, которые одарили нас короткими заинтересованными взглядами, когда мы входили внутрь; они оставались на месте все три часа, что мы куролесили там, у них под самым носом, пока мы в сумерках не вышли и по настоянию Виктора не одарили каждого суммой, равной двадцати четырем центам,

единственно ради проформы.

А внутри мы обнаружили девчонок. Некоторые возлежали на кушетках по ту сторону танцплощадки, некоторые киряли у длинной стойки бара справа. Арка в центре вводила к крохотным конуркам, похожим на раздевалки на общественным пляжах. Конурки эти располагались на залитом солнцем дворе. За стойкой стоял владелец – молодой мужик, который немедленно выбежал вон, едва услышал, что мы хотим послушать мамбо, вернулся с кипой пластинок, в основном – Переса Прадо, и свалил их все на колонку. Через мгновение весь город Грегориа уже мог слышать, как веселятся в «Сала-де-Байле». В самом зале грохот музыки – ибо именно так надо по-настоящему крутить пластинки в музыкальном автомате, именно для этого он и был с самого начала предназначен, – был настолько оглушитель, что Дина, Стэна и меня на мгновение потрясло осознание того, что мы ни разу в жизни не осмеливались слушать музыку так громко, как нам этого хотелось – а именно так громко нам этого и хотелось. Она ревела и содрогалась прямо нам в лица. Через несколько минут добрая половина этой части города была у окон и смотрела, как «американос» пляшут с девчонками. Все они стояли там, рядышком с фараонами на земляном тротуаре, небрежно и безразлично облокотясь на подоконники. «Еще Мамбо-Джамбо», «Чаттануга де Мамбо», «Мамбо Нумеро Охо» – все эти великолепные номера разносились и пылали в золотом таинственном дне как те звуки, что ожидаешь услышать в последний день мира при Втором Пришествии. Трубы казались настолько громкими, что я думал, их слышно аж в пустыне, откуда, в любом случае, они и ведут свое происхождение. Барабаны обезумели. Бит мамбо – это бит конги из Конго, с реки Африки, всесветной реки; на самом деле, это всемирный бит. Уум-та, та-пуу-пум – УУМ-та, та-пу-пум. «Монтунос» пианино ливнем изливались на нас из динамиков. Лидер кричал так, будто неимоверно задышался, финальные припевы труб, которые шли вместе с оргазмами ударных на конгах и бонгах в великой безумной записи «Чаттануги» заморозили Дина намертво на какое-то мгновение, а затем он содрогнулся и его прошибло потом; после, когда трубы впились в сонный воздух своим подрагивавшим эхом, словно в гроте или в пещере, его глаза округлились, будто он узрел дьявола, и он крепко зажмурился. Меня самого это потрясло как марионетку: я слышал, как трубы излохматили тот свет, что я узрел, и я затрясся до самых пят.

Под быстрый «Мамбо-Джамбо» мы неистово плясали с девчонками. Сквозь свои бредовые видения мы уже начали различать разнообразие их личностей. Это были замечательные девчонки. Станным образом, самая дикая была наполовину индианкой, наполовину белой, родом из Венесуэлы, и было ей всего восемнадцать. Похоже, она происходила из хорошей семьи. Зачем она, с ее утонченной и нежной наружностью, пошла на панель в Мексике, одному Богу известно. Ее привело сюда какое-то ужасное горе. Пила она выше всякой меры. Она глотала напитки, когда уже казалось, что ее вот-вот вырвет. Она постоянно опрокидывала стаканы – еще и затем, чтобы заставить нас истратить здесь как можно больше. В своем легоньком домашнем халатике среди беда дня она яростно отплясывала с Динем, вешалась ему на шею и просила, просила всего на свете. Дин был настолько обдолбан, что не знал, с чего начать – с девчонок или с мамбо. Они с ней сбежали в раздевалки. Меня со всех сторон осадил толстая и неинтересная девушка со щенком,

которая разозлилась на меня за то, что я невзлюбил ее песика, поскольку тот все время пытался меня цапнуть. В конце концов, она согласилась куда-то его унести, а когда вернулась, меня уже подцепила другая девчонка – на вид получше, но тоже не фонтан; она повисла у меня на шее как пиявка. Я пытался вырваться, чтобы пробиться к шестнадцатилетней цветной девчонке, что сидела на другой стороне зала, угрюмо созерцая собственный пупок через вырез в коротеньком платье-рубашечке. У Стэна была пятнадцатилетняя малютка с миндальной кожей, в платье, которое чуть-чуть было застегнуто сверху и чуть-чуть снизу. Это было безумно. Человек двадцать просунулись с улицы в окно и смотрели на все это.

Один раз зашла внутрь мать моей цветной малышки – сама не цветная, а темная – и коротко и скорбно посовещалась о чем-то с дочерью. Когда я это заметил, мне стало очень стыдно пытаться сделать то, чего я на самом деле так желал. Я позволил пиявке утащить себя в задние комнаты, где, как во сне, под грохот и рев динамиков мы полчаса раскачивали кровать. То была просто квадратная комната со стенками из деревянных реек и без потолка; в одном углу – икона, в другом – умывальник. По всему темному вестибюлю девушки кричали:

– Agua, agua caliente! – что означает: «Горячей воды!» Стэна и Дина тоже не было видно. Моя подруга запросила тридцать песо – около трех с половиной долларов, и стала клянчить еще десятку и про что-то длинно рассказывать. Я не знал цены мексиканских денег: может, я у них вообще миллионер. Я швырнул ей бабки. Мы снова рванули плясать. На улице уже собралась толпа побольше. Легавые, похоже, скучали как обычно. Хорошенькая венесуэлочка Дина схватила меня за руку и притащила в странный бар в соседней комнате, очевидно, принадлежавший самому борделю. Здесь разговаривал и протирал стаканы молодой бармен, а старик с велосипедными усами что-то горячо с ним обсуждал. В громкоговорителе тоже ревело мамбо. Казалось, включили целый мир. Венесуэлочка повисла у меня на шее и стала просить меня купить ей выпить. Бармен наливать ей не хотел. Но та все клянчила и клянчила, а когда он все-таки дал ей стакан, она его опрокинула, но на этот раз не специально, потому что в ее бедных, ввалившихся, потерянных глазах я заметил досаду.

– Давай полегче, бэби, – сказал я ей. Мне пришлось поддерживать ее на табуретке – она постоянно соскальзывала. Я никогда не видел пьяных женщин, да еще к тому же и восемнадцати лет от роду. Я купил ей выпить еще: она просила о снисхождении, дергая меня за штаны. стакан онахватила залпом. У меня не доставало силы духа попробовать ее. Моей девчонке было лет тридцать, и она лучше о себе заботилась. Венесуэлочка корчилась и страдала у меня в объятьях, а мне хотелось утащить ее в глубину дома, раздеть и просто поговорить – так твердил я себе. Я просто бредил от желания обладать ею – и другой темной малюткой тоже.

Бедный Виктор – все это время он простоял, опираясь спиной о латунные поручни стойки бара и радостно подпрыгивая при виде того, как куролесят трое его американских друзей. Мы покупали ему выпить. Его глаза блестели от желания женщины, но он не принимал никого, храня верность жене. Дин совал ему деньги. В этом безумном вертепе я смог рассмотреть, что же творится с Дином. Он настолько шизанулся, что не соображал, кто я

такой, когда я заглянул ему в лицо.

– Да-а, да-а! – Вот все, что он твердил. Казалось, этому не будет конца. Как призрачный арабский полуденный сон в иной жизни – Али-Баба, закоулки и куртизанки. Снова я со своей подругой ринулся к ней в комнату; Дин и Стэн обменялись девчонками; все скрылись на какой-то миг на виду, и зрителям пришлось дожидаться продолжения спектакля. День удлинялся и становился прохладнее.

Скоро в старую клевою Грегорию придет таинственная ночь. Мамбо ни на минуту не смолкало, оно неистовствовало дальше, словно бесконечное путешествие сквозь джунгли. Я не мог отвести глаз от темной малышки – от того, как по-королевски она ходит, даже когда хмурый бармен унижает ее каким-нибудь лакейским занятием, типа принести нам выпивку или подмести за стойкой. Из всех девчонок в заведении деньги больше всего нужны были ей: может, мать приходила как раз за деньгами для ее братишек и сестренки. Мексиканцы бедны. Ни разу, ни разу не пришло мне в голову просто подойти и дать ей денег. У меня такое чувство, что она взяла бы их с определенной долей презрения, а презрение от таких, как она, приводит меня в трепет. В собственном безумии я на самом деле влюбился в нее на те несколько часов, что мы там провели: та же самая безошибочная резь разума, те же вздохи, та же боль и превыше всего прочего – то же нежелание и страх приблизиться. Странно, что Дину и Стэну тоже не удалось подойти к ней; ее непроницаемое достоинство – вот отчего она была бедна в старом диком борделе, подумать только. Один раз я заметил, что Дин, как статуя, наклонился к ней, готовый лететь, и на лице у него отразилось, насколько он сбит с толку – так холодно и высокомерно глянула она в его сторону; он бросил чесать себе живот, разинул рот и, наконец, склонил перед нею голову. Ибо она была королевой.

Вдруг в общем сумбуре Виктор стал хватать нас за руки и отчаянно жестикулировать.

– В чем дело? – Он, как мог, старался нам втолковать. Потом подбежал к бару, выхватил у оскалившегося бармена чек и притащил нам показать. Счет вырос до трех сотен песо, или тридцати шести американских долларов, а это большие деньги в любом борделе. Но нам пока не удавалось протрезветь и не хотелось уезжать; хоть мы и были уже на исходе, но по-прежнему желали побарахтаться тут с нашими любезными подружками – в этом странном арабском раю, который, в конце концов, обрели после трудной, трудной дороги. Но надвигалась ночь, и надо было закругляться; Дин тоже это видел и уже начал хмуриться, задумываться и пытаться прийти в себя, а я, наконец, высказал идею уехать отсюда раз и навсегда:

– У нас столько всего впереди, чувак, никакой разницы не будет.

– Правильно! – крикнул Дин с остекленевшим взглядом и повернулся к своей венесуэлочке. Та все-таки отрубилась и теперь лежала на деревянной лавке, и ее белые ноги торчали из-под шелка. Галерка в окне наслаждалась зрелищем; за ними уже начинали ползти красные тени, и я услышал, как где-то взвыл маленький ребенок, и вспомнил, что я не где-то на небесах, а в Мексике, и вовсе не в каких-то там порнографических гашишных грезах. Мы вывалились наружу; забыли Стэна; бегом вернулись за ним и увидели, как он очаровательно раскланивается с вечерними шлюхами, которые только что заступили в свою ночную смену. Он хотел начать все заново. Когда Стэн напивается, то тяжелеет, как

здоровенный мужик, а от женщин его вообще невозможно оторвать. Больше того – бабы сами льнут к нему, цепко как плющ. Он настаивал на том, чтобы остаться и попробовать новых, странных и более искусных сеньорит. Мы с Динем настучали ему по спине и вытащили наружу. Он обильно махал всем ручкой – девчонкам, фараонам, толпе, детишкам на улице; рассылал во все стороны воздушные поцелуи под гром аплодисментов Грегории и гордо покачивался, окруженный местными бандами, пытаюсь заговорить с ними и передать всем свою радость и любовь ко всему без исключения в этом прекрасном дне его жизни. Все смеялись: некоторые хлопали его по спине. Дин рванулся и заплатил полицейским четыре песо, пожал им руки, разулыбался и раскланялся с ними. Затем прыгнул в машину, и все девчонки, которых мы знали, даже венесуэлочка, проснувшаяся к прощанью, собрались вокруг, столпились в своих легоньких нарядах, и тараторили что-то на прощанье, и целовали нас, а венесуэлочка даже расплакалась – хоть мы и знали, что плакала она не по нам, ну, не совсем по нам, но ничего, и так сойдет. Моя сумрачная любовь растворилась в тенях внутри дома. Все было кончено. Мы выехали, оставив радости и праздник в несколько сот песо за спиной, и нам отнюдь не казалось, что мы плохо потрудились. Мамбо призрачно следовало за нами еще несколько кварталов. Все кончилось.

– Прощай, Грегория! – вскричал Дин, посылая городку воздушный поцелуй.

Виктор гордился нами и гордился собой.

– Хочешь сейчас баню? – спросил он. Да, мы все хотели чудесную баню.

И он повез нас в самое невероятное место на свете: то была обычная баня американского типа, она стояла прямо на шоссе в миле от города; там было полно детишек, плескавшихся в бассейне и душевых кабинках внутри каменного здания, всего за несколько сентаво, мыло и полотенца выдавал служитель. Кроме того, там имелся еще я унылый детский парк с качелями и сломанной каруселью, и в тускневшем свете красного солнца он казался таким странным и таким прекрасным. Мы со Стэном сразу взяли полотенца и прыгнули прямо под ледяной душ, и вышли оттуда посвежев и обновившись. Дин не стал суетиться с баней – мы видели его далеко на другой стороне грустного парка: он рука об руку прогуливался с нашим добрым Виктором, многословно и любезно болтал с ним, даже возбужденно наклонялся к нему, чтобы что-то подчеркнуть, и рассекал воздух кулаком. Затем они снова брали друг друга под ручку и шли дальше. Подходила пора прощаться с Виктором, вот Дин и пользовался случаем побыть с ним наедине, исследовать парк, разузнать его взгляд на вещи вообще – короче говоря, врубиться в Виктора так, как мог только он.

Теперь Виктор был очень печален от того, что нам надо было ехать:

– Когда снова приедешь Грегория, увидишь меня?

– Конечно, чувак! – ответил Дин. Он даже пообещал захватить Виктора с собою в Штаты, если тот захочет. Виктор сказал, что ему надо подумать.

– Есть жена и бэби... нет денег... я посмотрю. – Его милая вежливая улыбка светилась в красноватых сумерках, когда мы махали ему из машины. У него за спиной оставались печальный парк и детишки.

6

Сразу за Грегорией дорога пошла под уклон, по обеим сторонам вставали громадные деревья, и чем ближе подступала темнота, тем громче раздавался в их кронах рев миллиардов насекомых – он звучал как один непрерывный высокочастотный скрежет.

– Фу-у! – сказал Дин, включил фары, и те не работали. – Что такое? что? черт подери, что такое? – Он психовал и колотил по панели. – Ох, Господи, нам придется ехать по джунглям без света, только подумай, что это за кошмар, я смогу видеть, только когда будет проезжать другая машина, а здесь просто нет никаких машин! И фонарей, конечно, тоже. Ох, что же делать, черт бы все это побрал?

– Да поехали и всё. Хотя, может, вернемся?

– Нет-нет, никогда! Поехали дальше. Я еле вижу дорогу. Прорвемся. – И вот мы рванули в чернильную темень сквозь визг насекомых, и мощный, густой запах опустился на нас, почти что запах гнили, и мы вспомнили и осознали, что сразу за Грегорией по карте начинается Тропик Рака. – Мы в новых тропиках! Не удивительно, что такой запах! Нюхайте. – Я высунул голову из окошка; жуки ударялись мне в лицо; невообразимый скрежет поднялся в тот момент, когда я наострил слух на ветер. Вдруг фары у нас заработали и ткнулись вперед, освещая одинокую дорогу, бежавшую меж сплошных стен поникших, змеистых деревьев до ста футов высотой.

– Сук-кин кот! – вскричал Стэн на заднем сиденье. – Черт возьми! – Он до сих пор был в улете. Мы вдруг поняли, что он все еще торчит, и ни джунгли, ни наши беды не составляют для его счастливой души никакой разницы. Мы расхохотались – все втроем.

– К чертовой матери! Мы просто кинемся на эти проклятые джунгли и будем спать до самого утра, погнались! – завопил Дин. – Старина Стэн прав. Старина Стэн плевать хотел! Он так улетел по тем бабам, и по чаю, и по тому сумасшедшему, неземному, непостижимому мамбо, которое ревело так, что у меня до сих пор барабанные перепонки трясутся ему в такт... уии! он так торчит, что знает, что делает! – Мы скинули майки и, гологрудые, с ревом понеслись по джунглям. Ни городов, ничего – затерянные джунгли на мили и мили вокруг, и спуск, и все жарче и жарче, и насекомые вопят все громче, и заросли все выше, и запах все мощнее и жарче, пока мы не начали привыкать к нему, и он не стал нам нравиться.

– Как хочется просто раздеться и кататься, и кататься по этим джунглям, – сказал Дин. – Нет, к чертям, чувак, я это как раз и сделаю, лишь только найду подходящее местечко. – Как вдруг перед нами показался Лимон – лесной городок, несколько бурых огоньков, темные тени, необъятное небо над головой, да кучка людей перед кучкой сараюшек – тропический перекресток.

Мы остановились в невообразимой мягкости. Было жарко, как в духовке у булочника июньской ночью в Новом Орлеане. По всей улице сидели в потемках целыми семьями и болтали; подходили случайные девчонки – но крайне юные и лишь посмотреть, что мы собою представляем. Они были босы и грязны. Мы прислонились к деревянному крылечку разломанного продуктового магазина с мешками муки и ананасами, гнившими на засиженном мухами прилавке. Внутри горела одна-единственная масляная лампа, а снаружи – еще несколько бурых фонарей, все остальное – черно, черно, черно. Сейчас, конечно, мы так устали, что спать надо было просто немедленно, и мы подвинули машину

еще на несколько ярдов дальше по дороге, на городские задворки. Стояла такая невероятная жара, что невозможно уснуть. Поэтому Дин взял одеяло, разложил его на мягком горячем песке прямо на дороге и обрубился. Стэн разлегся на переднем сиденье «форда», открыв для вентиляции обе дверцы, но все равно не чувствовалось ни малейшего дуновения. Я на заднем сиденье мучился в луже пота. Потом вылез из машины и встал, покачиваясь, среди этой черноты. Весь город мгновенно отправился баиньки; шумели только собаки. Как вообще я мог теперь уснуть? Тысячи москитов уже искусаили нас всех в грудь, руки и лодыжки. Затем мне в голову пришла блестящая мысль: я запрыгнул на железную крышу машины и растянулся там на спине. Ветра по-прежнему не было, но в стали есть какой-то элемент прохлады, и пот на спине просох, и там запеклись в комки тысячи раздавленных насекомых, и я понял, что джунгли – они захватывают, ты просто становишься ими. Лежать на крыше машины лицом к черному небу – словно лежать в закрытом чемодане летней ночи. Впервые в жизни погода не просто касалась меня, не просто ласкала, морозила или бросала в жар – погода стала мною. Атмосфера и я превратились в одно. Мягкие, бесконечно малые ливни микроскопических жучков омывали мне лицо, пока я спал – несказанно приятно и покойно. Небо было беззвездным, крайне невидимым и тяжелым. Я мог лежать там всю ночь напролет, подставив лицо небесам, и мне это причинило бы вреда не больше, чем укрывавший меня бархатный полог. Мертвые насекомые смешивались с моей кровью; добавлялись порции живых москитов; по всему телу у меня пошел зуд, и повсюду запахло удушливыми, жаркими, гнилыми джунглями – от корней волос, от лица до пяток и пальцев ног. Я был, разумеется, босиком. Чтобы осушить пот, я надел майку – всю в пятнах от насекомых – и снова улегся. Клякса тьмы на черневшей дороге указывала, где спит Дин. Я слышал его храп. Стэн тоже храпел. Время от времени в городке мелькал тусклый свет – это шериф нес службу со слабеньким фонариком, бормоча что-то себе под нос в ночных джунглях. Потом я увидел, как его фонарик подергивается в нашу сторону, услышал его шаги, мягко падавшие на подстилку из песка и растительности. Он остановился и осветил машину. Я сел и посмотрел на него.

Дрожащим, почти жалобным и совершенно нежным голосом он спросил:

– Dormiendo? – показав на Дина посреди дороги.

– Si, dormiendo.

[23]

Я снова отправился на свою стальную постель и распластался на ней, раскинув руки. Я не знал даже, что именно – прямо надо мной: ветви или открытое небо, и мне это было безразлично. Я открыл рот и глубоко вдыхал аромат джунглей. То был не воздух, вовсе не воздух, а осязаемая и живая эманация деревьев и трясин. Мне не спалось. Где-то в чаще петухи начали кукарекать зорю. По-прежнему ни воздуха, ни ветерка, ни росинки – та же самая тяжесть Тропика Рака прижимала нас всех к земле, которой мы и принадлежали до зуда. В небе не было ни намека на рассвет. Вдруг я услышал, как в темноте яростно залаяли собаки, а затем раздалось слабое чоканье конских копыт. Все ближе и ближе. Что за безумный ночной всадник это может быть? И тут я увидел привидение: дикая лошадь, белая как призрак, рысью бежала по дороге прямо на Дина. За нею, не отставая, бежали и тьякали собаки. Их не было видно: старых, грязных лесных собак, – но лошадь была белой

как снег и огромной, и почти светилась, и видеть ее было очень легко. Я совершенно не испугался за Дина. Лошадь увидела его, переступила рядом с его головой, прошла, как корабль, мимо машины, мягко ржанула и ушла сквозь город, досаждаемая собаками, – прочокала к себе в джунгли на другой стороне, и слышал я только, как слабый бой копыт таял в лесах. Собаки успокоились и сели вылизываться. Что это была за лошадь? Что за миф и что за призрак, что за дух? Я рассказал о ней Дину, когда тот проснулся. Он подумал было, что мне приснилось. Затем и сам припомнил слабый сон о белой лошади, а я сказал ему, что это был не сон. Медленно проснулся Стэн Шепард. Малейшее движение – и мы вновь начали обильно потеть. По-прежнему стояла непроглядная темень.

– Давайте заведем машину и слегка проветримся! – закричал я. – Я подыхаю от жары.

– Правильно! – Мы с ревом вынеслись из городка дальше, по безумной трассе, с развешивающимися волосами. В серой дымке быстро наступил рассвет, явив нам по обеим сторонам провалы густых болот с ветхими лесинами, заплетенными лианами, кренившимися и клонившимися над запутанными зарослями на дне. Некоторое время мы мчались прямо вдоль железнодорожных путей. Впереди возникла странная антенна радиостанции в Куидад-Манте, как будто мы оказались в какой-нибудь Небраске. Мы нашли бензоколонку и залили полный бак, а последние ночные насекомые джунглей черной массой бросались на лампочки и падали, трепеща, к нашим ногам большими корчившимися грудками: у некоторых бабочек крылья размахом в добрые четыре дюйма, другие ужасные стрекозы так огромны, что им впору питаться птичками, тысячи гигантских москитов, всевозможных безымянных паукообразных. Я скакал по всей мостовой, боясь на них наступить; все закончилось тем, что я засел, поджав ноги, в машине, испуганно поглядывая на землю, где они копошились вокруг наших колес.

– Ну поехали же! – вопил я. Дина и Стэна жучки вовсе не беспокоили: они спокойно выпили по паре бутылочек апельсинового сока и отшвырнули их подальше от холодильника. Их майки и штаны, как и у меня, были мокры от крови и черны от раздавленных тварей. Мы глубоко вдыхали вонь нашей одежды.

– Знаешь, мне этот запах начинает нравиться, – сказал Стэн. – Я себя уже больше не чувствую.

– Этот запах – странный и хороший, – сказал Дин. – Не буду снимать майку до самого Мехико, я хочу впитать его в себя и запомнить. – И мы понеслись дальше, творя воздух для своих горячих, запекшихся лиц.

Потом впереди стали неясно вырисовываться горы, сплошь в зелени. Одолев этот подъем, мы снова окажемся на огромном центральном плато, а там уж дорога поведет нас прямо к Мехико. Одним махом мы воспаряли на высоту пять тысяч футов – по окутанным туманом перевалам, что вьются над дымящимися желтыми ручейками в миле под нами. То была великая река Моктесума. Индейцы вдоль дороги стали крайне зловещими на вид. Они были нацией в себе – горные индейцы, оторванные от всего, кроме Панамериканского Шоссе. Они были низкорослы, приземисты и темны, со скверными зубами; на спинах они перетаскивали невообразимые тяжести. На другой стороне бездонных, заросших зеленью ущелий, на отвесных склонах мы видели лоскутки огородов. Индейцы ползали вверх и вниз по этим кручам и обрабатывали землю. Дин ехал со скоростью пять миль в час, чтобы

лучше все видеть.

– Ух ты, никогда не думал, что такое еще бывает! – В вышине, на самой высокой вершине, величественной, как любой из пиков Скалистых Гор, мы увидели заросли бананов. Дин даже вылез из машины, чтобы показать их нам, и стоял, потирая себе живот. Мы были на горном уступе, где над мировой пропастью прилепилась крытая соломой лачужка. От солнца загоралась золотистая дымка, заволакивая собой вид на Моктесуму, – теперь до реки было больше мили вниз.

Во дворике перед хижиной стояла индейская девочка годиков трех, засунув пальчик в рот и разглядывая нас широко открытыми карими глазами.

– Вероятно, за всю ее жизнь здесь еще никто ни разу не останавливался! – выдохнул Дин. – При-вет, малютка. Ну, как дела? Мы тебе нравимся? – Малютка застеснялась, отвернулась и надула губки. Мы заговорили между собой, и она снова стала нас изучать с пальчиком во рту. – Эх-х, жалко, у меня нет ничего, чтобы ей подарить! Подумай только, родиться и жить всю жизнь на этом уступе: этот вот уступ и есть вся твоя жизнь. Ее отец, наверное, спускается по веревке в ущелье и вытаскивает из пещеры свои ананасы, и рубит дрова на восьмидесятиградусной круче, а под ним такая бездна. Она никогда, никогда отсюда не уедет и никогда ничего не узнает об окружающем мире. Вот это народ! Вообрази, какой у них, должно быть, дикий вождь! Вдали от дороги, вон за тем утесом, за много миль отсюда они, возможно, еще дичее и страннее, да-а, потому что Панамериканское Шоссе несет хоть какую-то цивилизацию этому придорожному народу. Ты заметь капельки пота у нее на лбу, – показал мне Дин со страдальческой гримасой. – Не такой пот, как у нас, он маслянистый, и он никогда не высохнет, потому что здесь жарко круглый год, и она не знает ничего про непот, она с потом родилась, с потом и умрет. – Капли у нее на лобике были тяжелыми, вялыми, они не стекали вниз: они просто застыли и поблескивали очищенным оливковым маслом. – А что это способно сделать с их душами! Как они должны отличаться от нас в своих личных заботах, и в оценках, и в желаниях! – Дин ехал дальше, раскрыв благоговейно рот, на десяти милях в час, полнясь желанием разглядеть буквально каждое человеческое существо на этой дороге. Мы взбирались все выше и выше.

Пока мы карабкались вверх, воздух становился все холоднее, и девочки-индианки на дороге уже кутали головы и плечи в платки. Они отчаянно махали нам; мы остановились узнать, в чем дело. Они хотели продать нам маленькие кусочки горного хрусталя. Своими огромными, карими, невинными глазами они смотрели на нас с такой душевной силой, что ни у кого не возникло ни малейшего грешного помысла, более того – они были еще очень юны, многим – лет по одиннадцать, а выглядели на все тридцать.

– Посмотри на эти глаза! – выдохнул Дин. Как глаза Пречистой Девы, когда та была ребенком. Мы видели в них нежный и всепрощающий взгляд Иисуса. Они, не отрываясь, заглядывали нам прямо в душу. Мы протирали свои бегавшие голубые глаза и встречали блеск их взгляда вновь – он все же проникал в нас, гипнотизируя и сожалея. Когда они начинали говорить, то становились вдруг назойливыми и почти что глупыми. В своем молчании они оставались сами собой. – Они совсем недавно научились торговать этими кристаллами, ведь шоссе проложили лишь каких-то десять лет назад – а до этого времени весь народ, должно быть, просто молчал.

Девочки с причитаниями обступили машину. Одна, особенно грустная и настойчивая, вцепилась Дину в потную руку. Она лепетала что-то по-индейски.

– Ах да, ах да, милая, – ответил Дин нежно и почти печально. Он вышел из машины, покопался в багажнике в своем драном чемодане – все в том же старом измученном американском чемодане – и извлек оттуда наручные часы. Потом показал их ребенку. Та заскулила от радости. Остальные столпились в изумлении вокруг. Затем Дин стал рыться в маленькой ладошке, ища «самый милый, самый чистый, самый маленький хрусталик, который она сама нашла в горах для меня». Он нашел такой камушек – не больше ягодки. И протянул ей покачивавшиеся на ремешке часы. Их рты округлились как у детишек в хоре. Счастливица прижала часы к лохмотьям на груди. Они дотрагивались до Дина и благодарили его. Тот стоял среди них, запрокинув изможденное лицо к небу, ища глазами следующий – высочайший и окончательный – перевал; он казался Пророком, сошедшим к ним. Потом снова сел в машину. Девочкам так не хотелось, чтобы мы уезжали. Невероятно долго, пока мы взбирались по прямому отрезку дороги, они всё махали нам и бежали следом за машиной.

– Ах, у меня сердце разрывается! – воскликнул Дин, ударив себя кулаком в грудь. – Сколько они еще будут выражать нам свою признательность и восхищение? Что станет с ними? Неужели они попытаются бежать за машиной до самого Мехико, если мы поедем достаточно медленно?

– Да, – ответил я, ибо я знал.

Мы достигли головокружительных высот Восточной Сьерра-Мадре. Банановые деревья золотом поблескивали в дымке. Великие туманы разверзались за каменными стенами, что тянулись вдоль края пропасти. Моктесума тонкой золотой ниткой вилась внизу по зеленой подстилке джунглей. Мимо прокатывались странные городки на перекрестках этой вершины мира, индейцы в накидках наблюдали за нами из-под полей своих шляп и *rebosos*. Жизнь была плотной, темной, древней. Ястребиными глазами они смотрели на Дина, торжественного и обезумевшего за своим неистовым рулем. Все они протягивали к нам руки. Они сошли с дальних гор и из высоких селений, чтобы протянуть руки за тем, что, по их мнению, могла предложить цивилизация – им никогда и присниться не могли ее уныние и жалкие разбитые иллюзии. Они не знали, что появилась бомба, от которой могут треснуть и превратиться в кучи мусора все наши мосты и дороги, а мы можем однажды сами стать такими же нищими, как и они, и тянуть свои руки точно, точно так же. Наш поломанный «форд», старенький «форд» шедшей к процветанию Америки тридцатых годов, продребезжал сквозь них и скрылся в облаке пыли.

Мы достигли подступов к последнему плато. Солнце стало червонным, воздух – остро синим, а пустыня с ее случайными речонками – буйством песчаного жаркого пространства и внезапных библейски тенистых куп. Дин теперь спал, а Стэн вел машину. Появились пастухи, одетые как в первые времена – в длинные колышущиеся хламиды, женщины несли золотые тюки кудели, мужчины – посохи. Пастухи сидели под громадными деревьями посреди мерцающей пустыни и совещались, овцы толпились на солнцепеке и вздымали за собою пыль.

– Чувак, чувак, – завопил я Дину, – проснись и посмотри на пастухов, проснись и посмотри на этот золотой мир, из которого пришел Христос, – ты же можешь это увидеть своими глазами!

Он оторвал голову от сиденья, окинул одним беглым взглядом всю эту картину в угасавших лучах красного солнца и упал назад. Проснувшись, он мне ее всю подробно описал и добавил:

– Да, чувак, я рад, что ты велел мне это посмотреть. Ох, Господи Боже мой, что же мне делать? Куда же я пойду? – Он тер себе живот, возводил покрасневшие глаза к небесам, он почти что плакал.

Неотвратимо близился конец нашего путешествия. По обеим сторонам простирались широкие поля; благородный ветер насквозь продувал огромные деревья в разбросанных рощах и пролетал над старыми миссионерскими постройками, становившимися оранжево-розовыми в позднем свете солнца. Облака были близки, громадны и розовы.

– Мехико к закату! – Мы одолели их – эти девятнадцать сотен миль, от полуденных дворов Денвера до сих необозримых ветхозаветных просторов мира, – а теперь приближались к концу дороги.

– А не снять ли нам насекомые майки?

– Не-а, давай въедем в них прямо в город, и ну его все на фиг. – И мы въехали в Мехико. Недлинный горный проход неожиданно вывел нас на высоту, с которой открывался вид на весь Мехико, распростертый в своем вулканическом кратере под нами, извергая столбы городского дыма, обозначенный огоньками, зажегшимися в ранних сумерках. Вниз, к нему ринулись мы, по Бульвару Инсургентов, к самому сердцу города, к Реформе. На громадных, унылых площадках пацаны играли в футбол и поднимали тучи пыли. Нас нагоняли таксисты и интересовались, не нужны ли нам девочки. Нет, девочки нам сейчас были не нужны. По равнине тянулись длинные, полуобвалившиеся глинобитные трущобы; в быстро гасших переулочках мы видели какие-то одинокие фигуры. Скоро настанет ночь. Но вот город взревел, и мы вдруг поехали мимо забитых людьми кафе, театров, мимо множества огней. Нам что-то вопили мальчишки-газетчики. Мимо слонялись механики – босиком, с разводными ключами и ветошью. Безумные босоногие индейцы-шоферы проскакивали у нас под самым радиатором, окружали нас, гудели и превращали уличное движение в настоящий кавардак. Шум стоял неопикуемый. На мексиканские машины не ставят глушителей. На клаксоны все жмут злорадно и подолгу.

– Уии! – вопил Дин. – Берегись! – Он зигзагом бросил наш «форд» сквозь общий поток, он играл со всеми. Он вел машину как индеец. Он выехал на круглый парадный проезд по Бульвару Реформа и покатился по нему, а все восемь спиц этого гигантского колеса выстреливали в нас машинами во всех направлениях – слева, справа, izquierda, прямо в лоб, а он вопил и подпрыгивал от восторга: – Вот о таком уличном движении я всегда мечтал! Все едут! – Мимо вихрем пронеслась карета скорой помощи. Американские скорые рвутся вперед и лавируют в потоке машин с завывающими сиренами, великолепные знаменитые же кареты индейцев-феллахов просто проносятся по городским улицам на восьмидесяти милях в час, и остальным приходится лишь уворачиваться, а те не тормозят ни перед кем и ни при каких обстоятельствах и летят прямо насквозь. Мы видели, как

скорая, виляя, скрылась из глаз в расступившейся плотной уличной толчее на своих расшатанных колесах. Все водители были индейцы. Пешеходы, даже старушки, бегом бежали к автобусам, которые никогда не останавливались. Молодые дельцы Мехико на спор целыми взводами догоняли автобусы и атлетически заскакивали в них на ходу. Шоферы автобусов были босы, безумны, они криво ухмылялись и, сгорбившись, плотно сидели в своих майках за здоровенными низкими рулевыми колесами. Над ними горели иконки. Свет в автобусах был коричневым и зеленоватым, и темные лица на деревянных скамьях были четко очерчены.

В центре Мехико со главному променаду каналы тысячи хипстеров в обвисших соломенных шляпах и пиджаках с длинными лацканами, надетых на голое тело: некоторые торговали распятиями, а в переулках – травой, некоторые молились в битовых часовенках рядом с сараями мексиканских варьете. Некоторые тупички были просто помойками с открытыми сточными канавами, и маленькие дверцы вели с них прямо в саманные бары размером со стенной шкаф. Чтобы взять стакан, приходилось перепрыгивать канаву, а на дне этого рва лежало древнее озеро ацтеков. Из бара на улицу можно было выбраться, лишь прижимаясь спиной к стене. Кофе здесь варили с ромом и мускатным орехом. Отовсюду ревели мамбо. Сотни шлюх выстраивались вдоль темных и узких улочек, и их скорбные глаза блестели нам в ночи. Мы бродили как в лихорадке, как лунатики. Ели прекрасные бифштексы по сорок восемь центов в мексиканском кафетерии, выложенном странным кафелем, где несколько поколений музыкантов стояли за одной громадной маримбой – и пели бродячие гитаристы, и старики на углах дудели в трубы. По кислой вони узнавались забегаловки, где давали пульку – граненый стакан кактусового сока, всего за два цента. Ничего не останавливалось; улицы жили всю ночь. Спали нищие, завернувшись в содранные с заборов афиши. Целыми семьями они сидели на тротуарах, играя на маленьких дудочках и хмыкая себе всю ночь напролет. Торчали их босые пятки, горели их мутные свечки, все Мехико было одним огромным табором богемы. На перекрестках старухи разрезали вареные говяжьи головы, оборачивали кусочки тортильями и подавали их с горячим соусом на салфетках из газет. Таков был великий и окончательно дикий, не знающий запретов город детей-феллахов, который, как мы знали, мы обязательно обретем в конце дороги. Дин проходил сквозь это все, и руки болтались у него по бокам как у зомби, рот был раскрыт, глаза блестели – это было его драное и святое паломничество, длившееся до самой зари, когда посреди поля какой-то мальчишка в соломенной шляпе хохотал, болтал и хотел погонять с нами мячик, ибо ничего никогда не кончается.

Потом у меня сделался сильный жар, я стал бредить и потерял сознание. Дизентерия. Я вынырнул из темной круговерти своего разума и понял, что лежу на кровати в восьми тысячах футов над уровнем моря, на крыше мира: я знал, что прожил целую жизнь и еще множество других жизней в брэнной атомистической шелухе собственной плоти и что перевидел уже все сны. И еще я видел, как Дин склонился над кухонным столом. Это было несколько ночей спустя, и он уже уезжал из Мехико.

– Чего ты делаешь, чувак? – простонал я.

– Бедняжка Сал, бедняжка, захворал. Ничего, Стэн о тебе позаботится. А теперь слушай, если можешь услышать в своей болезни: здесь я все-таки получил развод от Камиллы и

теперь возвращусь к Инез в Нью-Йорк, еду сегодня вечером, если машина выдержит.

– И все это заново? – вскричал я.

– И все это заново, дружище. Надо возвращаться к собственной жизни. Хотелось бы остаться с тобой. Буду молиться, чтобы попробовать вернуться. – Меня схватили спазмы в животе, я скорчился и застонал. Когда же я снова поднял глаза, благородный храбрый Дин стоял со своим старым поломанным чемоданом и глядел на меня сверху. Я больше не знал его, и он знал это, и сочувствовал мне, и натянул одеяло мне на плечи.

– Да, да, да, я сейчас же должен ехать. Старая горячка Сал, до свиданья. – И он ушел. Двенадцать часов спустя, в своей жалкой лихорадке я, наконец, пришел к пониманию того, что его нет. К тому времени он в одиночестве уже гнал машину обратно по банановым горам, именно в это ночное время.

Когда мне стало лучше, я осознал, что он за крыса, но тогда же мне пришлось понять и невообразимую сложность всей его жизни: как он должен был меня здесь бросить, больного, чтобы сладить со своими женами и со своими бедами.

– Ладно, старина Дин, я ничего не скажу.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Дин уехал из Мехико и в Грегории снова встретился с Виктором, и допихал свою колымагу до самого Лейк-Чарльза, Луизиана, где задняя часть, в конце концов, действительно отвалилась прямо на дорогу, как он всегда и ожидал. Поэтому Дин послал Инез телеграмму, и та отправила ему денег на авиабилет, и остаток пути он пролетел. Прибыв в Нью-Йорк со свидетельством о разводе на руках, он взял Инез, и они немедленно отправились в Ньюарк и там женились, и той же самой ночью, сказав ей, что все в порядке, и чтобы она не беспокоилась, и делая логичным то, в чем не было ни порядка, ни логики – а только не поддающиеся оценке прискорбные напряжения, он прыгнул в автобус и отчалил через весь ужасающий континент в Сан-Франциско – снова к Камилле и к двум девочкам-малышкам. Итак, он был теперь трижды женат, дважды разведен и жил со своей второй женой. Осенью я и сам двинулся из Мехико домой, и как-то ночью, сразу за ларедской границей, в Дилли, Техас, стоял на горячей дороге под дуговой лампой, о которую бились летние бабочки, как вдруг услышал шаги из темноты за кругом света, глядь – мимо ковыляет высокий старик с развевающимися сединами и мешком за спиной; завидя меня, он произнес:

– Иди, стенай по человеку, – и сгинул в свою тьму. Означало ли это, что мне, наконец, следует пешком отправиться в свое паломничество по всем темным дорогам Америки? Я затрясся и поспешил в Нью-Йорк, и однажды ночью стоял на темной улочке Манхэттена и кричал в окно квартиры, где, как я полагал, пьянствуют мои друзья. Но из окна высунулась головка хорошенькой девушки и спросила:

– Да? Кто там?

– Сал Парадайз, – ответил я и услышал, как имя мое эхом разнеслось по печальной и пустой улице.

– Поднимайся сюда, – позвала она. – Я как раз варю горячий шоколад. – И вот я поднялся, и там была она – девушка с чистыми и невинными милыми глазами, которые я всегда искал, и так долго к тому же. Мы уговорились любить друг друга безумно. Зимой мы собирались переехать в Сан-Франциско со всеми нашими битыми пожитками и ломаной мебелью на каком-нибудь грузовичке-драндулете. Я написал Дину и рассказал ему об этом. В ответ он прислал громаднейшее письмо в восемнадцать тысяч слов длиной – всё про свои молодые годы в Денвере, и сказал, что приедет за мною, и лично выберет нам старый грузовик, и отвезет нас домой. У нас оставалось шесть недель, чтобы скопить на машину, мы начали работать и считать каждый цент. Как вдруг Дин все равно приехал, на пять с половиной недель раньше, и ни у кого не было никаких денег, чтобы осуществить этот план.

Я вышел как-то погулять среди ночи и вернулся к моей девочке, чтобы рассказать ей, чего я надумал за прогулку. Она встретила меня в темной маленькой прихожей со странной улыбкой. Я что-то начал ей рассказывать, как вдруг заметил необычную тишину в комнате, осмотрелся и увидел на радиоприемнике потрепанную книжку. Я знал, что это была «высокая полуденная вечность» Дина – Пруст. Слово во сне я увидал, как он и сам выходит на цыпочках из комнаты в одних носках. Он уже не мог разговаривать. Он подпрыгивал и смеялся, он заикался, махал руками и говорил:

– Ах... ах... вы должны слушать и услышать. – Мы слушали, наострив уши. Но он забыл, что хотел сказать. – На самом деле, послушайте... кхм. Смотри, дорогой Сал... милая Лаура... я приехал... меня нет... но погодите, ах да. – И он с каменистой печалью устался на свои руки. – Не могу больше говорить... вы понимаете, что это... или может быть... Но слушайте! – Мы слушали. – Вы же видите... больше не нужно разговаривать... и далее.

– Но почему ты приехал так рано, Дин?

– Ах, – ответил он, взглянув на меня как будто впервые, – так рано, да. Мы... мы узнаем... то есть, я не знаю. Я приехал поездами... в теплушках... в старых жестких вагонах... Техас... всю дорогу играл на флейте и на деревянной окарине. – И он вытащил свою новую дудочку. На ней он сыграл несколько скрипучих нот и подпрыгнул в носках. – Но, конечно же, Сал, я могу разговаривать так же скоро, как всегда, и мне есть много чего тебе сказать, на самом деле, я со своим куцым умишком все читал и читал этого четкого Пруста всю дорогу по всей стране и врубался в огромное число вещей, о которых рассказать тебе у меня просто не будет ВРЕМЕНИ, а мы ВСЕ ЕЩЕ не поговорили о Мехико и о том, как мы там расстались с тобой в лихорадке – но не нужно ни о чем говорить. Абсолютно уже, да?

– Ладно, не будем. – И он начал рассказывать историю о том, чем занимался в Л.А. все это время, со всеми мыслимыми подробностями, как он навещал какую-то семью, обедал, разговаривал с отцом, с сыновьями, с сестрами – как они выглядели, что ели, какая у них обстановка, их мысли, их интересы, сами их души; такое подробное истолкование заняло у него три часа, а закончив, он сказал:

– Ах, но видишь ли, то, что я НА САМОМ ДЕЛЕ хотел тебе сказать... гораздо позже... Арканзас, когда я ехал по нему на поезде... играл на флейте... играл с парнями в карты, моей неприличной колодой... выиграл денег, выдал соло на окарине... для моряков. Долгое, долгое, ужасное путешествие, пять дней и пять ночей, только чтобы увидеться с тобой, Сал.

– А как насчет Камиллы?

– Разрешила, конечно... ждет меня. У нас с Камиллой теперь все правильно на веки вечные...

– А Инез?

– Я... я... я хочу, чтобы она вернулась со мною во Фриско и жила бы на другом конце города – как ты думаешь? И зачем я только приехал? – Позже он сказал во внезапное мгновение ошалелого изумления: – Н-ну, и да, конечно, я хотел увидеть твою милую девочку и тебя... рад за вас... люблю вас, как и прежде. – Он пробыл в Нью-Йорке три дня, торопливо готовился сесть на обратный поезд, доставал железнодорожные билеты, чтобы снова пересечь весь континент, пять дней и пять ночей в пыльных вагонах и купе с жесткими полками, а у нас, конечно, не было денег на грузовик, и мы не могли поехать с ним вместе. С Инез он провел одну-единственную ночь – объяснял, потел и дрался, и она его вышвырнула вон. Ему пришло письмо на мой адрес. Я его видел. От Камиллы. «Мое сердце не выдержало, когда ты ушел через рельсы со своей сумкой. Я все молюсь и молюсь, чтобы ты вернулся невредимым... Я очень хочу, чтобы Сал и его подруга приехали и жили бы на нашей улице... Я знаю, что у тебя все получится, но не могу не волноваться – теперь, когда я все решила... Дорогой Дин, это конец первой половины века. С любовью и поцелуями

добро пожаловать к нам прожить вместе и вторую половину. Мы все ждем тебя. /Подпись/ Камилла, Эми и Малютка Джоани.» Итак, жизнь Дина утряслась с его самой постоянной, вкусившей больше всего горечи и лучше всех прочих знающей его женой Камиллой, и я возблагодарил Господа за него.

В последний раз я увидел его в печальных и странных обстоятельствах. В Нью-Йорк приехал Реми Бонкёр – после того, как несколько раз обошел на судах вокруг света. Я хотел, чтобы они познакомились, и он узнал бы Дина. Они действительно встретились, но Дин уже не мог говорить и ничего не сказал, и Реми отвернулся от него. Реми достал билеты на концерт Дюка Эллингтона в Метрополитен-Опере и настоял, чтобы Лаура и я пошли туда с ним и его подружкой. Реми сейчас стал толстым и печальным, но по-прежнему оставался тем же порывистым и учтивым джентльменом и хотел делать все по-правильному, как он это постоянно подчеркивал. Поэтому он заставил своего букмекера подвезти нас на концерт на «кадиллаке». Стоял холодный зимний вечер. Мы сидели в машине, собираясь отправляться. Дин со своей сумкой стоял снаружи, готовый ехать на вокзал Пенн-Стэйшн и дальше, через всю землю.

– До свиданья, Дин, – сказал я. – Жалко, что мне надо ехать на концерт.

– Как ты думаешь, можно мне с вами доехать до Сороковой Улицы? – прошептал он. – Я хочу побыть с тобой подольше, мой мальчик, а кроме этого, здесь такая дьявольская холодина в этом вашем Нью-Ёке... – Я шепнул пару слов Реми. Да нет же, зачем ему это, ему нравлюсь я, а не мои друзья-идиоты. Не собираюсь же я снова губить его запланированные вечера, как я это уже сделал в 1947 году у «Альфреда» с Роландом Мэйджором.

– Об этом не может быть никакой речи, Сал! – Бедняга Реми, он специально для этого вечера заказал себе галстук – там были изображены билеты на концерт, подписанные по именам: Сал, Лаура, Реми и Вики, его подруга, – вместе с кучей тоскливых приколов и его любимых поговорок, типа «Старого маэстро новой песне не научить».

Итак, Дин не мог доехать с нами до окраины, и мне оставалось единственное – помахать ему с заднего сиденья «кадиллака». Букашка за рулем тоже не хотел с ним никаких дел. Дин, оборванный, в изъеденном молью пальто, которое привез специально для восточных морозов, ушел прочь один, и последнее, что я видел – это как он свернул за угол Седьмой авеню, снова устремив взгляд на улицу, и я покорился этому опять. Бедная маленькая Лаура, моя малышка, которой я все про Дина рассказал, чуть не расплакалась.

– Ох, нельзя же было, чтобы он вот так ушел. Что же нам делать?

Старины Дина нет, подумал я, а вслух произнес:

– С ним будет все в порядке. – И мы безо всякой охоты поехали на тот унылый концерт, глаза б мои его не видели, и я все время думал про Дина, про то, как он снова садится в поезд и едет три тысячи миль по этой ужасной земле, толком и не зная, зачем вообще приезжал, кроме как повидаться со мной.

Поэтому в Америке, когда заходит солнце, а я сижу на старом, поломанном речном пирсе и смотрю на долгие, долгие небеса над Нью-Джерси, и ощущаю всю эту грубую землю, что перекачивается одним невероятно громадным горбом до самого Западного Побережья, и всю ту дорогу, что уводит туда, всех людей, которые видят сны в ее невообразимой

огромности, и знаю, что в Айове теперь, должно быть, плачут детишки, в той земле, где детям позволяют плакать, и сегодня ночью на небе выпадут звезды, и разве вы не знали, что Господь Бог – это плюшевый медвежонок Винни-Пух? вечерняя звезда наверняка уже клонится книзу и льет свою мерцающую дымку на прерии, что как раз ждут прихода полной ночи, которая благословляет землю, затемняет все реки, венчает вершины и обертывает последний берег, и никто, никто не знает, что со всеми случится, если не считать позабытого тряпья старости, я думаю о Дине Мориарти, я даже думаю о Старом Дине Мориарти, об отце, которого мы так никогда и не нашли, я думаю о Дине Мориарти.